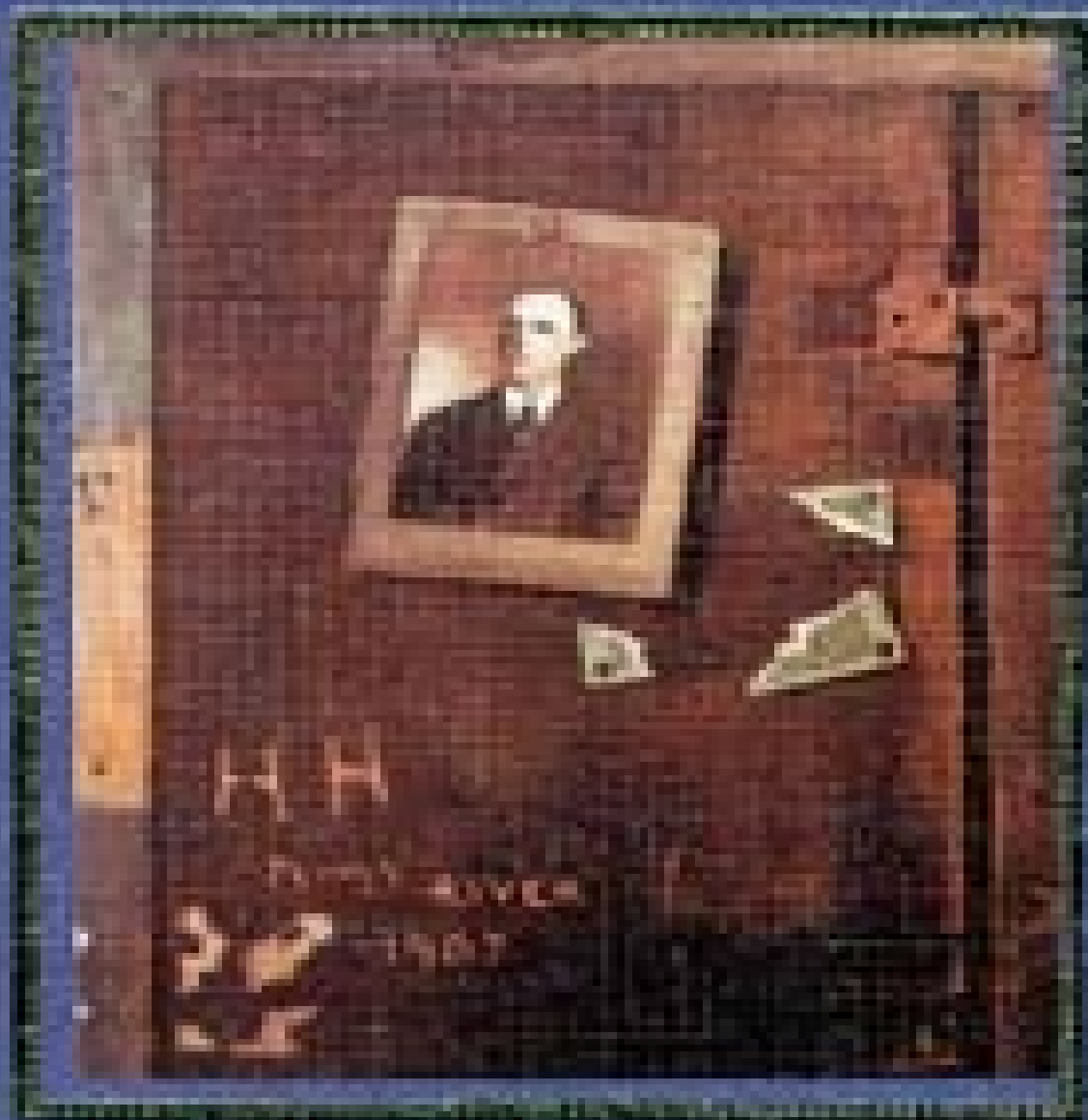


АДЖЕК ОНДОН



ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР

Annotation

«Смирительная рубашка», малоизвестное нашему читателю произведение Джека Лондона, является жемчужиной его творческого наследия. Даррел Стэндинг, профессор агрономии, в порыве ревности убивает коллегу. Ему, кабинетному ученому, предстоит пройти через все ужасы калифорнийской тюрьмы. Но дух человека выше его плоти, и Стэндинг покинул свое тело, затянутое в «смирительную рубашку», и стал межзвездным скитальцем. Он вспомнил все свои предыдущие воплощения, каждое из которых — это увлекательный, захватывающий роман...

- [Джек Лондон](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
-

Джек Лондон
Смирительная рубашка

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Всю жизнь в душе моей хранилось воспоминание об иных временах и странах. И о том, что я уже жил прежде в облике каких-то других людей... Поверь мне, мой будущий читатель, то же бывало и с тобой. Перелистай страницы своего детства, и ты вспомнишь это ощущение, о котором я говорю, — ты испытал его не раз на заре жизни. Твоя личность еще не сложилась тогда, не выкристаллизовалась. Ты был податлив, как воск, еще не отлился в устойчивую форму, твое сознание еще находилось в процессе формирования... О да, ты становился самим собой, и ты забывал.

Ты многое позабыл, мой читатель, и все же, когда ты пробегаешь глазами эти строчки, перед тобой, словно в туманной дымке, рождаются видения иных мест, иных времен, которые открывались твоему детскому взору. Сегодня они кажутся снами. Но если это сны, снившиеся тебе тогда, то что породило их, какая реальность?

В наших снах причудливо сплетается воедино то, что было пережито нами когда-то. Самые нелепые сны порождены реальным жизненным опытом. Ребенком, еще крошечным ребенком, ты падал во сне, читатель, с головокружительной высоты; тебе снилось, что ты летаешь по воздуху, словно для тебя привычно летать; тебя пугали страшные пауки и существа с множеством ног, рожденные в болотном иле; ты слышал какие-то голоса и видел какие-то лица, пугающе знакомые; ты взирал на утренние и вечерние зори, подобных которым — ты знаешь это теперь, заглядывая в прошлое, — ты никогда не видел.

Прекрасно. Эти отрывки детских воспоминаний — они принадлежат к другому миру, к другой жизни, они — часть того, с чем тебе никогда не приходилось сталкиваться в твоём нынешнем мире, в твоей нынешней жизни. Так откуда же они? Из какого-то другого мира? Из чьей-то другой жизни? Быть может, когда ты прочитаешь все, что я здесь напишу, ты найдешь ответы на эти недоуменные вопросы, которыми я сейчас поставил тебя в тупик и которые ты, еще прежде чем раскрыть мою книгу, задавал себе сам.

* * *

Вордсворт это знал. Он не был ни пророком, ни ясновидящим, он был

самым обыкновенным человеком, как ты или любой другой.

То, что он знал, знаешь и ты, и каждый человек это знает. Но он удивительно точно сказал об этом — в тех строках, которые начинаются так:

Но в полной наготе и но в забвении полном...

Да, мрак темницы смыкается над нами, едва успеваем мы появиться на свет, и слишком быстро мы забываем все. Однако, рождаясь, мы еще помним иные места, иные времена. Беспомощные младенцы, покоясь у кого-то на руках или ползая на четвереньках по полу, мы грезим о полетах высоко над землей. Да, да.

И в наших кошмарах мы переживаем страдания и муки, изнывая от страха перед чем-то чудовищным и неведомым. Едва родившись, еще не получив никакого опыта, мы тем не менее уже с момента появления на свет знаем чувство страха, страх живет в наших воспоминаниях, — а воспоминания возникают из опыта.

Если говорить о себе самом, то в том нежном возрасте, когда я едва начинал складывать слова, а чувство голода или желание сна выражал еще в нечленораздельных звуках, — да, уже тогда я знал, что когда-то блуждал в пространстве среди звезд. Мой язык еще ни разу не произносил слова «король», а я помнил, что когда-то я был сыном короля. И еще я помню: я был рабом и сыном раба когда-то и носил на шее железное кольцо.

Более того. В возрасте трех... четырех... пяти лет я не был самим собой. Я еще только начинался, мой дух еще не застыл в устойчивой форме, соответствующей моему телу, моему времени, моему окружению. В этот период все, чем я был в предыдущие десятки тысяч моих жизней, боролось во мне, в моей еще не сложившейся душе, стремясь воплотить себя во мне и стать мною.

Нелепо, не правда ли? Но вспомни, мой читатель, который, как я надеюсь, будет странствовать со мной во времени и пространстве, вспомни, прошу, мой читатель, что я немало размышлял над этими предметами, что долгие, долгие годы, в бесконечном мраке, пропахшем кровью и потом, я оставался наедине с моими другими «я», и общался с ними, и изучал их. Я вновь претерпел горе и муки былых существований, чтобы принести тебе познание, которое ты разделишь со мной как-нибудь на досуге, спокойно перелистывая страницы моей книги.

Итак, как я уже сказал, в возрасте трех, четырех и пяти лет я еще не

был самым собой. Я еще только выкристаллизовывался, обретая форму, в сосуде моего тела, и могучее неизгладимое прошлое, определяя, чем я стану, воздействовало на ту смесь, из которой я должен был сложиться. Это не мой голос раздавался по ночам, исполненный страха перед чем-то хорошо известным, что мне, без сомнения, не было и не могло быть известно. И не о том же ли самом говорят мои детские пристрастия, вспышки ярости или приступы хохота? Чужие голоса звучали в моем голосе, голоса живших когда-то встарь мужчин и женщин, голоса теней — моих предков. И когда я вопил в бешенстве, в этом вопле слышался вой зверей, более древних, чем горы, и в детском моем неистовом, истерическом, яростном визге находили отзвук дикие, бессмысленные крики зверей, населявших землю в доисторические времена, еще до появления Адама.

Ну вот, я и выдал свою тайну. Багровая ярость! Вот что погубило меня в этой, нынешней жизни. Вот по милости чего через каких-нибудь несколько недель меня выведут из этой камеры и потащат к высокому шаткому помосту, над которым болтается крепкая веревка. И с помощью этой веревки меня повесят за шею, и я буду висеть на ней, пока не умру. Багровая ярость всегда была причиной моей гибели во всех моих воплощениях, ибо багровая ярость — это роковое, гибельное наследие, выпавшее на мою долю еще во времена покрытых слизью существ, когда наш мир только создавался.

* * *

Но, пожалуй, мне пора представиться. Я не слабоумный и не сумасшедший. Я хочу, чтобы вы это поняли, иначе вы не поверите тому, что я хочу вам рассказать. Меня зовут Даррел Стэндинг.

Кое-кто из вас, прочтя эти строки, тотчас вспомнит, о ком идет речь. Но большинство моих читателей, несомненно, ничего обо мне не слышали, и поэтому я расскажу о себе.

Восемь лет назад я был профессором агрономии на сельскохозяйственном факультете Калифорнийского университета. Восемь лет назад сонный университетский городок Беркли был потрясен известием о том, что в одной из лабораторий геологического факультета убит профессор Хаскелл. Убийцей был Даррел Стэндинг.

Я и есть тот Даррел Стэндинг. Меня застигли на месте преступления. Кто из нас был прав, а кто виноват в этой ссоре, не имеет значения. То было

сугубо личное дело. Важно лишь одно: в припадке гнева, оказавшись во власти багровой ярости, которая была извечным моим проклятием во все времена, я убил моего коллегу. Так было записано в судебном решении, и я признаю, что на этот раз суд не ошибся.

Нет, меня повесят не за убийство профессора Хаскелла. За это преступление я был присужден к пожизненному заключению.

Мне было тогда тридцать шесть лет. Теперь мне сорок четыре года. Восемь последних лет я провел в Сен-Квентине — в государственной тюрьме штата Калифорния. Из этих восьми лет пять лет я прожил в полном мраке. Это называется одиночным заключением. А те, кто его испытал, называют его погребением заживо.

Но мне во время этих пяти лет жизни в могиле удалось достичь такой свободы, какой редко пользовался кто-нибудь из людей.

Я был заперт в одиночке, меня бдительно охраняли, и тем не менее я не только скитался по свету, но странствовал и во времени.

Те, кто замуровал меня там на несколько жалких лет, подарили мне, сами того не зная, простор столетий. Да, благодаря Эду Моррелу я в течение пяти лет был скитальцем звездных пространств.

Но Эд Моррел — это особая история. Я расскажу вам о нем немного погодя. Мне надо рассказать так много, что я затрудняюсь, с чего начать.

Начну хотя бы так. Я родился на ферме в Миннесоте. Моя мать была дочерью шведа-эмигранта. Ее звали Хильда Тоннессон. Отца моего звали Чонси Стэндинг — он был-коренным американцем. Его род восходил к Элфриду Стэндингу, завербованному работнику, или, если хотите, рабу, вывезенному из Англии на виргинские плантации еще в те давние года, когда юный Вашингтон отправился обозревать пенсильванские леса.

Сын Элфрида Стэндинга сражался в рядах революционной армии; внук принимал участие в войне 1812 года. С тех пор не было ни одной войны, в которой не участвовал бы кто-нибудь из Стэндингов. Я, последний из Стэндингов, которому суждено вскоре умереть, не оставив после себя потомства, в последнюю войну сражался рядовым на Филиппинах, ради чего в самом расцвете своей научной карьеры отказался от профессорской кафедры в Небрасском университете. Великий Боже! Ведь когда я от всего этого отказался, меня прочили в деканы сельскохозяйственного факультета этого университета! Меня, скитальца звездных пространств, страстного искателя приключений, Каина, кочующего из столетия в столетие, воинственного жреца забытых эпох, мечтателя-поэта дней, давно канувших в прошлое и даже не занесенных в книгу истории.

И вот я здесь, в Коридоре Убийц государственной тюрьмы Фолсем, и

руки мои багровы. Я здесь, и я ожидаю того дня, установленного государственной машиной штата, когда слуги закона отведут меня туда, где, по их искреннему убеждению, для меня наступит мрак, — мрак, которого они страшатся, мрак, который населяет их суеверные души пугающими видениями, мрак, который гонит их, трясущихся и хнычущих, к алтарям богов, порожденных их же собственным страхом, сотворенных по их же подобию.

Да, мне уже никогда не быть деканом сельскохозяйственного факультета. Однако я знаю агрономию. Это была моя специальность. Я был рожден для нее, воспитан для нее, обучен для нее и овладел ею. Во всем, что касалось сельского хозяйства, я был гением. С одного взгляда я мог определить удои коровы, и любая проверка подтверждала верность моего глаза. Мне не нужно было изучать почву — мне достаточно было посмотреть на пейзаж, — и я уже знал все ее достоинства и недостатки. Я не нуждался в лакмусовой бумажке, чтобы определить щелочность или кислотность почвы. Повторяю: земледелие в самом высоком научном аспекте — вот в чем я был гением и остаюсь им. И все же штат, все его граждане вкупе верят, что они могут отнять у меня эту мудрость, погрузив меня в последний мрак с помощью веревочной петли, накинутой мне на шею, и закона земного притяжения, могут отнять мудрость, что накапливалась во мне тысячелетиями и бережно взращивалась еще в те дни, когда на лугах Трои не начали пастись стада кочевников-скотоводов.

А кукуруза? Кто еще так знает кукурузу, как я? А мои опыты в Уистаре, в результате которых я увеличил ежегодный доход от кукурузы во всех округах штата Айова на полмиллиона долларов!.. Это вошло в историю. Не один фермер, разъезжающий сейчас в собственном автомобиле, знает, кто сделал для него доступным этот автомобиль. Не одна милая девушка, не один ясноглазый юноша, склонившиеся над университетским учебником, вспоминают, что это я своими опытами в Уистаре сделал доступным для них это обучение.

А методы ведения сельского хозяйства! Я знаю все причины всех потерь — мне не нужно просматривать киноленты, чтобы заметить, в чем кроется непроизводительность труда, будь то в работе целой фермы или одного работника с фермы, будь то при планировке сельскохозяйственных строений или при планировке сельскохозяйственных работ. Все это есть в составленном мною справочнике с диаграммами. Можно не сомневаться, что в эту самую минуту сотни тысяч фермеров, сосредоточенно хмурясь, заглядывают в него, прежде чем выбить пепел из своей последней трубки и отправиться на боковую. Однако мне самому уже давно не нужны мои

диаграммы, мне достаточно одного взгляда на человека, чтобы распознать его наклонности, увидеть, на что он способен, и с математической точностью определить, какова будет производительность его труда.

А сейчас мне нужно закончить эту первую главу моего повествования. Уже девять часов, а в Коридоре Убийц это означает, что пора гасить свет. Вот я уже слышу тихий шорох резиновых подметок надзирателя — он направляется сюда, чтобы выбрать меня за то, что моя керосиновая лампа все еще горит. Словно угрозы живущих могут испугать того, кто осужден на смерть!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я Даррел Стэндинг. Скоро меня выведут из этой камеры и повесят. А пока я рассказываю о том, о чем мне хочется рассказать, и пишу об иных временах и странах.

После вынесения приговора меня отправили в тюрьму Сен-Квентин, где я должен был провести остаток своей жизни. Я был признан «неисправимым». «Неисправимый» — это зверь в человеческом облике; таков он по крайней мере в глазах тюремщиков.

Я попал в разряд неисправимых, потому что не мог выносить непроизводительной затраты труда. Тюрьма эта, как и все тюрьмы, была вопиющим позором, местом чудовищно непроизводительной затраты труда. Меня определили в ткацкую мастерскую. Преступная непроизводительность этого труда бесила меня. Да как могло быть иначе? Ведь сведение до минимума непроизводительных затрат труда было моей специальностью. Еще до применения пара, до изобретения паровой ткацкой машины, три тысячи лет назад я гнил в темнице Древнего Вавилона, и, поверьте, в те далекие времена мы, узники, куда продуктивнее ткали на ручных станках, чем ткут нынешние арестанты в тюрьме Сен-Квентин на станках, приводимых в действие паром.

Эта преступная, бессмысленная затрата труда была отвратительна. Я взбунтовался. Я пытался показать надзирателям десятка два более продуктивных способов. На меня пожаловались начальству, после чего я был брошен в карцер, лишен света и пищи. Когда меня выпустили оттуда, я решил принудить себя работать среди бессмысленного непроизводительного хаоса ткацкой мастерской. И взбунтовался. Меня бросили в карцер и зашнуровали в смирительную рубашку. Меня растягивали на полу и подвешивали за большие пальцы. Безмозглые надзиратели, у которых хватало ума только на то, чтобы заметить, что я чем-то отличаюсь от них и не столь глуп, потихоньку избивали меня.

Два года длились бессмысленные истязания. Страшно быть связанным по рукам и ногам, еще страшнее, если тебя при этом грызут крысы. Крысами были мои тюремщики, и они выгрызали мой мозг, выгрызали лучшее во мне, выгрызали мою душу. А я, я, который в прежней жизни был отважным бойцом, в настоящей моей жизни никак не годился для борьбы. Я был фермером, агрономом, кабинетным ученым, рабом лабораторий и думал только о земле и о том, как увеличить ее плодородие.

Я сражался на Филиппинах, потому что такова была традиция рода Стэндингов. Я же не испытывал к этому никакой тяги. Все это было слишком нелепо: зачем понадобилось кому-то поражать тела маленьких темнокожих инородцев чужеродным взрывчатым веществом! Странно было наблюдать, как наука протитутует всю мощь своих откритий и мозг изобретателей, насильственно вводя в тела темнокожих чужеродное взрывчатое вещество.

Как я уже сказал, следуя установившейся в роду Стэндингов традиции, я стал солдатом и пришел к заключению, что у меня нет ни малейшей склонности к военному ремеслу. К такому же выводу пришло, по-видимому, и мое начальство, потому что довольно скоро меня назначили штабным писарем, и вот так, сидя за письменным столом, я и провоевал всю испано-американскую войну.

Как видите, непроизводительность труда в ткацкой мастерской приводила меня в такое бешенство отнюдь не потому, что я был бойцом по натуре, а именно потому, что по натуре я был мыслителем. За это я подвергался преследованиям со стороны тюремщиков и попал в разряд «неисправимых». Человеческий мозг работает сам по себе, и я понес наказание за его независимость. Вот что я сказал начальнику тюрьмы Азертону, когда моя «неисправимость» стала настолько общеизвестной, что он вызвал меня к себе, в свой личный кабинет, чтобы усовестить: «Ведь это же нелепо, начальник, предполагать, что ваши крысодавы-надзиратели способны выбить из моего мозга то, что сложилось в нем ясно и отчетливо. Вся постановка дела в этой тюрьме нелепа. Вы политик. Вы умеете ткать паутину интриг и превращать политическое влияние барменов Сан-Франциско и всяких их прихлебателей в тепленькое местечко, вроде того, какое вы сейчас занимаете, но вы не умеете ткать джут, в этом вы ничего не смыслите. Ваша ткацкая мастерская устарела на полсотни лет...»

Но стоит ли повторять всю эту тираду — ибо я произнес настоящую тираду. Я объяснил ему, какой он дурак, и он решил, что я неисправим безнадежно. Назови собаку бешеной... Ну, вам известна эта пословица.

Прекрасно. Начальник тюрьмы Азертон окончательно закрепил за мной мою репутацию. Я был отличным козлом отпущения.

Не раз и не два сваливали на меня провинности других заключенных, и я, расплачиваясь за них, попадал в карцер на хлеб и воду. Или же меня подвешивали за большие пальцы и оставляли так на долгие часы, каждый из которых казался мне более нескончаемым, чем любая из прожитых мною прежних жизней.

Умные люди часто бывают жестоки. Глупые люди жестоки сверх

всякой меры. Все, кому я подчинялся, от начальника тюрьмы и до последнего надзирателя, были тупыми животными. Сейчас вы узнаете, что они сделали со мной.

В тюрьме содержался один заключенный — поэт. Это был выродок с безвольным подбородком и низким лбом. И фальшивомонетчик. И трус. И доносчик. И легавый. Несколько необычное слово, скажете вы, для профессора агрономии, но даже профессор агрономии легко может научиться писать необычные слова, если его заточить в тюрьму пожизненно.

Поэта-фальшивомонетчика звали Сесил Уинвуд. Он уже не впервые попадал за решетку и не впервые был осужден, но тем не менее на этот раз его приговорили всего к семи годам тюрьмы, потому что он был доносчик и предатель. А за примерное поведение ему могли сократить и этот срок. Мой же срок истекал вместе с моей жизнью. Однако этот жалкий выродок, стремясь отвоевать себе еще несколько коротеньких лет свободы, ухитрился вдобавок к моему пожизненному заключению подарить мне основательный кусок вечности.

События, о которых я расскажу вам по порядку, сам я узнал далеко не сразу и не в их хронологической последовательности.

Этот Сесил Уинвуд, желая завоевать расположение всего тюремного начальства, начиная от надзирателей и начальника тюрьмы и кончая тюремной инспекцией и губернатором штата, подстроил доказательства якобы задуманного побега. Теперь отметьте следующие три обстоятельства: а) все заключенные так презирали Сесила Уинвуда, что ему не разрешили бы даже поставить щепотку табака в клопных бегах, а клопные бега были излюбленным развлечением заключенных; б) я был собакой, которую называли бешеной; в) для вымышленного побега Сесилу Уинвуду требовались такие собаки — кто-нибудь из пожизненно заключенных, из отпетых, из неисправимых.

Но пожизненно заключенные презирали Сесила Уинвуда, и когда он предложил им свой план массового побега, они подняли его на смех и обругали — все знали, что он доносчик. Однако в конце концов он их все-таки одурачил — одурачил сорок самых умных и хитрых голов в тюрьме. Он приставал к ним снова и снова. Рассказывал им о влиянии, которым пользуется в тюрьме, потому что он писарь в конторе тюрьмы и имеет свободный доступ в тюремную аптеку.

— Докажи, — сказал ему горец Билл Ходж, по прозвищу Длинный, отбывавший пожизненное заключение за ограбление поезда и годами носивший в душе одну заветную мечту: тем или иным способом вырваться

на волю, чтобы убить своего соучастника по ограблению, который дал против него показания на суде.

Сесил Уинвуд принял предложенное испытание. Он объявил, что усыпит стражу в ночь побега.

— Слова дешево стоят, — сказал ему Длинный Билл Ходж. — Нам нужен товар. Усыпи сторожа сегодня ночью. Дежурит Барием. Он последняя тварь. Он избил вчера помешанного китаезу в коридоре спятивших. Да еще когда избил-то — уже с дежурства сменился. Сегодня он дежурит ночью. Усыпи его — пускай-ка его выгонят отсюда. Сделаешь это, тогда будем говорить с тобой о деле.

Все это Длинный Билл рассказывал мне впоследствии. Сесил Уинвуд запротестовал против столь немедленного испытания. Ему нужно время, чтобы выкрасть снотворное из аптеки, сказал он.

Время ему было дано, и неделю спустя он заявил, что все готово.

Сорок умудренных горьким опытом преступников, приговоренных к пожизненному заключению, стали ждать, заснет ли Барием или не заснет. И Барием заснул. Его застали спящим и уволили за то, что он уснул на дежурстве.

Это убедило заключенных. Оставалось убедить старшего надзирателя. А Сесил Уинвуд ежедневно докладывал ему до мельчайших подробностей, как движется подготовка к побегу, созданная его фантазией. Надзиратель захотел убедиться своими глазами. Уинвуд предоставил ему эту возможность. О том, как это было сделано, я узнал лишь год спустя — так медленно открываются тайные тюремные интриги.

Уинвуд заявил, что сорок заключенных, замысливших побег и доверивших ему свою тайну, уже обрели такое влияние в тюрьме, что все подготовлено для доставки им в тюрьму пистолетов при содействии подкупленных ими сторожей.

— Докажи, — вероятно, потребовал надзиратель.

И поэт-фальшивомонетчик доказал. В пекарне, как правило, работа велась круглые сутки. Один из заключенных — пекарь, работавший в первой ночной смене, наушничал старшему надзирателю, и Уинвуду это было известно.

— Сегодня ночью, — сказал Уинвуд надзирателю, — Саммерфейс пронесет в тюрьму дюжину пистолетов сорок четвертого калибра. В свое последующее дежурство он доставит патроны. А сегодня ночью в пекарне он передаст эти пистолеты мне. У вас там есть свой человек. Завтра утром он сам обо всем вам доложит.

Этот Саммерфейс был рослый детина родом из округа Гумбольдт.

Простодушный, покладистый и недалекий малый, он не прочь был заработать доллар-другой, пронося в тюрьму табак для заключенных. В ту ночь он только что возвратился из поездки в Сан-Франциско и привез с собой пятнадцать фунтов хорошего курительного табаку. Он проделывал это и раньше и обычно передавал табак Сесилу Уинвуду. Совершенно так же поступил он и на этот раз: не подозревая ничего худого, он передал в пекарне свой табак Уинвуду. Это был довольно основательный сверток в оберточной бумаге, не содержавшей ровно ничего, кроме безобидного табака. Пекарь-доносчик увидел из засады, что Уинвуду передают какой-то сверток, и на следующее утро доложил об этом старшему надзирателю.

И вот тут-то поэт-фальшивомонетчик не сумел обуздать полета своей чересчур живой фантазии. Он перегнул палку, и я угодил в одиночную камеру на пять лет, а потом в камеру смертников, в которой и пишу сейчас эти строки. Но в те дни я и не подозревал о том, что произошло. Я даже не знал о подготовке побега, в которую Сесил Уинвуд вовлек сорок пожизненно заключенных.

Я не знал ничего, абсолютно ничего. И остальные знали лишь немногим больше. Заключенные не знали, что Сесил Уинвуд задумал их предать. Надзиратель не знал, что Сесил Уинвуд водит его за нос. Еще меньше подозревал о чем-либо Саммерфейс.

В худшем случае на его совести лежала только доставка табака заключенным.

Теперь послушайте, какую нелепость, какую мелодраматическую чушь брякнул Сесил Уинвуд. На следующее утро, представ перед старшим надзирателем, он ликовал. И его фантазия сорвалась с узды.

— Да, ты не соврал, он действительно передал пакет, — начал надзиратель.

— И содержимое этого пакета вполне достаточно, чтобы вся тюрьма взлетела на воздух, — объявил Уинвуд.

— Какого содержимого? — оторопел надзиратель.

— Динамита и детонаторов, — выпалил этот идиот. — Тридцать пять фунтов. Ваш человек видел, как Саммерфейс передал все это мне.

Вероятно, надзирателя тут едва не хватил удар. Его можно только пожалеть. Шутка ли — тридцать пять фунтов динамита в тюрьме!

Говорят, что капитан Джеми (так его прозвали) упал на стул и схватился руками за голову.

— Где же этот динамит? — закричал он. — Я должен забрать его немедленно. Сейчас же води меня туда!

И тут Сесил Уинвуд понял свою ошибку.

— Я спрятал динамит, — солгал он.

Теперь уж он был вынужден лгать дальше, так как в свертке не было ничего, кроме маленьких пакетиков табака, и все они уже давно разошлись обычным путем между заключенными.

— Очень хорошо, — сказал капитан Джеми, беря себя в руки. — Сейчас же отведи меня туда.

Но вести старшего надзирателя было некуда, так как никакого динамита нигде спрятано не было. Его попросту не существовало, ни сейчас, ни раньше — не существовало нигде, кроме как в воображении подлеца Уинвуда.

В такой большой тюрьме, как Сен-Квентин, всегда найдется немало укромных закоулков. И пока Сесил Уинвуд шагал рядом с капитаном Джеми, его мысль, надо полагать, работала с бешеной быстротой.

Как докладывал впоследствии капитан Джеми главному тюремному начальству — и это подтвердил сам Уинвуд, — по дороге к тайнику Уинвуд сказал, что я прятал динамит вместе с ним.

А меня только что выпустили из карцера, где я пробыл пять суток, и из них — восемьдесят часов в смиренной рубашке, и так ослабел, что даже тупые тюремщики поняли это и решили не посылать меня сразу в ткацкую. И вот он указал на меня, в тот момент, когда мне разрешили отдохнуть денек, чтобы восстановить силы после слишком сурового наказания! Да, именно меня назвал он своим сообщником, помогавшим ему спрятать тридцать пять фунтов несуществующего динамита!

Уинвуд привел капитана Джеми к предполагаемому тайнику.

Разумеется, они не обнаружили там никакого динамита.

— Боже мой! — притворно ужаснулся Уинвуд. — Стэндинг провел меня. Он перепрятал пакеты в другое место.

У старшего надзирателя вырвалось нечто более выразительное, чем «Боже мой!». А затем, вне себя от бешенства, однако внешне не теряя хладнокровия, он отвел Уинвуда к себе в кабинет, запер дверь и страшно его избил, что впоследствии дошло до высшего тюремного начальства. Но это произошло значительно позже. Уинвуд даже во время побоев клялся, что сказал истинную правду.

Что оставалось делать капитану Джеми? Он искренне верил, что где-то в тюрьме спрятаны тридцать пять фунтов динамита и сорок отпетых преступников, приговоренных к пожизненному заключению, готовятся к побегу. Ну, разумеется он допросил Саммерфейса, и хотя Саммерфейс утверждал, что в свертке не было ничего, кроме табака, Уинвуд снова поклялся что там был динамит, и ему поверили. В этот момент на сцене

появляюсь я, вернее, наоборот — совсем схожу со сцены, ибо меня лишают дневного света и сияния солнечных лучей и бросают в карцер. И в этом карцере, в одиночном заключении, лишенный света и сияния солнечных лучей, я принужден гнить пять долгих лет. Я ничего не мог понять. Меня только что освободили из одиночки, и я, измученный, истерзанный, лежал на койке в своей камере, как вдруг меня слова бросили в карцер.

— Теперь, — сказал Уинвуд капитану Джеми, — хотя мы и не знаем, где спрятан динамит, никакая опасность нам от этого не угрожает. Стэндинг единственный человек, которому известен тайник, а из карцера он никому ничего сообщить не сможет. Заключенные готовы к побегу. Мы можем захватить их во время попытки. Они ждут только моего сигнала. Я скажу им, чтобы сегодня ночью, в два часа, они были готовы, что я подсыплю часовым снотворное, а потом отомкну камеры и раздам всем пистолеты. Если сегодня ночью, надзиратель, вы не поймаете с поличным в полной готовности к побегу, в одежде и бодрствующими всех сорок, которых я вам назову, тогда можете посадить меня в одиночку до конца моего срока. А когда, кроме Стэндинга, и все остальные сорок будут надежно заперты в карцер, у нас времени будет хоть отбавляй, чтобы разыскать этот динамит.

— Даже если бы нам пришлось для этого разобрать по кирпичику всю тюрьму, — храбро заявил капитан Джеми.

Все это было шесть лет назад. За истекшее время им, конечно, так и не удалось обнаружить этого никогда не существовавшего динамита, хотя они тысячу тысяч раз перетряхивали всю тюрьму, пытаясь его разыскать. Тем не менее до последней минуты своего пребывания на посту начальника тюрьмы Азертоп верил в существование этого динамита. Капитан Джеми, который и сейчас остается там старшим надзирателем, и по сей день уверен, что динамит спрятан где-то в недрах тюрьмы. Не далее как вчера он проделал весь путь от Сен-Квентина до Фолеома, чтобы сделать еще одну попытку вынудить у меня признание о местонахождении этого тайника. Я знаю, что он не обретет душевного покоя до тех пор, пока меня не повесят.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Весь тот день, в карцере, я ломал себе голову, стараясь понять, за что обрушилась на меня эта новая и незаслуженная кара. В конце концов я пришел к единственному возможному заключению: какой-нибудь доносчик, чтобы снискать расположение начальства, приписал мне нарушение правил тюремного распорядка.

Тем временем капитан Джеми находился в состоянии сильнейшего беспокойства, ожидая наступления ночи, а Уинвуд сообщил сорока пожизненно заключенным, чтобы они были готовы к побегу. В два часа пополудни вся тюремная охрана была на ногах и готова к действию. Все надзиратели, даже дневная смена, которая в это время обычно спала. Когда пробило два часа, они ворвались в камеры сорока пожизненно заключенных. Они ворвались во все камеры одновременно. Внезапно распахнулись все двери, и все сорок человек, которых назвал Уинвуд, все без исключения, оказались одетыми: ни один не лежал на своей койке, все притаились в ожидании у дверей. Разумеется, это послужило неопровержимым подтверждением того хитросплетения лжи, которым поэт-фальшивомонетчик опутал капитана Джеми.

Сорок заключенных были застигнуты на месте преступления в полной готовности к побегу. Какое могло иметь значение, если впоследствии они все, как один, утверждали, что план побега был задуман Уинвудом? Все тюремное начальство было уверено, что сорок заключенных лгут, чтобы спасти свою шкуру. Комиссия по амнистиям была уверена в том же — не прошло и трех месяцев, как Сесил Уинвуд, фальшивомонетчик и поэт, самый презренный из людей, получил амнистию.

Что ж, тюрьма — хорошее испытание и хорошая школа для философа. Тот, кто выдержал несколько лет заключения, обязательно видит, как разлетаются прахом самые дорогие ему иллюзии и лопаются мыльные пузыри прекрасных метафизических умозаключений. Истина бессмертна, учат нас, рано или поздно преступление выйдет наружу. Ну так вот вам доказательство того, что преступление не всегда выходит наружу. Старший надзиратель, начальник тюрьмы Азертон и все высшее тюремное начальство, все до единого человека, и по сей день верят в существование динамита, который существовал только в сорвавшемся с тормозов воображении некоего выродка, фальшивомонетчика и поэта — Сесила Уинвуда. И Сесил Уинвуд все еще жив, в то время как я, самый безвинный,

самый непричастный к этому делу человек, именно я буду отправлен на виселицу через несколько недель.

* * *

А теперь я расскажу вам, как сорок пожизненно заключенных внезапно нарушили мертвую тишину моего карцера. Я спал.

Стук двери, ведущей в коридор, где расположены карцеры, разбудил меня. Еще какой-то бедняга, подумалось мне. Крепко ему достается, решил я, услышав громкий топот, глухие удары, внезапные возгласы боли, отборную брань и шорох волочимых по полу тел: всех сорок заключенных зверски избили по дороге и карцер.

Одна за другой отворялись двери карцеров, и кого-то вталкивали, кого-то втаскивали, кого-то швыряли туда. И снова и снова появлялись тюремщики с новой партией избитых заключенных, которых они продолжали избивать, и снова и снова отворялись двери карцеров и поглощали окровавленные тела людей, повинных в том, что они мечтали о свободе.

Оглядываясь назад, я вижу, что нужно быть поистине философом, чтобы на протяжении долгих лет выдерживать эти чудовищные сцены, порой становясь их участником. Я такой философ. В течение восьми лет я выносил эту пытку, и теперь, наконец, отчаявшись освободиться от меня иным путем, мои тюремщики прибегли к содействию государственной машины, чтобы накинуть мне петлю на шею и удушить меня весом моего же тела. О, я знаю, ученые эксперты высказывают свое весьма ученое суждение о том, что при падении в люк у жертвы ломаются шейные позвонки.

Ну, а жертвы, подобно шекспировскому путнику, больше не возвращаются в этот мир, чтобы доказать, что это не совсем так.

Однако мы, живущие в тюрьме, знаем о тайнах, не выходящих за пределы тюремного морга, — о повешенных, чьи шейные позвонки оставались целы и невредимы.

Странная вещь — повешение. Я никогда не видел, как вешают, но наблюдавшие эту казнь описывали мне ее во всех подробностях десятки раз, так что я очень хорошо знаю, что произойдет со мной. Я буду стоять на крышке люка, руки и ноги в кандалах, черный капюшон надвинут на глаза, узел петли за правым ухом — под моими ногами разверзнется дыра, и я буду падать до тех пор, пока веревка, натянувшаяся до отказа под тяжестью

моего тела, не прекратит внезапно моего падения. После чего вокруг меня столпятся врачи и один за другим будут взбираться, на табурет и, обхватив руками мое тело, чтобы приостановить его мерное раскачивание, будут прижиматься ухом к моей груди и считать затихающие удары сердца. Бывает, что и двадцать минут истечет с того мгновения, как откроется люк, до того мгновения, когда сердце стукнет в последний раз. Но можете мне поверить: они постараются самым научным способом удостовериться в том, что человек действительно лишился жизни, после того как ему накинута петлю на шею.

Я намерен несколько отклониться в сторону от моего повествования и задать два-три вопроса обществу. Я имею право и отклоняться и задавать вопросы: ведь в самом непродолжительном времени меня выведут из этой камеры и сделают со мной то, что я только что описал. Так вот: если шейные позвонки жертвы непременно должны сломаться благодаря вышеупомянутому хитроумному расположению узла и петли, а также точному расчету веса жертвы и длины веревки, зачем же тогда, спрашивается, заковывают руки жертвы в кандалы? Общество в целом не в состоянии ответить на этот вопрос. Но я знаю, для чего это делается.

И это знает каждый палач-любитель, хотя бы раз принимавший участие в линчевании и видевший, как жертва хватается руками за веревку, чтобы ослабить стягивающую горло петлю, которая ее душит.

И еще один вопрос задам я самодовольному, закутанному в благополучие, как в ватку, члену современного общества, душа которого никогда не спускалась в преисподнюю: зачем закрывают они голову и лицо жертвы черным колпаком прежде, чем открыть люк под его ногами? И не забудьте, что в самом непродолжительном времени этот черный колпак будет надет на голову мне. Так что я имею право спрашивать. Или они, эти псы, эти твои верные цепные псы, о самодовольный обыватель, страшатся взглянуть в лицо жертвы, в котором, как в зеркале, отразится весь ужас того преступления, которое они совершают над нами для вас и по вашему приказу?!

Не забывайте, что я задаю этот вопрос не в год тысяча двухсотый от рождества Христова, и не в год рождения Христа, и не в год тысяча двухсотый до рождества Христова. Я, которого повесят в этом году, в году тысяча девятьсот тринадцатом от рождества Христова, задаю эти вопросы вам, тем, кто, как принято думать, является последователем Христа, вам, чьи цепные псы, чьи гнусные прислужники-вешатели выведут меня из моей камеры и спрячут мое лицо под куском черной материи, ибо они не осмеливаются взглянуть на страшное злодеяние, которое они совершат

надо мной, пока я еще буду жив.

Но вернемся к тому, что происходило у нас в карцерах. Когда последний надзиратель удалился и дверь коридора захлопнулась за ним, все сорок избитых, растерявшихся людей начали переговариваться и задавать друг другу вопросы. Но тут один из пожизненно заключенных, великан-матрос по прозвищу Брамсель Джек, заревел, словно бык, требуя тишины, чтобы можно было произвести перекличку. Все карцеры были заполнены, и вот из каждого карцера по очереди стало доноситься, сколько в нем заперто человек и как их зовут. Таким образом было установлено, что в карцерах находятся только проверенные люди и можно не опасаться, что нас подслушивает доносчик.

Только я, единственный из всех, вызывал у заключенных подозрение, потому что только я не принимал участие в подготовке к побегу. И я был подвергнут самому придирчивому допросу.

А что я мог им сообщить? Сегодня утром, едва с меня сняли смирительную рубашку и вывели из карцера, как тут же, без малейшего, насколько я мог понять, повода, меня снова швырнули в карцер. Но моя репутация «неисправимого» сослужила мне на сей раз хорошую службу, и скоро они заговорили о деле.

Я лежал и слушал и лишь тут впервые узнал о том, что готовился побег.

«Кто же донес?» — этот единственный вопрос был у всех на устах, и всю ночь до рассвета он повторялся снова и снова. Сесила Уинвуда среди брошенных в карцеры не оказалось, и подозрение пало на него.

— Остается только одно, ребята, — сказал в конце концов Брамсель Джек.

— Скоро утро, и, значит, скоро всех нас выволокут отсюда и начнут спускать шкуру. Нас поймали что называется с поличным: ночью, в одежде. Уинвуд обманул нас и донес. Они возьмут отсюда всех, одного за другим, и превратят в котлеты. Нас сорок человек. Значит, всякое вранье непременно выйдет наружу. Поэтому каждый, когда из него начнут вытряхивать душу, должен говорить правду, всю правду, и ничего, кроме правды, как под присягой.

И там, в этой темной яме, созданной людской бесчеловечностью, четыре десятка пожизненно заключенных преступников, прижавшись лицом к чугунным решеткам дверей, один за другим торжественно поклялись говорить только правду.

Однако их правдивость принесла им мало пользы. В девять часов утра наши тюремщики — эти наемные убийцы на службе у самодовольных

обывателей, олицетворяющих государство, — сытые, хорошо выспавшиеся тюремщики набросились на нас. Мы же не только ничего не ели, нас лишили даже воды. А избитого человека обычно лихорадит. Хотелось бы мне знать, читатель, имеешь ли ты хоть малейшее представление о том, что такое избитый заключенный? «Обработали» — так называется это на нашем языке.

Впрочем, нет, я не стану рассказывать об этом. Достаточно для тебя узнать, что жестоко избитые, страдавшие от жажды люди семь часов оставались без воды.

В девять часов появились наши тюремщики. Их было не слишком много. Да много и не требовалось — ведь они отпирали карцеры по одному. Все они были вооружены рукоятками от мотыг. Это очень удобное орудие для «дисциплинирования» незащитного человека. Двери карцеров отворялись одна за другой, и — карцер за карцером — осужденных на пожизненное заключение людей избивали, превращали в котлету. Впрочем, они проявили полное беспристрастие: меня избили, как и всех остальных.

И это было только началом, так сказать, прелюдией к допросу, которому должны были быть подвергнуты все заключенные поочередно в присутствии наемных палачей штата. Это было предупреждением, чтобы каждый мог почувствовать, что ожидает его на допросе.

Я прошел через все муки тюремной жизни, через нечеловеческие муки, но страшнее всего, куда страшнее даже того, что готовят мне в недалеком будущем, был тот ад, который воцарился в карцерах в последующие дни.

Первым на допрос взяли Длинного Вилла Ходжа, закаленного горца. Он возвратился через два часа — вернее, они притащили его обратно и швырнули на каменный пол карцера. Затем они увели Луиджи Поладзо, сан-францисского бандита, чьи родители переехали в Америку незадолго до того, как он появился на свет. Он издевался над тюремщиками, дразнил их, предлагая показать, на что они способны.

Прошло немало времени, прежде чем Длинный Билл Ходж нашел в себе силы совладать с болью и произнести что-нибудь членораздельное.

— Что это еще за динамит? — спросил он наконец. — Кто знает что-нибудь о динамите?

И, разумеется, никто ничего не знал, хотя допрашивали только об этом.

Луиджи Поладзо вернулся даже раньше чем через два часа, но это было уже лишь какое-то подобие человека: он что-то бормотал, как в бреду, и не мог ответить ни на один вопрос, а вопросы сыпались на него градом в нашем гулком каменном коридоре, ибо остальным еще предстояло пройти

через то, что он испытал, и всем хотелось узнать, что с ним делали и о чем спрашивали.

Еще дважды на протяжении двух суток Луиджи уводили на допрос, когда же он превратился в бессмысленного идиота, его навсегда отправили в отделение для умалишенных. У Луиджи на редкость крепкое здоровье. У него широкие плечи, могучая грудная клетка, крупные ноздри, хорошая, чистая кровь: он будет еще долго лопотать что-то в камере для умалишенных, после того как я повисну в петле и навсегда избежну истязаний в каторжных тюрьмах Калифорнии.

Одного за другим — и всякий раз по одному — заключенных уводили из камер, и один за другим, воя и стеная во мраке, обратно возвращались сломленные и телом и духом люди. А я лежал в своем карцере и прислушивался к этим стонам и воплям, к бессмысленному бормотанию одуревших от боли существ, и смутные воспоминания рождались в моей душе: мне начинало казаться, что когда-то я, надменный и бесстрастный, сидел на высоком помосте и до меня доносились такие же вопли и стоны. Впоследствии, как вы увидите, я открыл источник этих воспоминаний, узнал, что эти стоны и вопли доносились со скамей, к которым были прикованы гребцы-рабы, а я, римский военачальник, слушал их, сидя на корме одной из галер Древнего Рима. Это было, когда я плыл в Александрию по пути в Иерусалим... Но об этом я расскажу позднее. А пока...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

А пока я был во власти ужаса, наблюдая то, что творилось в карцерах, после того как был обнаружен готовившийся побег.

Ни на секунду за все эти бесконечные часы ожидания, ни на секунду не покидала меня мысль о том, что рано или поздно настанет и мой черед отправиться тем же путем, как и другие заключенные, что и меня, как и других, подвергнут чудовищным мукам допроса, а потом принесут обратно утратившим человеческий облик и швырнут на каменный пол за обитую железом дверь карцера.

И за мной пришли. Безжалостно, грубо, с пинками и проклятиями, погнали куда-то, и я предстал перед капитаном Джеми и начальником тюрьмы Азертоном, окруженными своими подручными — наймитами штата Калифорния и налогоплательщиков: с полдюжины палачей-надзирателей топталось в комнате, ожидая приказаний. Но их услуги не понадобились.

— Садись, — сказал мне начальник Азертон, указав на крепкое деревянное кресло.

Но я, избитый и измученный, весь день и всю ночь страдавший от жажды, ослабевший от голода и побоев, обрушившихся на меня после пяти дней карцера и восьмидесяти часов смиренной рубашки, подавленный бедственной нашей судьбой и трепещущий перед предстоящим допросом (я ведь знал, что сделали с другими заключенными), словом, я, жалкое, дрожащее подобие человека и бывший профессор агрономии в тихом университетском городке, я колебался, не решаясь сесть.

Начальник тюрьмы Азертон был крупный мужчина могучего сложения. Его руки ухватили меня за плечи, и во власти этой силищи я почувствовал себя соломинкой. Он приподнял меня над полом и со всего маху швырнул в кресло.

— А теперь, — сказал он, в то время как я старался подавить крик боли и с трудом переводил дыхание, — ты расскажешь мне все, что тебе об этом известно, Стэндинг. Выкладывай, все выкладывай, если хочешь остаться цел.

— Я не знаю, что произошло, решительно ничего не знаю... — начал я.

Вот и все, что я успел сказать. С рычанием он кинулся на меня, снова высоко поднял и швырнул в кресло.

— Брось валять дурака, Стэндинг, — угрожающе произнес он. — Выкладывай все как есть. Где динамит?

— И ничего не знаю ни о каком динамите, — возразил я.

И снова я был поднят и брошен в кресло.

Меня не раз подвергали самым разнообразным пыткам, но когда теперь в тишине последних оставшихся мне дней жизни я размышляю над этим, меня не покидает уверенность в том, что никакая пытка не сравнится с этим швырянием в кресло.

Крепкое кресло постепенно превращалось в обломки под ударами моего тела. Потом принесли другое кресло, и вскоре и оно было разломано в щепы. Но приносили еще кресла, и снова и снова раздавался все тот же вопрос: «Где динамит?»

Когда начальник тюрьмы утомился, его сменил капитан Джеми, а затем тюремщик Моноэн пришел на смену капитану Джеми и тоже принялся вколачивать меня в кресло: «Где динамит? Где динамит? Где динамит?» А динамита не было. К концу допроса я с радостью отдал бы свою бессмертную душу за несколько фунтов динамита, местонахождение которого я мог бы указать.

Не знаю, сколько кресел сломалось под ударами моего тела.

Бессчетное количество раз я терял сознание, и в конце концов все слилось в какой-то смутный кошмар. Меня пинками заставили идти куда-то, потом полунесли, полуволочили по темному коридору. А когда я очнулся в своей камере, то обнаружил там доносчика. Это был тщедушный человечек с мертвенно-бледным лицом наркомана, заключенный на короткий срок и готовый решительно на все, лишь бы раздобыть наркотик. Едва я увидел его, как тотчас подполз к решетке и крикнул из последних сил:

— Ко мне посадили легавого, ребята, — Игнатиуса Ирвина! Держите язык за зубами!

И такой взрыв бешеной ругани прогремел мне в ответ, что тут, пожалуй, струхнул бы и более отважный человек, чем Игнатиус Ирвин. Он же до того перетрусил, что на него жалко было смотреть. А избитые заключенные, рыча от боли и ярости, словно дикие звери, осыпали его угрозами и расписывали на все лады, что сделают они с ним, попадись он им только.

Имей мы секреты, присутствие доносчика заставило бы нас прикусить язык. Ну, а так как мы ничего не знали и поклялись говорить правду, то никто и не подумал молчать в присутствии Игнатиуса Ирвина. История с динамитом была для всех главной и неразрешимой загадкой, она всех

ставила в тупик не меньше, чем меня. И все обратились ко мне. Все заклинали меня чистосердечно признаться, если мне известно что-нибудь о динамите, и спасти их от дальнейших страданий. А я мог ответить им только истинную правду: я ничего не знаю об этом динамите.

Прежде чем надзиратели увели от меня Ирвина, я успел узнать от него одну новость, показавшую, что эта история с динамитом — дело не шуточное. Я, разумеется, передал эту новость дальше. Ирвин сказал, что в тот день в тюрьме не работала ни одна мастерская. Тысячи заключенных оставались взаперти в своих камерах, и похоже было на то, что работа не возобновится, пока не сыщется динамит, который кто-то ухитрился где-то спрятать.

А допросы все продолжались. По-прежнему заключенных выводили поодиночке из карцеров и приволакивали или приносили на носилках обратно. От них мы узнали, что начальник тюрьмы Азертон и капитан Джеми, совсем обессилив, начали сменять друг друга каждые два часа. Пока один спал, другой допрашивал.

А спать им приходилось, не раздеваясь, в той самой комнате, в которой сильных, здоровых мужчин одного за другим превращали в калек.

И час за часом во мраке карцеров рос леденивший нас ужас. О, поверьте мне, ибо я знаю: быть повешенным — это пустяк по сравнению с теми страданиями, которым может подвергнуться человек при жизни — и все же продолжать жить. Я сам наравне с остальными заключенными терпел нечеловеческую боль и муки жажды. Но мои страдания усиливались еще тем, что я не был равнодушен к страданиям других. Два года назад я попал в категорию «неисправимых», и страдания закалили мои нервы и мозг.

Сильный человек, когда он сломлен, представляет собой страшное зрелище. А вокруг меня находилось сорок сильных мужчин, тело и дух которых были сломаны. Вопли изнемогавших от жажды людей не умолкали, и все это вместе напоминало сумасшедший дом: крики, стоны, бормотания, горячечный бред...

Вы поняли, что произошло? Нас погубила наша клятва говорить только правду. Когда сорок человек с полным единодушием стали утверждать одно и то же, начальник тюрьмы и капитан Джеми сделали из этого один-единственный вывод: наши показания это хорошо затверженная ложь, которую каждый из сорока повторяет, как попугай.

Надо признать, что положение тюремного начальства тоже по-своему было отчаянным. Как я узнал впоследствии, срочно, по телеграфу было созвано специальное совещание тюремного управления, и в тюрьму

прибыло два отряда милиции штата.

Стояла зима, а зимой даже в Калифорнии мороз бывает порой весьма жесток. В карцерах заключенным не полагается даже одеял. Поверьте, избитому в кровь человеку очень холодно лежать на заиндевевшем каменном полу. А воду они нам в конце концов дали. Осыпая нас руганью и насмешками, надзиратели приволокли пожарные шланги и часами хлестали по карцерам сильной струей воды, хлестали до тех пор, пока не разбередили заново все наши раны. Вода доходила нам уже до колен, и если раньше мы бредили водой, молили о воде, то теперь мы неистовствовали, требуя, чтобы нас перестали поливать водой.

Я умолчу о том, что происходило в карцерах дальше. Замечу мимоходом только, что ни один из сорока пожизненно заключенных не стал уже прежним человеком. К Луиджи Поладзо так и не вернулся рассудок. Длинный Билл Ходж мало-помалу свихнулся и примерно через год тоже был переведен в отделение для умалишенных. О да, и некоторые другие последовали за Хеджем и Поладзо! А кое у кого здоровье было настолько расшатано, что тюремный туберкулез быстро свел их в могилу. В течение последующих шести лет умерло десять человек из сорока.

После пяти лет, проведенных в одиночном заключении, когда меня везли из тюрьмы Сен-Квентин на суд, я увидел Брамсея Джека. Не сказать, чтобы я мог разглядеть много. Впервые за пять лет выйдя из мрака на яркий солнечный свет, я был слеп, как летучая мышь, но все же при виде Брамсея Джека у меня заныло сердце. Я заметил его, когда шел через тюремный двор. Волосы у него совсем побелели. Еще молодой по годам, он стал стариком. Грудь у него ввалилась, щеки запали, руки тряслись, как у паралитика. Он еле ковылял и все время спотыкался. Когда он узнал меня, на глазах у него навернулись слезы: ведь и я превратился из человека в жалкую развалину. Мой вес едва достигал восьмидесяти семи фунтов. Мои поседевшие волосы отросли за пять лет, как грива. Усы и борода тоже основательно отросли за эти годы. И я, как и Джек, едва ковылял и спотыкался, и надзиратели поддерживали меня, пока я брел через залитый солнцем небольшой тюремный двор. Мы с Брамселем Джеком уставились друг на друга, и каждый из нас узнал в изуродованном подобии человека товарища по несчастью.

Люди, подобные Брамселю Джеку, всегда пользуются некоторыми привилегиями даже в тюрьме, и поэтому он позволил себе некоторое нарушение тюремных правил: хриплым, дрожащим голосом он заговорил со мной.

— Ты молодец, Стэндинг, — прохрипел он. — Так они от тебя ничего

и не узнали.

— Но я ничего и не знал, Джек, — прошептал я в ответ. Волей-неволей я вынужден был шептать, ибо, промолчав пять лет, почти разучился говорить. — Мне кажется, этого динамита никогда и не было вовсе.

— Вот-вот, — закивал он, словно ребенок. — Стой на своем. Не говори им ничего. Ты молодец. Я крепко уважаю тебя, Стэндинг. Ты умеешь держать язык за зубами.

И тут тюремщики увели меня, и больше я никогда не видел Брамсея Джека. Было совершенно очевидно, что даже он уверовал в конце концов в эту сказку о динамите.

* * *

Трижды вызывало меня к себе тюремное начальство и поочередно то запугивало, то улещивало. Мне представили на выбор две возможности: если я открою, где находится динамит, я получу самое легкое наказание — тридцать дней в карцере, а затем буду назначен старостой тюремной библиотеки. Если же я предпочту упорствовать и не укажу, где хранится динамит, то останусь в одиночке на весь срок заключения. Ну, а поскольку я был приговорен к пожизненному заключению, это означало пожизненное заключение в одиночке.

О нет! Калифорния — цивилизованная страна. Ничего подобного вы не обнаружите в своде законов этого штата. Это — небывалое, неслыханно жестокое наказание, и ни одно современное государство не пожелает нести ответственность за такой закон.

Тем не менее я уже третий человек в истории Калифорнии, который был приговорен к одиночному тюремному заключению пожизненно. Другие два — это Джек Оппенгеймер и Эд Моррел.

Я скоро расскажу вам о них, ибо мне пришлось гнить с ними бок о бок в безмолвии одиночных камер.

И еще вот что. Мои тюремщики намерены в скором времени вывести меня из тюрьмы и повесить. Нет, нет, не за убийство профессора Хаскелла. За это я был приговорен к пожизненному заключению. Они собираются вывести меня из тюрьмы и повесить, потому что я напал на надзирателя. А это уже не просто нарушение тюремной дисциплины. На это уже существует закон, занимающий свое место в уголовном кодексе.

Кажется, я расквасил ему нос. Я не видел, шла ли у него носом кровь, но свидетели утверждают, что шла. Звали этого человека Сэрстон. Он был

надзирателем в тюрьме Сен-Квентин, отличался отменным здоровьем и весил сто семьдесят фунтов.

Я был слеп, как летучая мышь, весил меньше девяноста фунтов и так долго пробыл в узкой камере, замурованный между четырьмя стенами, что, очутившись на открытом пространстве, опьянел, и у меня закружилась голова. Несомненно, это был самый типичный, клинически чистый случай начальной стадии агорафобии, и я убедился в этом в тот же день, когда вырвался из одиночки и ударил тюремщика Сэрстона в нос.

Я расквасил ему нос, когда он преградил мне дорогу и попытался меня схватить. И вот теперь меня собираются повесить.

По закону штата Калифорния, присужденный к пожизненному заключению преступник вроде меня, нанося удар надзирателю вроде Сэрстона, совершает уголовное деяние, караемое смертной казнью. Сэрстон, верно, уже через полчаса забыл, что у него шла из носа кровь, но тем не менее меня за это повесят!

А теперь послушайте! В моем случае этот закон применен *ex post facto* [1]. Когда я убил профессора Хаскелла, такого закона еще не существовало. Он был принят уже после того, как я был приговорен к пожизненному заключению. И в этом-то вся суть: вынесенный мне приговор поставил меня в положение, при котором я мог подпасть под действие закона, еще не принятого.

Ведь меня могут повесить за нападение на надзирателя Сэрстона только благодаря моему статусу пожизненно заключенного. Совершенно ясно, что это — решение *ex post facto* и, следовательно, противоречит конституции.

Но какое значение имеет конституция для судей, если им нужно разделаться с небезызвестным профессором Даррелом Стэндингом? К тому же казнь моя отнюдь не будет беспрецедентной. Как известно всем, кто читает газеты, год назад здесь же, в Фолсемской тюрьме, за точно такое же преступление был повешен Джек Оппенхеймер... Только оскорбление действием выразилось тогда не в том, что Оппенхеймер расквасил нос тюремщику: он невзначай порезал одного из заключенных столовым ножом.

Странная это штука — жизнь, и человеческие поступки, и законы, и хитросплетения судьбы. Я пишу эти строки в той самой камере, в Коридоре Убийц, в которой сидел Джек Оппенхеймер, пока его не вывели отсюда и не сделали с ним то, что собираются сделать со мной.

Я предупредил вас, что мне нужно написать о многом.

И я возвращаюсь к моему повествованию. Тюремное начальство

предложило сделать выбор; если я укажу, где спрятан динамит, то буду назначен старостой тюремной библиотеки и освобожден от работы в ткацкой мастерской. Если же я откажусь сообщить его местонахождение, то до конца дней своих останусь в одиночке.

Мне дали двадцать четыре часа смиренной рубашки, чтобы я мог поразмыслить над их ультиматумом. Затем я вторично предстал перед тюремным начальством. Что я мог сделать? Я же не мог указать им, где хранится динамит, когда никакого динамита не существовало. Я так им и сказал, а они сказали мне, что я лгу.

Они сказали, что я — тяжелый случай, опасный преступник, выродец, один на столетие. И они сказали мне еще много кое-чего, а затем отправили меня обратно в одиночку. Меня поместили в одиночку номер один. В номере пятом сидел Эд Моррел. В номере двенадцатом находился Джек Оппенхеймер. И он сидел там уже десять лет. А Эд Моррел сидел первый год. Он был приговорен к пятидесяти годам заключения. Джек Оппенхеймер был осужден пожизненно, так же как и я. Казалось бы, всем нам троим предстоит пробыть там немалый срок. Однако прошло всего шесть лет, и уже никого из нас там нет. Джека Оппенхеймера повесили. Эд Моррел стал главным старостой Сен-Квентина и совсем на днях был помилован и выпущен на свободу. А я здесь, в Фолсемской тюрьме, жду, когда судья Морган в положенное время назначит день, который станет моим последним днем.

Дураки! Словно они могут лишить меня моего бессмертия с помощью своего неуклюжего приспособления из веревки и деревянного помоста! О нет, еще бесчисленное количество столетий я буду бродить снова и снова по этой прекрасной земле!

И не бесплотным духом буду я — я буду владыкой и пахарем, ученым и невеждой, буду восседать на троне и стонать под ярмом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Очень тяжело и тоскливо было мне первые недели в одиночке, и часы тянулись нескончаемо долго. Ход времени отмечался сменой дня и ночи, сменой дежурных надзирателей. Днем становилось лишь чуть-чуть светлее, но и это было лучше непроглядной ночной тьмы. В одиночке день — всего лишь вязкий тусклый сумрак, с трудом просачивающийся снаружи, оттуда, где ликует солнечный свет.

Никогда не бывает настолько светло, чтобы можно было читать. Да, кстати сказать, и читать-то нечего. Остается только лежать и думать, думать. А я был приговорен к пожизненному заключению, и это означало, что мне предстоит — если только я не сумею сотворить чудо, создав тридцать пять фунтов динамита из ничего, — все оставшиеся годы жизни провести в безмолвии и мраке.

Постелью мне служил жидкий, набитый гнилой соломой тюфяк, брошенный на каменный пол. Укрывался я ветхим, грязным одеялом. Больше в камере не было ничего: ни стола, ни стула ничего, кроме этой тонкой соломенной подстилки и тонкого, вытертого от времени одеяла. А я привык мало спать и много думать.

В одиночном заключении человек, оставленный наедине со своими мыслями, надоедает самому себе до тошноты, и тогда единственным спасением от самого себя служит сон. Годами я спал в среднем не больше пяти часов в сутки. Теперь я стал культивировать сон.

Я сделал из этого науку. Я научился спать десять, затем двенадцать и, наконец, даже четырнадцать — пятнадцать часов в сутки. Но это был предел, и все остальное время я волей-неволей был вынужден лежать, бодрствовать и думать, думать. А для человека, наделенного живым умом и фантазией, это прямой путь к безумию.

Я пускался на всякие ухищрения, чтобы хоть чем-то заполнить часы моего бодрствования. Я без конца возводил в квадратную и в кубическую степень всевозможные числа, заставляя себя сосредоточиться, и вычислял в уме самые невероятные геометрические прогрессии. Я даже принялся было искать, шутики ради, квадратуру круга... Но поймал себя на том, что начинаю верить в возможность разрешения этой неразрешимой задачи. Тогда, поняв, что это тоже грозит мне потерей рассудка, я отказался от поисков квадратуры круга, хотя, поверьте, это было для меня большой жертвой, так как подобное умственное упражнение великолепно помогало

убивать время.

Закрыв глаза и концентрируя внимание, я представлял себе шахматную доску и разыгрывал сам с собой длиннейшие шахматные партии. Но как только я достиг в этом совершенства, игра потеряла для меня интерес. Это было только времяпрепровождение, и ничего больше, ибо подлинная борьба невозможна, если игрок сражается сам с собой. Я пытался расщепить свою личность на две и противопоставить их друг другу, но все попытки были тщетны: я всегда оставался лишь одним игроком, играющим за двоих, и не мог обдумать не только целого плана игры, но даже ни единого хода без того, чтобы это не стало немедленно известно партнеру.

И время тянулось медленно, мучительно тоскливо. Я играл с мухами, с обыкновенными мухами, которые проникали в камеру тем же путем, как и тусклый серый свет, и убедился, что им доступно чувство азарта. Например, лежа на полу своей камеры, я мысленно проводил на стене, футах в трех от пола, черту. Пока мухи садились на стену над этой чертой, я их не трогал. Но как только они залетали ниже черты, я пытался их поймать. Я был осторожен, старался не повредить им крылышки, и вскоре они уже знали ничуть не хуже меня, где проходит воображаемая черта. Когда им хотелось поиграть, они садились на стену ниже черты, и случалось, что какая-нибудь муха развлекалась со мной подобным образом в течение целого часа. Утомившись, она перелетала в безопасную зону и отдыхала там.

Среди доброго десятка мух, живших в моей камере, имелась только одна муха, которая не хотела принимать участие в этом развлечении. Она упорно отказывалась играть и, поняв, что садиться на стену ниже определенного места опасно, старательно избегала залетать туда. Эта муха была угрюмым, разочарованным созданием. Как сказали бы у нас в тюрьме, по-видимому, у нее были свои счеты с миром. И с другими мухами она тоже никогда не играла. Но это была сильная, здоровая муха. Я достаточно долго за ней наблюдал и имел возможность убедиться в этом. Ее отвращение к игре было свойством характера, а не физических особенностей.

Поверьте, я хорошо знал всех моих мух. Меня поражало бесконечное множество различий, существовавших между ними.

О да, каждая муха обладала ярко выраженной индивидуальностью и отличалась от других не только размерами, окраской, силой и быстротой полета, не только манерой летать и особыми уловками в игре, не только своими прыжками и подскоками, не только тем, как она кружилась и

кидалась сначала в одну сторону, затем в другую и внезапно, на какую-то долю секунды, касалась опасной части стены или делала вид, что она ее касается, чтобы тут же взлететь и опуститься где-нибудь в другом месте, нет, — все они резко отличались друг от друга сообразительностью и характером, что проявлялось в довольно тонких психологических нюансах.

Я наблюдал нервных мух и флегматичных мух. Была одна муха-недоросток, которая порой впадала в настоящую ярость, то разгневавшись на меня, то — на своих товарищей. Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как на зеленом лужку, резвясь и брыкаясь от избытка бьющей через край силы и молодого задора, скачет, словно одержимый, жеребенок или теленок? Так вот, у меня была одна такая муха — самая заядлая любительница поиграть, — и когда ей удалось раза три-четыре подряд безнаказанно коснуться запрещенной стены и ускользнуть от бархатно-вкрадчивого взмаха моей руки, она приходила в такой неистовый восторг и ликование, так торжествовала свою победу надо мной, что принималась с бешеной скоростью кружиться у меня над головой то в одном, то в другом направлении, но все время по одному и тому же кругу.

Более того, я всегда отлично знал наперед, когда та или иная муха решит включиться в игру. Я не стану утомлять ваше внимание, описывая в мельчайших подробностях то, что мне приходилось наблюдать, хотя именно эти подробности и помогли мне не сойти с ума в первый период моего заключения в одиночке.

Но об одном случае я должен все-таки рассказать вам, — он мне врезался в память. Как-то раз та самая муха-мизантроп, которая отличалась угрюмостью нрава и никогда не вступала в игру, села по забывчивости на запрещенный участок стены и немедленно попала ко мне в кулак. Так, вообразите, она злилась после этого по крайней мере час.

А часы в одиночке тянулись томительно: их нельзя было ни убить, ни скоротать с помощью мух, хотя бы даже самых умных.

Ибо в конце концов мухи — это только мухи, а я был человек, наделенный человеческим интеллектом, активным и деятельным умом, со множеством научных и всяких других познаний, умом, всегда жаждущим занятия, а занять его было нечем, и мозг мой изнемогал под бременем пустых раздумий. Я вспоминал виноградники Асти, где прошлым летом проводил опыты во время каникул, ища способ определять содержание моносахаридов в винограде и виноградных лозах. Я как раз близился к завершению этой серии опытов. «Продолжает ли их кто-нибудь? — думал я. — А если продолжает, то с какими результатами?»

Поймите, мир для меня умер. Никаких вестей извне не просачивалось

в мою темницу. Развитие науки шло вперед быстрыми шагами, а ведь меня интересовали тысячи разнообразных проблем. Взять хотя бы мою теорию гидролиза казеина с помощью трипсика, которую профессор Уолтер проверял в своей лаборатории. А профессор Шламнер сотрудничал со мной, стараясь обнаружить фитостерин в смеси животного и растительного жиров.

Эта работа, несомненно, ведется и сейчас, но каковы ее результаты? Мысль о том, что где-то здесь, близко, за стенами тюрьмы, научная жизнь кипит ключом, а я не только не могу принять в ней участие, но даже ничего о ней не узнаю, сводила меня с ума.

Они работали, а я лежал на полу в своей камере и играл с мухами.

Однако тишина одиночки не всегда бывала полной. С первых дней моего заключения мне порой приходилось слышать слабые, глухие постукивания, раздававшиеся в самое неопределенное время. А откуда-то очень издали доносились ответные постукивания, еще более глухие, еще более слабые. Почти всегда эти постукивания прерывались окриками надзирателей. А иной раз, когда перестукивания продолжали звучать слишком упорно, дежурные надзиратели призывали себе на подмогу других, и по долетавшему до меня шуму я понимал, что на кого-то надевают смирительную рубашку.

Все было ясно как Божий день. Я знал, так же как знал это каждый узник тюрьмы Сен-Квентин, что двое заключенных, сидевших в одиночках, были Эд Моррел и Джек Оппенхеймер.

И я понимал, что это они перестукивались друг с другом и понесли за это соответствующую кару.

Я ни секунды не сомневался, что код, которым они пользуются, должен быть чрезвычайно прост, и тем не менее потратил впустую немало усилий, пытаясь его понять. Он не мог не быть прост, однако мне никак не удавалось его разгадать, сколько я ни бился. Но когда в конце концов я все же разгадал его, он и в самом деле оказался чрезвычайно простым, причем проще всего было именно то, что сбивало меня с толку. Не только каждый день меняли они исходную букву кода, — нет, они меняли ее каждый раз после любой паузы, наступавшей в перестукиваниях, а другой раз так даже и в середине перестукивания.

И вот настал день, когда я поймал начало кода, и тотчас же расшифровал две совершенно ясные и четкие фразы. А в следующий раз, когда они опять начали перестукиваться, я снова не мог понять ни единого слова. Но зато в тот первый раз!..

«Послушай... Эд... что... бы... ты... отдал... сейчас... за... щепотку...

табака... и... клочок... бумаги?» — спрашивал тот, чей стук доносился издалека.

Я чуть не вскрикнул от радости: вот она — ниточка, связующая меня с товарищами! Вот оно — общение! Я жадно вслушивался, и вскоре до меня донесся более близкий ответный стук. По-видимому, стучал Эд Моррел:

«За... пятицентовую... пачку... я... бы согласился получить... двадцать... часов смирительной рубашки...»

Тут перестукивание было прервано грубым окриком надзирателя:

— Моррел, прекрати!

Со стороны может показаться, что человеку, приговоренному к пожизненному одиночному заключению, уже нечего терять: хуже ведь ничего не может быть, — и потому надзиратель бессилен заставить его подчиниться и перестать стучать. Но есть еще смирительная рубашка. Есть еще лишение пищи. Есть еще пытка жаждой. И побои. А узник в своей крохотной камере беспомощен, совершенно беспомощен.

Словом, перестукивание прекратилось, а ночью я услышал его снова и был поставлен в тупик. Они изменили исходную букву кода, как видно, договорившись об этом заранее. Но я уже разгадал его принцип, и через несколько дней, когда они опять начали со знакомой мне буквы, я не стал дожидаться приглашения.

— Приветствую вас, — простучал я.

— Привет, незнакомец, — ответил Моррел.

А Оппенхеймер добавил:

— Добро пожаловать в наш город.

Они поинтересовались, кто я такой, на какой срок приговорен к одиночному заключению и за что. Но все эти вопросы я сначала оставил без внимания, торопясь выяснить, по какой системе они меняют исходную букву кода. После того как мне это объяснили, мы немного побеседовали. Это был знаменательный день — ведь два пожизненно заключенных неожиданно приобрели еще одного товарища по несчастью. Правда, вначале они приняли меня в свою компанию лишь, так сказать, на пробу. Потом они признались мне, что опасались, как бы я не оказался шпиком, подсланным к ним, чтобы подстроить какое-нибудь ложное обвинение. С Оппенхеймером это однажды уже проделали, и он дорого заплатил за свою доверчивость, которой воспользовался шпик, посаженный к нему начальником тюрьмы Азертоном.

К моему удивлению, — я чуть не сказал, к моему восторгу, — оба мои товарища по заключению уже слышали обо мне, как о «неисправимом». Даже в эту могилу, где Оппенхеймер томился десятый год, проникла моя

слава или, выражаясь скромнее, известность.

Мне было что порассказать им о событиях, происходивших в тюрьме и за ее стенами. Они не слышали ничего о якобы подготовлявшемся побеге сорока пожизненно заключенных, о поисках несуществующего динамита, словом, о той предательской западне, в которую заманил нас Сесил Уинвуд. Они сказали мне, что в одиночки просачиваются порой кое-какие слухи через надзирателей, но что за последние два месяца никаких вестей к ним сюда не долетало. Надзиратели, дежурившие все это время в одиночках, принадлежали к числу наиболее тупых и злобных.

В тот день каждый надзиратель, заступавший на дежурство, изливал на нас потоки брани за наше перестукивание. Но мы не могли удержаться. К двум заживо погребенным внезапно прибавился третий, и нам слишком многое нужно было сказать друг другу, а наша беседа, и без того медленная, ползла совсем уж черепашьям шагом, так как у меня еще не было опыта в таком способе общения между людьми.

— Подожди, ночью выйдет на дежурство Конопатый, — выстукивал мне Моррел. — Он почти все дежурство храпит, и мы тогда сможем отвести душу.

Да, мы наговорились всласть в ту ночь! Ни на секунду не сомкнули мы глаз. Конопатый Джонс был желчным и злым человеком, невзирая на свою толщину, но мы благословляли ее, так как она заставляла его дремать украдкой. И все же наше неумолчное перестукивание бесило Конопатого, так как тревожило его сон, и он снова и снова орал на нас. Так же проклинали нас и другие ночные дежурные. А наутро все они сообщили начальству, что заключенные перестукивались от зари до зари, и нам пришлось расплачиваться за наш маленький праздник: в девять часов утра появился капитан Джеми в сопровождении нескольких подручных, и нас зашнуровали в смирительные рубашки. Двадцать четыре часа подряд — до девяти часов следующего утра мы без пищи и воды валялись в смирительных рубашках на каменном полу, заплатив такой ценой за то, что позволили себе поговорить друг с другом.

О да, наши тюремщики были настоящие звери. И они так обращались с нами, что мы, для того чтобы выжить, должны были ожесточиться и тоже превратиться в зверей. От грубой работы грубеют руки. От жестоких тюремщиков ожесточаются заключенные. Мы продолжали перестукиваться, и нас в наказание то и дело затягивали в смирительные рубашки. Лучшим временем суток была ночь, и порой, когда вместо наших постоянных мучителей на дежурство случайно выходил кто-нибудь другой, мы перестукивались всю ночь.

Для нас, живших в вечном мраке, дни и ночи сливались в одно. Спать мы могли в любое время, перестукиваться — только от случая к случаю. Мы пересказали друг другу почти всю нашу жизнь, и долгими часами Моррел и я лежали молча, прислушиваясь к доносившимся издали слабым, глухим звукам. Это Оппенхеймер медленно, слово за словом выстукивал историю своей жизни — рассказывал о детстве, проведенном в трущобах Сан-Франциско; о бандитской шайке, заменившей ему школу; о знакомстве со всеми видами злодеяний и порока; о том, как в четырнадцать лет он был мальчиком на побегушках в квартале красных фонарей; о том, как впервые попал в лапы полиции; о кражах и грабежах, и снова о кражах и грабежах, и, наконец, о предательстве товарища и о кровавом расчете в тюремных стенах.

Джек Оппенхеймер был прозван Человек-Тигр. Какой-то досужий репортер пустил в ход эту лихую кличку, и ей суждено было надолго пережить человека, который ее носил. Однако я видел в Джеке Оппенхеймере черты истинной человечности. Он был надежный и верный друг. Он никогда никого не выдавал, хотя не раз нес за это наказание. Он был отважен. Он был терпелив. Он был способен на самопожертвование. Я мог бы рассказать об этом целую историю, но у меня нет времени. И он страстно ненавидел несправедливость. Когда Джек Оппенхеймер совершил в тюрьме убийство, им руководило одно — обостренное чувство справедливости. И у него был великолепный ум. Ни пожизненное заключение в тюремных стенах, ни десять лет, проведенных в одиночной камере, не затуманили его рассудка.

Моррел был тоже добрый, верный товарищ и тоже обладал недюжинным умом. В сущности, трое самых умных людей в тюрьме Сен-Квентин (стоя одной ногой в могиле, я имею право заявить это, не боясь, что меня обвинят в нескромности) гнили бок о бок в одиночных камерах. Теперь, оглядываясь назад в конце своего жизненного пути и вспоминая все, чему научила меня тюрьма, я прихожу к заключению, что сила и глубина ума несовместимы с покорностью. Глупые люди, трусливые люди, люди, не наделенные бесстрашием, неистребимым чувством товарищества и страстной тягой к правде и справедливости, — вот те, из кого создаются образцовые заключенные. Я благодарю всех богов за то, что Джек Оппенхеймер, Эд Моррел и я никогда не были образцовыми заключенными.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ребенок, который определил память как «то, чем забывают», был не так уж неправ. Умение забывать — это свойство здорового мозга. Неотвязные воспоминания означают манию, безумие. И в одиночной камере, где меня осаждали неотвязные воспоминания, я искал способа забыть. Но, забавляясь с мухами, играя сам с собой в шахматы, перестукиваясь с товарищами, я находил лишь частичное забвение, а искал я полного.

Оставались детские воспоминания об иных временах и об иных странах — «чуть брезжущие отблески сияния», как писал Вордсворт. Неужели ребенок, становясь взрослым, утрачивает эти воспоминания безвозвратно? Неужели они полностью стираются?

Или память об иных временах и об иных странах все еще дремлет, погребенная в клеточках мозга, как я был погребен в одиночке тюрьмы Сен-Квентин?

Известны случаи, когда люди, приговоренные к пожизненному одиночному заключению, получали помилование и, словно воскреснув, вновь любовались солнечным светом. Так почему же не может воскреснуть и детская память о другой жизни?

Но как воскресить ее? Забыв настоящее и все, что легло между этим настоящим и детством, решил я.

А как же достигнуть этого? С помощью гипноза. Если с помощью гипноза мне удастся усыпить сознание и разбудить подсознание, тогда победа будет одержана, тогда все тюремные двери в мозгу распахнутся и узники выйдут на свободу, к солнцу.

Так я рассуждал, а к чему это привело, вы узнаете далее.

Но сперва я хочу рассказать про мои собственные детские воспоминания об иных временах. Я упивался тогда отблесками сияния других жизней. Меня, как и всех детей, мучила память, кем я был прежде. Происходило это в дни, когда я только становился самим собой, и присущие мне в иных жизнях характеры еще не затвердели и не выкристаллизовались в новую личность, которая несколько коротких лет звалась Дарделом Стэндингом.

Я расскажу только об одном эпизоде. Случилось это в Миннесоте на нашей старой ферме. Мне еще не исполнилось шести лет.

В нашем доме остановился переночевать вернувшийся из Китая

миссионер, которого миссионерский совет послал собирать пожертвования среди фермеров. То, о чем я хочу рассказать, произошло на кухне после ужина, когда мать укладывала меня спать, а миссионер показывал нам фотографии Святой Земли.

Я, разумеется, давно забыл бы то, о чем собираюсь сообщить вам, если бы впоследствии не слышал множество раз, как мой отец рассказывал об этом удивленным слушателям.

Увидев одну из фотографий, я вскрикнул и стал ее рассматривать — сначала жадно, а потом разочарованно. Сперва она показалась мне такой знакомой, словно это была фотография отцовского сарая, а потом все вдруг стало чужим. Однако я продолжал ее рассматривать, и изображение снова стало щемяще-знакомым.

— Это Башня Давида, — объяснил миссионер, обращаясь к моей матери.

— Нет! — убежденно воскликнул я.

— По-твоему, она называется не так? — спросил миссионер.

Я кивнул.

— Ну а как же она называется, милый мальчик?

— Она называется... — хотел я ответить и запнулся. — Я забыл.

— Она стала какой-то не такой, — добавил я, помолчав. — Ее всю перестроили.

Тут миссионер выбрал из пачки другую фотографию и протянул ее матери.

— Я побывал здесь полгода назад, миссис Стэндинг, — сказал он и, указав пальцем, добавил: — Это Яффские ворота, через которые я прошел прямо к Башне Давида — она вот тут, на заднем плане, где прижат мой палец. В этом согласны все ученые-богословы. Эль Кулах называл ее...

Тут я опять перебил его и, показав на развалины в левом углу фотографии, воскликнул:

— Она где-то вот тут! Так, как вы, ее называли евреи. А мы называли ее по-другому. Мы называли ее... я забыл.

— Нет, вы только его послушайте! — засмеялся отец. — Можно подумать, что он бывал там!

Я уверенно кивнул, так как не сомневался, что мне доводилось бывать в тех местах, хотя они как-то странно изменились.

Отец расхохотался еще громче, а миссионер решил, что я смеюсь над ним. Он показал мне еще одну фотографию: унылая пустыня, без единого деревца или травинки, прорезанная лощиной с пологими каменистыми склонами. Неподалеку виднелась кучка жалких лачуг с плоскими крышами.

— Ну а это что такое, милый мальчик? — осведомился миссионер.

И я вспомнил!

— Самария! — ответил я, не задумываясь.

Отец захлопал в ладоши, мать совсем растерялась, не понимая, что на меня нашло, а миссионер как будто рассердился.

— Мальчик не ошибся, — сказал он. — Эта деревня действительно находится в Самарии. Я проезжал через нее. Поэтому я и купил эту фотографию. А мальчик, несомненно, уже видел другие такие фотографии.

Но и отец и мать стали уверять его, что этого быть не может.

— Только на картинке она не такая, — расхрабрился я, а моя память в это время деятельно восстанавливала все исчезнувшие особенности ландшафта. Общий его характер остался прежним, так же как и очертания далеких холмов. Я начал вслух перечислять изменения, тыча пальцем: — Дома были вот здесь, справа. А здесь были деревья, много деревьев, много травы и много коз. Я, как сейчас, их вижу. Коз пасут двое мальчиков. А вот тут много людей, и все они идут за одним человеком. А вон там, — я прижал палец к тому месту, где перед этим обозначил деревню, — а вон там много бродяг. Они одеты в лохмотья. И они больны. У них все лица, руки и ноги в болячках.

— Он слышал об этом в церкви или где-нибудь еще... Евангелие от Луки, исцеление прокаженных, — сказал миссионер с довольной улыбкой. — А сколько было бродяг, милый мальчик?

В пять лет я уже умел считать до ста и, мысленно их пересчитав, сказал:

— Их десять. Они машут руками и кричат на остальных людей.

— Но не подходят к ним? — последовал вопрос.

Я покачал головой.

— Нет, они стоят на месте и вопят, словно с ними стряслась беда.

— Продолжай, — настойчиво произнес миссионер. — Что еще происходит? Что делает человек, который, как ты сказал, идет во главе толпы?

— Они все остановились, а он что-то говорит больным бродягам. И мальчики с козами тоже остановились посмотреть. Все смотрят.

— А что дальше?

— Ничего. Больные бродяги уходят в деревню. Они больше не кричат, и вид у них совсем здоровый. А я сажу на моем коне и смотрю.

Тут все трое моих слушателей рассмеялись.

— И я совсем большой! — крикнул я сердито. — И у меня есть длинный меч.

— Это десять прокаженных, которых Христос исцелил вблизи Иерихона на пути в Иерусалим, — объяснил миссионер моим родителям. — Мальчик был на представлении с волшебным фонарем и видел диапозитивы знаменитых картин.

Но и отец и мать были совершенно уверены, что я никогда в жизни не видел волшебного фонаря.

— Покажите ему еще что-нибудь, — попросил отец.

— Тут все не так, — пожаловался я, разглядывая фотографию, которую протянул мне миссионер. — Только вон этот холм на месте и другие холмы. Вот тут должна бы проходить дорога. А там — сады и дома за высокими каменными изгородями. А с другой стороны должны быть расселины в скалах, где они хоронили своих покойников. Видите это место? Тут они кидали камнями в людей, пока не забивали их до смерти. Сам я этого не видел. Мне об этом только рассказывали.

— А что это за холм? — спросил миссионер, показывая на возвышенность в центре изображения, ради которой, видимо, и делался этот снимок. — Ты знаешь, как он называется?

Я покачал головой.

— Он никак не называется. Там убивали людей. Я сам видел много раз.

— То, что он говорит, теперь согласуется с мнением большинства авторитетов, — удовлетворенно заявил миссионер. — Этот холм — Голгофа, «Холм черепов», а может быть, ему дали такое название потому, что он напоминает по форме череп. Вот посмотрите, сходство действительно есть. Здесь распяли... — Он умолк и повернулся ко мне: — Кого они распяли тут, юный ученый? Скажи нам, что еще ты видишь?

Да, я видел — отец рассказывал, что глаза у меня так и лезли на лоб, — но я упрямо помотал головой и пробурчал:

— Я вам не скажу, потому что вы надо мной смеетесь. Я видел, как там убивали много людей. Их прибивали гвоздями долго-долго... Я видел, да только не скажу. Я никогда не вру. Вот спросите у моей мамы, вру ли я. Или у отца. Да он бы за вранье шкуру с меня спустил! Вот спросите его.

И больше миссионеру ничего не удалось от меня добиться, хотя он соблазнял меня фотографиями, от которых моя голова шла кругом: столько в ней теснилось картин-воспоминаний; слова сами рвались на язык, но я упрямо проглатывал их и молчал.

— Из него, надо полагать, выйдет хороший знаток Священного писания, — сказал миссионер моим родителям, когда я, пожелав им всем спокойной ночи, ушел спать. — А может быть, благодаря такому богатому

воображению он станет известным писателем.

Это доказывает, как ошибочны бывают пророчества. Вот сейчас я сижу в камере Коридора Убийц и пишу эти строки, ожидая своего конца, или, вернее, конца Даррела Стэндинга, ибо его скоро выведут отсюда и, затянув на его шее петлю, попробуют погрузить во мрак; и я улыбаюсь про себя. Я не стал ни знатоком Священного писания, ни модным романистом. Наоборот, перед тем, как меня на пять лет заживо похоронили в одиночке, я занимался тем, о чем миссионер даже не подумал: я был знатоком сельского хозяйства, профессором агрономии, специалистом по снижению непроизводительных затрат труда, экспертом интенсивного сельского хозяйства, ученым-исследователем, работавшим в лабораториях, где абсолютным законом являются точность и проверенные под микроскопом факты.

И вот я сижу жарким, летним днем здесь, в Коридоре Убийц, и перестаю писать свои воспоминания, чтобы послушать успокоительное жужжание мух в сонном воздухе и уловить обрывки тихого разговора, который ведут между собой Джозеф Джэксон — убийца-негр в камере справа, и Бамбеччо — убийца-итальянец в камере слева. От зарешеченной двери до зарешеченной двери, поперек моей зарешеченной двери, они обмениваются мнениями относительно обеззараживающих и целительных свойств табачной жвачки для рваных ран.

И, глядя на авторучку, зажатую в моей застывшей руке, я вспоминаю другие мои руки, которые в давно прошедшие времена сжимали кисточку, гусиное перо и стиль, и успеваю мысленно спросить себя, приходилось ли этому миссионеру, когда он был малышом, ловить чуть брезжущие отблески сияния и обретать на мгновение радость прежних дней скитаний среди звезд.

Но вернемся к дням, которые я проводил в одиночке, когда уже постиг код перестукивания, по все же находил часы, пока бодрствовало сознание, невыносимо долгими. С помощью самогипноза, к которому я прибегал не без успеха, я научился погружать свое сознание в сон и пробуждать, высвобождать подсознание. Но оказалось, что оно не знает и не признает никаких законов. Оно блуждало по кошмарам, где не было никакой связи между событиями, временем и личностью. Я гипнотизировал себя чрезвычайно простым способом. Усевшись по-турецки на свой тюфяк, я начинал напряженно вглядываться в обломок желтой соломинки, который прилепил к стене камеры вблизи от двери, где было светлее всего. Я смотрел на эту яркую точку, приблизив глаза почти вплотную к ней и заводя их кверху, чтобы напряжение было сильнее. Одновременно я

ослаблял свою волю и отдавался головокружению, которое неизменно меня охватывало. И когда я чувствовал, что вот-вот потеряю равновесие и опрокинусь назад, я закрывал глаза и в тупом оцепенении падал на тюфяк. А затем полчаса или десять минут, а то и целый час нелепо метался по складам памяти о моих вечных возвращениях на землю, но эпохи и страны сменялись слишком быстро. Пробуждаясь, я сознавал, что весь этот пестрый и нелепый калейдоскоп был связан воедино личностью Даррела Стэндинга. Но и только. Мне ни разу не удалось полностью прожить какое-то единое существование, не удалось уловить в своем сознании единую точку совпадения времени и пространства. Мои сны, если их можно назвать снами, были лишены системы и логики.

Вот один пример таких моих блужданий. За короткий промежуток пятнадцатиминутной власти подсознания я ползал и ревел в тине первобытного мира и сидел рядом с Хаасом в аэроплане, разрывая воздух двадцатого века. Очнувшись, я вспомнил, что я, Даррел Стэндинг, за год до моего заключения в Сен-Квентин действительно летал с Хаасом над Тихим океаном в СантаМонике. Очнувшись, я не мог вспомнить, когда я ползал и ревел в древней тине. Тем не менее я пришел к заключению, что каким-то образом я действительно вспомнил давнее-давнее прошлое и что оно было реальностью для какого-то предыдущего существования, когда я был еще не Даррелом Стэндингом, а другим человеком или животным — тем, что ползало и ревели. Просто одно событие было гораздо дальше от меня во времени. Но оба они действительно произошли, иначе как бы я мог о них помнить?

О, эта смена ярких образов и бурных жизней! На несколько минут высвободив свое подсознание, я успевал побывать в королевских дворцах, сидеть там выше соли и ниже соли, успевал стать шутом, дружинником, писцом и монахом; я успевал стать правителем, восседавшим во главе стола, — моя светская власть опиралась на мой меч, на толщину стен моего замка и на многочисленность моих дружинников, но и духовная власть принадлежала мне, потому что священники и жирные аббаты сидели ниже меня, тянули мое вино и угощались моим жарким.

Я носил железный ошейник раба под холодными небесами и любил принцесс царского дома в полную солнечных запахов тропическую ночь, когда черные невольники разгоняли духоту опахалами из павлиньих перьев, а вдалеке, за фонтанами и пальмами, раздавалось рыканье львов и вопли шакалов. Скорчившись в ледяной пустыне, я грел руки над костром из верблюжьего помета; я лежал ничком у высохшего колодца, в скудной тени спаленной солнцем полыни, и хриплым шепотом просил воды, а

вокруг меня на солончаках валялись кости людей и животных, которые когда-то тоже просили воды, а потом умерли.

Я был рулевым на корабле и наемным убийцей, ученым и отшельником, я низко склонялся над рукописными страницами огромных пропыленных фолиантов в тихом полумраке монастыря, воздвигнутого на высоком холме, а на склонах, под монастырскими стенами крестьяне все еще трудились в виноградниках и среди олив, хотя солнце уже зашло, и пастухи гнали с пастбищ блеющих коз и мычащих коров; да, и я вел вопящие толпы мятежников по мостовой древних, давно забытых городов, разбитой колесницами и лошадиными копытами; торжественно и мрачно я объявлял закон, указывая на серьезность преступления и приговаривал к смерти людей, которые, подобно Даррелу Стэндингу в Фолсеме, нарушили закон.

И с головокружительной высоты марсовой площадки, дрожащей над палубой корабля, я смотрел на пронизанные солнцем воды, где в бирюзовой глубине мерцали кораллы, и проводил корабль в спокойные, зеркальные лагуны, и якоря, гремя, падали близ осененных пальмами пляжей из кораллового песка; и я сражался в давно забытых битвах, когда резня не прекращалась даже с заходом солнца и продолжалась всю ночь под сверкающими звездами, а прохладный ветер с далеких снежных вершин был не в силах охладить пыл битвы; и я снова становился маленьким мальчиком Даррелом Стэндингом, который бродил босиком по напоенным росой весенним лугам миннесотской фермы, кормил покрасневшими от холода руками коров в стойлах, наполненных их клубящимся дыханием, и с боязливым ужасом слушал по воскресеньям проповеди о величии грозного Бога, о Новом Иерусалиме и об адских муках.

Вот какие обрывочные мимолетные видения посещали меня, когда в одиночной камере тюрьмы Сен-Квентин я терял сознание, пристально глядя на ярко блестящий обломок соломинки. Откуда приходили они ко мне? Я ведь не мог создать их из ничего в своей глухой темнице, как не мог создать из ничего тридцать пять фунтов динамита, которых с таким упорством добивались от меня капитан Джеми, начальник тюрьмы Азертон и тюремный совет.

Я, Даррел Стэндинг, родившийся и выросший на ферме в Миннесоте, в прошлом профессор агрономии, «неисправимый» арестант в тюрьме Сен-Квентин, а сейчас приговоренный к смерти человек в Фолсеме. И то, о чем я пишу, то, что я извлек из складов моего подсознания, не принадлежит Даррелу Стэндингу. Я, Даррел Стэндинг, родившийся в Миннесоте и

приговоренный к повешению в Калифорнии, никогда не любил царских дочерей в царских дворцах, никогда не дрался врукопашную на качающихся палубах, не тонул в винном погребе корабля, упившись ромом под пьяные крики и предсмертные песни моряков, когда судно билось и трещало на чернотубых рифах и вода журчала над головой, под ногами и повсюду вокруг.

Все это не имеет никакого отношения к жизни Даррела Стэндинга, и все же я, Даррел Стэндинг, нашел все это в тайниках моей памяти, гипнотизируя себя в одиночке Сен-Квентина. Все эти события так же не принадлежали Даррелу Стэндингу, как не принадлежало ему подсказанное фотографией слово «Самария», когда его детские губы произнесли это слово.

Нельзя создать что-нибудь из ничего. Как я не мог создать в одиночке тридцать пять фунтов динамита из ничего, так я не мог создать в одиночке из ничего эти видения времени и пространства, ведь они не имели отношения к жизни Даррела Стэндинга. Все это крылось в глубинах моего сознания, а я только-только начинал находить путь к ним.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В этом-то была вся беда: я знал, что в моем мозгу скрыта сокровищница воспоминаний о других жизнях, но мне удавалось только метаться по этим воспоминаниям, подобно сумасшедшему. У меня была сокровищница, но мне нечем было ее открыть.

Я вспомнил о болезни Стейтона Мозаса священника, в котором поочередно просыпались личности святого Ипполита, Плотина, Афинодора и друга Эразма Роттердамского по имени Гроцин. А потом, припомнив опыты полковника Дероша, о которых мне довелось прочесть в былые деятельные дни, я почувствовал полную уверенность, что Стейюн Мозес в прежние свои жизни действительно был теми людьми, чьи личности порой, казалось, просыпались в нем. Собственно говоря, они и он были одно. Все они были лишь звеньями вечной цепи возвращений.

Но особенно упорно я старался вспомнить опыты полковника Дероша. Выбирая легко поддающихся гипнозу субъектов, он, по его утверждению, возвращался во времени к их предкам. Он описал свои опыты с Жозефиной, восемнадцатилетней девушкой, жившей в Вуароне, в департаменте Изер. Загипнотизировав Жозефину, полковник Дерош отсылал ее назад, через годы ее отрочества, детства и младенчества, через безмолвный мрак материнской утробы, через безмолвие и мрак тех лет, когда она, Жозефина, еще не была рождена, к свету и жизни ее предыдущего существования, в образе угрюмого, ворчливого и больного старика, по имени Жан-Клод Бурдон, который служил в 7-м артиллерийском полку в Везансоне и умер в возрасте семидесяти лет, будучи последние годы прикован к постели. Полковник Дерош загипнотизировал затем тень Жан-Клода Бурдона и отослал его еще дальше, через младенчество, рождение и мрак небытия, пока он снова не увидел свет и жизнь в образе злобной старухи Филомены Катером, своей предшественницы.

Но, как я ни старался, кусочек соломы, поблескивавший в жалком луче света, просачивавшемся в одиночную камеру, ни разу не помог мне получить цельную картину предыдущего существования. В конце концов после многих неудач я решил, что, только пройдя через смерть, я смогу воскресить полное и ясное воспоминание о моих прежних личностях. Но жизнь была сильна во мне. Я, Даррел Стэндинг, не хотел умирать и не позволял начальнику тюрьмы Азертону и капитану Джеми убить меня.

Потребность жить всегда была во мне так велика, что, наверно, только благодаря ей я все еще здесь, ем и сплю, думаю и грежу, пишу этот рассказ о моих различных «я» и жду неизбежной петли, которая завершит один из эфемерных периодов длинной цепи моих существований.

И вот тогда я узнал смерть в жизни, тогда я научился ей.

Как вы прочтете в дальнейшем, обучил меня этому Эд Моррел.

А начало всему положили начальник тюрьмы Азертон и капитан Джеми. В один прекрасный день их вновь обуяла паника при мысли о спрятанном динамите, в существование которого они твердо верили. Они явились в мою камеру и прямо сказали мне, что замучают меня рубашкой до смерти, если я не признаюсь, где спрятан динамит. Они заверили меня, что все будет сделано по правилам и никак не повредит их служебному положению и репутации. В тюремном архиве будет записано, что я умер от болезни.

О милейшие, закутанные в ватку обыватели! Поверьте мне, и сейчас в тюрьмах убивают людей, как убивали их там всегда с того дня, когда была построена первая тюрьма. Я хорошо знал, какими муками, каким ужасом грозит мне смирительная рубашка. Я видел людей, чей дух был сломлен смирительной рубашкой, я видел людей, навеки искалеченных рубашкой, я видел, как люди — сильные люди, такие сильные, что их организм не поддавался тюремному туберкулезу, — после нескольких часов в рубашке теряли стойкость духа, сламывались и через полгода умирали от туберкулеза. Косоглазый Уилсон, у которого было слабое сердце, о чем никто не подозревал, умер в смирительной рубашке еще до истечения часа, а недоверчивый невежда тюремный доктор глядел на это и улыбался. Я видел, как люди после получаса рубашки признавались в том, что было, и в том, чего не было, лишаясь всех льгот, заработанных долгими годами безупречного поведения.

У меня есть и собственное воспоминание о ней. Мое тело покрыто тысячами шрамов, которые я унесу с собой на эшафот, и проживи я еще сто лет, и тогда эти шрамы сошли бы со мной в могилу. Может быть, милейший обыватель, ты, позволяя своим цепным псам шнуровать смирительную рубашку и оплачивая их труд, может быть, ты не знаешь, что это такое. Поэтому я расскажу о ней подробно, чтобы ты понял, каким образом я обретал смерть в жизни, становился на недолгий срок властелином времени и пространства и покидал тюремные стены, чтобы бродить среди звезд.

Тебе когда-нибудь приходилось видеть брезентовые накидки или резиновые одеяла с вделанными в них по краям медными колечками? Ну,

так представь себе кусок толстого брезента фута четыре с половиной в длину, с довольно большими колечками по обоим краям. Ширина этого куска всегда меньше обхвата человеческого тела, которое будет в него затянуто. Кроме того, кусок этот имеет неправильную форму: в плечах и бедрах он шире, а в талии заметно уже.

Рубашку расстилают на полу. Человеку, которого надо наказать или пытать, чтобы вырвать у него признание, велят лечь ничком на брезент. Если он отказывается, его избивают. После этого он ложится добровольно, то есть по воле цепных псов, то есть по твоей воле, милейший обыватель, кормящий ценных псов и награждающий за то, что они выполняют за тебя эту неприятную обязанность.

Человек лежит ничком. Края рубашки стягиваются как можно ближе вдоль его позвоночника. Затем через отверстия пропускается веревка, словно шнурок башмака, и брезент на человеке зашнуровывают, словно башмак. Только его затягивают так, как никому и в голову не придет затягивать башмак. На тюремном жаргоне это именуется «подтянуть подпругу». В тех случаях, когда шнуровка поручается жестоким и злопамятным надзирателям или когда так прикалывает начальство, надзиратель, чтобы затянуть рубашку потуже, упирается ногой в спину лежащего.

Вам, наверное, приходилось слишком туго затянуть шнурки своего башмака — помните, как через полчаса в подъеме начиналась невыносимая боль? И, наверное, вы не забыли, что через несколько минут такой боли вы спешили развязать шнурок, так как больше не могли сделать ни шагу? Прекрасно. Попробуйте же вообразить, что вот так же, только гораздо туже, затянуто все ваше тело, и что давление испытывает не только подъем одной ноги, но все туловище, и что ваше сердце, ваши легкие и все остальные жизненно важные органы сжаты до такой степени, когда скорая смерть кажется неминуемой.

Я хорошо помню, как впервые попробовал рубашки в карцере.

Это было в самом начале моей «неисправимости», вскоре после того, как я попал в тюрьму и ткал в джутовой мастерской сто ярдов мешковины в день — обычную мою норму, — заканчивая ее на два часа раньше срока. Да, я кончал раньше, а мешковина у меня получалась гораздо лучше, чем это требовалось по правилам.

Однако в первый раз меня зашнуровали в рубашку, если верить тюремным отчетам, за «узелки» и «неровности» в мешковине — другими словами, за то, что я ткал брак. На самом же деле меня зашнуровали в рубашку потому, что я, новый заключенный, знаток производительности

труда, эксперт по вопросу экономии движений, попробовал научить глупого начальника мастерской тому, о чем он не имел ни малейшего представления. Начальник мастерской в присутствии капитана Джеми подозвал меня к своему столу и, показав никуда не годную мешковину, совсем не похожую на ту, которую изготавливал я, потребовал, чтобы я работал лучше.

Я получил три таких предупреждения. Третье, по правилам ткацкой, означало наказание. И меня наказали — на двадцать четыре часа затянув в рубашку.

Меня отвели в карцер и приказали лечь ничком на брезент, расстеленный на полу. Я отказался. Один из тюремщиков, Моррисон, стал бить меня большими пальцами по горлу. Мобинс, тюремный староста, сам заключенный, накинулся на меня с кулаками. В конце концов я лег, как мне было приказано. А они, разозленные моим сопротивлением, затянули шнуровки особенно туго. И потом, словно бревно, перекатали меня с живота на спину.

Сперва это было не очень страшно. Когда дверь карцера захлопнулась, засовы с лязгом вошли в гнезда и я остался в полной темноте, было одиннадцать часов утра. Несколько минут я ощущал только неприятную скованность во всем теле и решил было, что она пройдет, как только я привыкну к своей позе. Тщетные надежды! Сердце мое начало бешено колотиться, а легкие, казалось, никак не могли вобрать достаточно воздуха. Это ощущение удушья было невыразимо ужасным, и каждый удар сердца грозил разорвать и без того готовые лопнуть легкие.

После бесконечно долгих часов этой муки, — теперь, основываясь на своем богатом опыте, я полагаю, что на самом деле прошло не более тридцати минут, — я начал кричать, вопить, визжать и выть в предсмертной тоске. Страшнее всего оказалась боль в сердце. Эта была резкая, сосредоточенная в одном месте боль, вроде той, какая бывает при плеврите, но только она разрывала самое сердце.

Умереть — это нетрудно, но умирать так медленно, таким ужасным способом было невыносимо. Я сходил с ума от страха, как попавший в ловушку дикий зверь, кричал и выл, пока вдруг не понял, что от таких вокальных упражнений боль в сердце только увеличивается, а в легких становится все меньше воздуха.

Я умолк и долгое время лежал совсем спокойно — целую вечность, как показалось мне тогда, хотя сейчас я знаю, что прошло всего четверть часа. От удушья голова моя кружилась, а сердце колотилось так бешено, словно готово было вот-вот разорвать стягивающий меня брезент. Потом я

снова потерял власть над собой и испустил безумный вопль, моля о пощаде.

И вдруг в соседнем карцере раздался голос.

— Заткнись, — кричал кто-то, хотя до меня долетал только слабый шепот, — заткнись, ты мне надоел!

— Плюнь и забудь об этом! — донесся ответ.

— Но я же и правда умираю! — настаивал я.

— А тогда зачем поднимать шум? — спросил мой невидимый собеседник. — Вот скоренько помрешь, и все кончится. Давай, давайдохни, только потише. Мне так сладко спалось, а ты тут поднял визг.

Это бессердечие настолько меня возмутило, что ко мне вернулось самообладание, я перестал кричать, и из моей груди вырывались лишь приглушенные стоны. Снова прошла вечность — минут десять. А потом я почувствовал покалывание во всем теле, и оно начало неметь — такое ощущение бывает, когда отсидишь ногу. Сначала я терпел, но когда покалывание прекратилось, а онемение продолжало усиливаться, снова перепугался.

— Дашь ты мне спать или нет? — раздался раздраженный голос моего соседа. — Мне не легче, чем тебе. Мою рубашку затянули так же туго, как твою, и я хочу поскорее заснуть и забыть обо всем.

— А давно тебя затянули? — спросил я, не сомневаясь, что ему еще только предстоят столетия мук, которые я уже претерпел.

— Позавчера, — ответил он.

— Да нет, затянули в рубашку, — пояснил я.

— Позавчера, приятель.

— О Господи! — взвизгнул я.

— Да, приятель, я пролежал в ней уже пятьдесят часов и, как видишь, не хнычу, хоть они затянули мою подпругу, упершись ногой мне в спину. Можешь не сомневаться, я крепко спеленут. Видишь, не ты один такой несчастный. А ведь ты лежишь тут меньше часа.

— Нет, я лежу тут много часов, — возразил я.

— Если хочешь, думай так, приятель, но от этого ничего не изменится. Говорю тебе, ты и часа здесь не лежишь, я ведь слышал, как тебя шнуровали.

Это показалось мне невероятным. Не прошло еще и часа, а я уже умирал тысячу раз. А мой сосед, такой невозмутимый, спокойный, почти благодушный, несмотря на грубость первых его окриков, пролежал в рубашке целых пятьдесят часов!

— И долго еще они собираются держать тебя тут? — спросил я.

— А черт их знает! Капитан Джеми на меня зол и не выпустит, пока я не начну дышать. А теперь, приятель, послушайся моего совета. Закрой глаза и забудь обо всем. Нытьем делу не поможешь. А чтобы забыть, надо забыть. Вот попробуй вспомнить по очереди всех знакомых девочек, глядишь, и скоротаешь часок-другой. Может, у тебя в голове помутится. И пусть. Тут уж время идет совсем незаметно. А когда девочки кончатся, думай о парнях, на которых у тебя зуб, и как бы ты посчитался с ними, попадись они тебе, и как ты с ними посчитаешься, когда они тебе попадутся.

Этого человека звали Рыжий из Филадельфии. Он был рецидивистом и за грабеж на улицах Аламеда получил пятьдесят лет.

Когда он разговаривал со мной в карцере, он уже отсидел двенадцать — а это было семь лет назад. Он был одним из тех сорока, кого оговорил Сесил Уинвуд. После этой истории Рыжий из Филадельфии лишился права на льготы. Теперь он пожилой человек и по-прежнему находится в Сен-Квентине. И если доживет до дня своего освобождения, то будет уже дряхлым стариком.

Я вытерпел свои сутки, но с тех пор никогда уже не мог стать прежним человеком. О, я имею в виду не мое физическое состояние, хотя на следующее утро, когда меня расшнуровали, я был полупарализован и почти без сознания, так что тюремщикам пришлось несколько раз пнуть меня в ребра, чтобы я наконец поднялся на ноги. Но я стал другим человеком духовно и нравственно. Зверская физическая пытка унизила меня, оскорбила мое понятие о справедливости. Такие наказания не смягчают человека. Первое знакомство со смиренной рубашкой наполнило мое сердце горечью и жгучей ненавистью, которые с годами все росли. О Господи!.. Стоит мне подумать, что со мной делали...

Двадцать четыре часа в рубашке! Когда в то утро они пинками заставили меня встать, я и не подозревал, что придет время, когда двадцать четыре часа в рубашке станут для меня пустяком; когда после ста часов в рубашке я улыбнусь тем, кто будет меня развязывать; когда после двухсот сорока часов в рубашке на моих губах будет играть все та же улыбка.

Да, двести сорок часов. Милейший, закутанный в ватку обыватель, знаешь ли ты, что это значит? Это значит десять дней и десять ночей в рубашке. О, конечно, в христианских странах через девятнадцать веков после рождения Христа такие вещи не делаются. Я не прошу, чтобы ты мне поверил. Я и сам в это не верю.

Я знаю только, что со мной в Сен-Квентине это проделали и что я выжил и смеялся над ними и оставил им только одну возможность

избавиться от меня — приговорить меня к повешению за то, что я расквасил нос тюремщику.

Я пишу эти строки в году тысяча девятьсот тринадцатом от рождества Христова, и в году тысяча девятьсот тринадцатом от рождества Христова, в эту самую минуту, в карцерах Сен-Квентина лежат люди, затянутые в смиренительную рубашку.

Пока будет продолжаться цепь моих жизней, я никогда не забуду о том, как я расстался в то утро с Рыжим из Филадельфии. К тому времени он провел в рубашке семьдесят четыре часа.

— Видишь, приятель, ты жив и здоров! — крикнул он мне, когда я, пошатываясь, вышел из карцера и побрел по коридору.

— Заткнись, Рыжий! — рявкнул на него надзиратель.

— Еще чего! — послышалось в ответ.

— Я до тебя доберусь, Рыжий! — пригрозил надзиратель.

— Ты так думаешь? — ласково спросил Рыжий из Филадельфии, а потом злобно процедил сквозь зубы: — Где тебе до меня добраться, старая кочерыжка! Ты бы и до своей работенки не добрался, если бы не связи твоего братца. А мы все знаем, в какое вонючее местечко ведут связи твоего братца.

Это было восхитительно — мужество человека, сумевшего подавить в себе страх перед самой зверской системой.

— До свидания, приятель! — крикнул мне вслед Рыжий из Филадельфии. — Всего хорошего! Будь умницей и люби начальника тюрьмы. А если увидишь его, скажи, что ты меня видел, да не видел, чтоб я кого обидел.

Надзиратель побагровел от ярости, и за шутку Рыжего мне пришлось получить немало пинков и ударов.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В одиночной камере номер один начальник тюрьмы Азертон и капитан Джеми начали допрашивать меня с пристрастием.

Начальник тюрьмы заявил мне:

— Стэндинг, ты образумишься и скажешь, где этот динамит, или умрешь в рубашке. Люди и покрепче тебя образумливались, когда я говорил с ними по-свойски. Выбирай — динамит или гроб.

— Значит, гроб, — ответил я, — потому что о динамите мне ничего не известно.

Это вывело начальника тюрьмы из себя, и он не стал затягивать дела.

— Ложись! — скомандовал он.

Я подчинился, так как уже по опыту знал, каково драться с тремя-четырьмя сильными людьми. Они зашнуровали меня как могли туго и дали мне сто часов. Каждые двадцать четыре часа меня поили водой. Есть я не хотел, да меня и не кормили.

К концу этой сотни часов Джексон, тюремный врач, несколько раз приходил проверить, в каком я состоянии.

Но за время моей «неисправимости» я настолько привык к рубашке, что одна ее порция не могла произвести на меня большого впечатления. Конечно, рубашка ослабляла меня, выжимала из меня жизнь, но я научился так напрягать мускулы, что, когда меня шнуровали, выгадывал немного пространства. К концу первых ста часов я был измучен, но и только. Мне дали сутки отдохнуть и опять затянули в рубаху — уже на сто пятьдесят часов. Почти все это время я не чувствовал своего тела и бредил.

А иногда, напрягая всю силу воли, надолго засыпал.

Затем начальник тюрьмы решил попробовать другой прием.

Теперь мне никогда не было известно заранее, сколько часов я буду отдыхать, а сколько проведу в рубашке. Я даже не знал, когда именно меня зашнуруют. Так, например, если один раз я отдыхал десять часов, а в рубашке проводил двадцать, то в другой раз получал только четыре часа отдыха. В глухую ночь гремели засовы моей камеры и дежурные надзиратели принимались меня шнуровать. Иногда устанавливался какой-то ритм. Скажем, в течение трех суток мне давалось попеременно восемь часов рубашки и восемь часов отдыха. А потом, когда я уже привыкал к этому, все неожиданно изменялось, и я получал двое суток рубашки.

И все время мне задавали все тот же вопрос: где динамит?

Иногда начальник тюрьмы впадал в ярость. Порой же, после того, как я выдерживал особенно жестокую шнуровку, он принимался уговаривать меня по-хорошему. Один раз он даже пообещал мне три месяца полного отдыха в тюремной больнице, хорошую еду, а по выздоровлении — легкую работу в тюремной библиотеке.

Доктор Джексон, тщедушный человечиска с поверхностными медицинскими познаниями, вдруг уверовал в мою выносливость.

Сколько бы меня ни держали в рубашке, заявил он, я все равно выживу. После этого Азертон почувствовал, что ему совершенно необходимо доказать обратное.

— Эти тощие интеллигенты проведут хоть самого дьявола, — ворчал он. — Они крепче сыромятных ремней. Но все равно мы его пересилим. Слышишь, Стэндинг? Это все цветочки, а ягодки будут впереди. Не тяни, признайся сейчас — и тебе спокойнее будет и нам. Я от своего слова не отступлю. Я сказал тебе: динамит или гроб. Так оно и будет. Выбирай!

— Неужели вы думаете, что я молчу ради удовольствия? — прошептал я, еле переводя дыхание, так как в эту минуту Конопатый Джонс уперся ногой мне в спину, чтобы потуже затянуть шнуровку, а я напрягал последние силы, стараясь отвоевать себе лишнее пространство. — Мне не в чем признаваться. Да я с радостью отдал бы правую руку, только бы отвести вас хоть к какому-нибудь динамиту.

— Я таких образованных видел немало, — презрительно фыркнул он. — У некоторых из вашей братии бывают в башке такие колесики, которые заставляют вас твердить одно и то же. Вот вы и артачитесь, словно норовистые лошади. Туже, туже, Джонс, разве так шнуруют! Стэндинг, если ты не признаешься, ляжешь в гроб. Мое слово твердо.

Но нет худа без добра. Когда человек слабеет, он испытывает меньше страданий. Воли меньше, потому что нечему болеть. А человек, уже значительно ослабевший, потом слабеет все медленнее. Широко известно, что силачи переносят самые обычные болезни гораздо тяжелее, чем женщины и калеки. Лишняя плоть исчезает, а то, что остается, сопротивляется, как сжатая до предела пружина. Собственно говоря, и я превратился в своеобразный организм-пружину, который не хотел умирать.

Моррел и Оппенхеймер жалели меня и выстукивали мне выражения сочувствия и всяческие советы. Оппенхеймер сообщил, например, что он прошел через это, вытерпел вещи и похуже, но все-таки остался в живых.

— Не поддавайся им, — выбивал он костяшками пальцев по стене. — Не позволяй им убить себя, потому что они только того и хотят. И не выдавай тайника.

— Да ведь никакого тайника нет, — выстукивал я в ответ носком башмака по двери (я был затянут в рубашку и мог разговаривать только ногами). — Я ничего не знаю об этом треклятом динамите.

— Правильно, — похвалил меня Оппенхеймер. — Он парень что надо, правда, Эд?

Как же я мог убедить Азертона в том, что ничего не знаю о динамите, если даже мои товарищи мне не верили? Сама настойчивость начальника тюрьмы была доказательством противного для человека вроде Джека Оппенхеймера, который только восхищался упорством, с каким я все отрицал.

Первое время этой пытки я умудрялся довольно много спать, и мне снились замечательные сны. Дело было не в том, что они были яркими и правдоподобными, — это свойство большинства снов. Замечательными они были благодаря своей логичности и завершенности. Часто я выступал на ученых собраниях с докладами по очень сложным вопросам и читал вслух тщательно подготовленные описания моих собственных опытов или выводов, к которым я пришел, ознакомившись с чужими экспериментами.

Когда я просыпался, у меня в ушах еще звучал мой голос, а перед глазами еще стояли целые предложения и абзацы, напечатанные на белой бумаге, и я, дивясь, успевал прочитывать их, прежде чем видение рассеивалось. Кстати, упомяну о том, как я со временем заметил, что рассуждения во сне я неизменно строил на методе дедукции.

Иногда мне снилась огромная форма, протянувшаяся на сотни миль с севера на юг в какой-то области с умеренным климатом, с флорой и фауной, сильно напоминающими калифорнийские.

Не раз и не два, а тысячи раз я разъезжал по этой ферме-сновидению. Я хочу особенно подчеркнуть тот факт, что это всегда была одна и та же ферма. В самых различных снах наиболее характерные ее черты оставались неизменными. Так, например, всегда требовалось восемь часов, чтобы в коляске, запряженной горными лошадками, добраться от поросших люцерной лугов (где у меня паслись стада джерсейских коров) до поселка у большого сухого оврага, где была станция одноколейки. И все приметные места на протяжении этого восьмичасового пути — каждое дерево, каждая гора, каждая речка и мост через нее, каждый кряж с выветрившимися склонами — во всех снах оставались одними и теми же.

Эта вполне реальная ферма, сшившаяся мне, когда я засыпал в смиренной рубашке, менялась только в частности, и перемены эти происходили в зависимости от времени года или от человеческого труда. Так, например, на горных пастбищах, расположенных над лугами и

люцерной, я стал разводить ангорских коз.

И каждый раз, когда я в грезах приезжал туда, я замечал изменения, вполне соответствовавшие промежутку между моими посещениями.

О, эти заросшие кустами склоны! И сейчас они стоят перед моими глазами, словно в те дни, когда там впервые появились козы. Я так отчетливо помню все последующие изменения: постепенно удлиняющиеся тропы — их козы в буквальном смысле слова проедали в густом кустарнике; исчезновение невысоких молодых кустиков, которые съедались целиком; аллеи, расходившиеся во всех направлениях по более старому, высокому кустарнику, который козы ощипывали, становясь на задние ноги; наступление луговых трав по тропам, проложенным козами. Да, главная прелесть этих снов была в их связности и последовательности. Настал день, когда лесорубы срубили высокую поросль, чтобы козы могли кормиться листьями, почками и корой. Настал зимний день, когда сухие, обнаженные скелеты этой поросли были собраны в кучу и сожжены. Настал день, когда я перегнал моих коз на другие заросшие кустарником склоны, а мои коровы уже паслись по колено в сочной, густой траве, которая выросла там, где прежде не было ничего, кроме кустов. И настал день, когда я перегнал дальше моих коров, и мои работники прошлись плугами по этим склонам, переворачивали дерн, чтобы из него образовался жирный перегной для семян моего будущего урожая.

Да, и в моих снах я часто сходил с поезда на станции однокорейки в поселке, расположенном у большого сухого оврага, садился в коляску, запряженную моими горными лошадами, и несколько часов ехал по знакомой дороге, по лугам, заросшим люцерной, и дальше — к моим горным пастбищам, где уже созревали рожь, ячмень и клевер, сменявшие друг друга каждые три года, и где я смотрел, как мои работники собирают урожай, а выше, на склонах, мои козы объедали кусты, чтобы потом там появились такие же обработанные поля.

Это были сны, связные сны, фантазии моего дедуктивного подсознания, но, как вы убедитесь, они были совсем не похожи на то, что мне пришлось испытать, когда я прошел врата малой смерти и заново пережил те жизни, которые выпали на мою долю в давно прошедшие времена.

В те долгие часы, когда я бодрствовал в смиренной рубашке, я все чаще начинал вспоминать Сесилия Уинвуда, поэта-фальшивомонетчика, который с легким сердцем навлек на меня все эти мучения и теперь, получив свободу, вернулся в широкий мир за тюремными стенами. О нет, я не питал к нему ненависти, — это слишком слабое слово. В человеческом

языке нет слов, которые могли бы выразить мои чувства. Скажу только, что меня грызла такая жажда мести, которая не поддается никакому описанию и сама — невыразимое страдание. Я не стану рассказывать вам ни о часах, посвященных выдумыванию всяких пыток для него, ни об изощренных дьявольских муках, изобретенных мной. Довольно будет одного примера. Сначала меня обворожил старинный способ казни, когда к животу человека привязывали железный котелок с живой крысой. Выйти на волю крыса могла только через тело человека. Как я уже сказал, эта пытка меня обворожила, Но потом я понял, что смерть при ней наступает слишком быстро, и принялся смаковать мавританское приспособление для... но нет, я ведь обещал, что не буду описывать этого. Достаточно сказать, что в часы бодрствования, сходя с ума от боли, я думал о том, как отомстил бы Сесилу Уинвуду.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Однако в долгие мучительные часы бодрствования я, пролитого, научился чрезвычайно важной вещи: я научился подчинять тело духу. Я научился страдать пассивно, как этому, вероятно, выучиваются все, кто прошел высший курс смирительной рубашки.

Это вовсе не просто — погружать мозг в такую сладостную нирвану, что он уже не воспринимает лихорадочных, томительных жалоб измученных нервов.

Именно потому, что я научился подчинять плоть духу, мне удалось так легко воспользоваться секретом, который открыл мне Эд Моррел.

— Ты думаешь, тебе крышка? — простучал мне как-то ночью Эд.

Перед этим я пролежал сто часов в рубашке и необычайно ослаб. Так ослаб, что не чувствовал своего тела, хотя все оно было сплошной массой синяков и страдания.

— Похоже, что крышка, — простучал я в ответ. — Если они еще немного постараются, мне конец.

— А ты им не поддавайся, — посоветовал он. — Есть один способ. Я сам научился ему в карцере, когда нам с Масси дали хорошую порцию рубашки. Я выдержал, а Масси протянул ноги. Я выдержал только потому, что нашел способ. Но пробовать его надо тогда, когда совсем ослабеешь. Если у тебя еще есть силы, то можно все испортить, и потом уж ничего не получится. Я вот рассказал об этом Джеку, когда он был еще силен, а теперь вижу, что зря. Тогда у него, конечно, ничего не вышло, а потом, когда это было бы для него в самый раз, оказалось уже поздно, потому что первая неудача все ему испортила. Он теперь даже не верит в это. Думает, что я его разыгрываю. Правда, Джек?

Из камеры номер тринадцать Джек простучал в ответ:

— Не попадайся на эту удочку, Даррел. Просто сказки, и больше ничего.

— Ну, ты мне все-таки Расскажи, — простучал я Моррелу.

— Потому-го я и ждал, чтобы ты как следует ослаб. Теперь тебе без этого не обойтись, и я расскажу. Все зависит только от тебя самого. Если захочешь по-настоящему, то получится. Я это делал три раза, я знаю.

— Ну, так что же это за способ? — нетерпеливо простучал я.

— Вся штука в том, чтобы умереть в рубашке, заставить себя умереть. Сейчас ты меня, конечно, не понимаешь, но погоди. Ну, ты знаешь, как тело

в рубашке немеет — то рука, то нога. С этим ничего поделаться нельзя, но зато этим можно воспользоваться. Не жди, чтобы у тебя онемели ноги или тело. Расположись как можно удобнее и пусти в ход свою волю. И все это время ты должен думать только об одном и верить в то, о чем думаешь. Если не будешь верить, ничего не получится. А думать ты должен вот что: твоё тело — это одно, а твой дух — совсем другое. Ты — это ты, а твоё тело — чепуха и ни за чем тебе не нужно. Твоё тело не в счёт. Ты сам себе хозяин. Никакого тела тебе не нужно. И когда ты подумаешь об этом и согласишься в это, то надо будет это доказать, пустив в ход свою волю. Ты заставишь своё тело умереть. Начать надо с пальцев на ноге, и не сразу, а по очереди. Ты заставляешь свои пальцы умереть. Ты хочешь, чтобы они умерли. Если у тебя хватит веры и воли, пальцы на твоих ногах умрут. Это самое трудное — начать умирать. Но стоит только умереть первому пальцу на ноге, как дальше все пойдет легко, потому что тебе незачем будет больше верить. Ты будешь знать. А тогда тыпустишь в ход всю свою волю, чтобы и остальное тело умерло. Я знаю, о чем говорю. Даррел. Я проделал это три раза. Как только начнешь умирать, дальше все пойдет гладко. А самое странное, что ты все время присутствуешь при этом целый и невредимый. Вот пальцы на твоих ногах умрут, а ты сам ни чуточки не мертв. Потом ноги умрут по колено, потом по бедро, а ты все такой же, каким был раньше. Твоё тело по кусочкам выходит из игры, а ты остаешься самим собой, точно таким же, каким был перед тем, как взялся за это дело.

— А что потом? — спросил я.

— Ну, когда твоё тело целиком умрет, а ты останешься, каким был, ты просто вылезешь наружу и бросишь своё тело. А если ты выберешься из своего тела, то и выберешься из камеры. Каленные стены и железные двери не выпускают тела на волю. А дух они удержать не могут. И ты это докажешь. Ты же будешь духом снаружи своего тела. И сможешь посмотреть на своё тело со стороны. Я знаю, что говорю, я сам это проделал три раза — три раза смотрел со стороны на своё тело.

— Ха! Ха! Ха! — Джек Опиенхеймер простучал свой хохот через тринадцать камер.

— Понимаешь, в этом-то и беда Джека, — продолжал Моррел. — Он не может поверить. Когда он попробовал, то был еще слишком силен, и у него ничего не вышло. А теперь он думает, что я его разыгрываю.

— Когда ты помрешь, то станешь покойничком. А покойнички не воскресают, — возразил Оппенхеймер.

— Да говорю тебе, что я умирал три раза, — настаивал Моррел.

— И дожил до того, чтобы рассказать нам об этом, — съязвил

Оппенхеймер.

— Но помни одно, Даррел, — простучал мне Моррел, — это дело рискованное. Все время такое чувство, будто ты слишком своевольничаешь. Я не могу этого объяснить, но мне всегда кажется, что если я буду далеко, когда они вытащат мое тело из рубашки, то уж я не смогу в него вернуться. То есть мое тело по-настоящему помрет. А я не хочу, чтобы оно помиралось. Я не хочу доставить такое удовольствие капитану Джеми и всей остальной сволочи. Но зато, Даррел, если ты сумеешь сделать это, то оставишь Азергина в дураках. Если тебе удастся убить вот так, на время, свое тело, пусть они держат тебя в рубашке хоть целый месяц, это уж никакого значения не имеет. Ты не чувствуешь боли, твое тело вообще ничего не чувствует. Ты ведь слышал, что некоторые люди спали по целому году, а то и больше. Вот так же будет и с твоим телом. Оно будет спокойненько лежать себе в рубашке, ожидая, чтобы ты вернулся. Попробуй, я тебе дело говорю.

— А если он не вернется? — спросил Оппенхеймер.

— Тогда, Джек, значит, в дураках останется он, — ответил Моррел. — А может, и мы, потому что торчим в этой дыре, раз отсюда так просто выбраться.

На этом наш разговор оборвался, потому что Конопатый Джонс, очнувшись от своего противозаконного сна, злобно пригрозил подать рапорт на Моррела и Оппенхеймера, а это означало бы для них смирительную рубашку на следующий день. Мне он грозить не стал, так как знал, что я получу рубашку и без этого.

В наступившей тишине я, забывая о ноющей боли во всем теле, начал размышлять о том, что сообщил мне Моррел. Как я говорил выше, я уже пробовал с помощью самогипноза вернуться к моим предыдущим бытиям. Я знал также, что мне это отчасти удалось, хотя видения мои прихотливо переплетались без всякой логики и связи.

Но способ Моррела настолько очевидно был противоположен моим попыткам загипнотизировать себя, что я заинтересовался.

При моем способе в первую очередь гасло сознание, при его способе сознание сохранялось до конца, и когда тело умирало, сознание переходило на такую высокую ступень, что покидало тело, покидало стены Сен-Квентина и отправлялось в дальние странствования, по-прежнему оставаясь сознанием.

«Во всяком случае, стоит попытаться», — решил я. Вопреки моему скептицизму ученого, я не сомневался в возможности проделать то, что, по словам Моррела, ему удавалось уже трижды.

Возможно, легкость, с которой я ему поверил, объяснялась моей огромной слабостью. Возможно, у меня не хватало сил быть скептиком. Это предположение уже высказал Моррел. Выводы его были чисто эмпирическими, и я тоже, как вы увидите, подтвердил их чисто эмпирически.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

А важнее всего было то, что на следующее утро начальник тюрьмы вошел в мою камеру с твердым намерением убить меня. Вместе с ним явились капитан Джеми, доктор Джексон, Конопатый Джонс и Эл Хэтчинс. Эл Хэтчинс должен был отбыть сорок лет, но надеялся на помилование. Уже четыре года он состоял главным старостой Сен-Квентина. Вы поймете, какую власть давало ему это положение, если я скажу, что только одними взятками главный староста набирал до трех тысяч долларов в год. Поэтому Эл Хэтчинс, накопивший двенадцать тысяч долларов и ожидавший помилования, готов был слепо выполнить любое приказание начальника тюрьмы.

Я сказал вам, что начальник тюрьмы вошел в мою камеру, твердо решив избавиться от меня. Это было видно по его лицу. И это доказали его распоряжения.

— Осмотрите его, — приказал он доктору Джексону.

Эта жалкая пародия на человека, этот «доктор» сорвал с меня заскорузлую от грязи рубашку, которая была на мне с тех пор, как я попал в одиночку, и обнажил мое жалкое, истощенное тело; моя кожа, обтягивавшая ребра, словно коричневый пергамент, от частого знакомства со смиренной рубашкой покрылась воспаленными язвами. Осматривал он меня с бесстыдной небрежностью.

— Ну что, выдержит он? — спросил начальник тюрьмы.

— Да, — ответил доктор Джексон.

— Как работает сердце?

— Великолепно.

— По-вашему, он выдержит десять дней?

— Конечно.

— Я в это не верю, — сердито сказал Лзертон, — но мы все-таки попробуем... Ложись, Стэндинг.

Я подчинился и лег ничком на расстеленную рубашку.

Начальник тюрьмы, казалось, вдруг заколебался.

— Перевернись, приказал он.

Я попробовал перевернуться, но слабость моя была слишком велика, и я только беспомощно дергался и изгибался.

— Притворяемся, — заметил Джексон.

— Ну, ему незачем будет притвориться, когда я с ним разделаюсь, —

ответил начальник тюрьмы. — Помогите-ка ему. Мне некогда с ним возиться.

Меня перевернули на спину, и я устремил взгляд на Азертона.

— Стэндинг, — произнес он медленно. — Я больше не намерен с тобой нянчиться. Я по горло сыт твоим упрямством. Мое терпение кончилось. Доктор Джексон говорит, что ты вполне можешь выдержать десять дней и рубашке. Ну, ты сам понимаешь, много ли у тебя шансов. Но я собираюсь дать тебе еще один шанс. Расскажи, где динамит. Как только он будет в моих руках, я заберу тебя отсюда. Ты сможешь вымыться, побриться и получить чистое белье. Я позволю тебе шесть месяцев отъедаться на больничном пайке, ничего не делая, а потом назначу тебя старостой библиотеки. Ты сам понимаешь, что лучше этого я тебе ничего предложить не могу. Ведь я не прошу тебя стать легавым. Ты же единственный человек в Сен-Квентине, который знает, где этот динамит. Ты никому не повредишь, если согласишься, а тебе самому это пойдет только на пользу. Ну, а если ты не согласишься... — Он помолчал и многозначительно пожал плечами. — Ну, а если ты не согласишься, то сейчас тебя затянут в рубашку на десять суток.

При этих словах меня охватил ужас. Я был так слаб, что десятидневное пребывание в рубашке означало для меня смерть, это я знал не хуже начальника тюрьмы. И тут я вспомнил о способе Моррела. Теперь или никогда. Настал час, когда он был мне нужен, настал час, когда надо было на деле доказать свою веру в него. Я улыбнулся прямо в лицо начальнику тюрьмы Азертону, и в эту улыбку я вложил всю мою уверенность — так же как в предложение, с которым я к нему обратился.

— Начальник, — сказал я, — видите, как я улыбнулся? Ну а если через десять дней, когда вы меня расшнуруете, я опять вот так же улыбнусь вам, вы дадите по пачке табаку и курительной бумаги Моррелу и Оппенхеймеру?

— Эти интеллигенты все полоумные, — фыркнул капитан Джеми.

Начальник тюрьмы был вспыльчивым человеком и счел мою просьбу наглým издевательством.

— За это тебя зашнуруют покрепче, — пообещал он мне.

— Я предлагаю вам пари, начальник, — ответил я невозмутимо. — Затяните меня так туго, как только возможно, но если я улыбнусь вам через десять дней, дадите вы табаку Моррелу и Оппенхеймеру?

— Ты что-то очень в себе уверен, — заметил он.

— Вот почему я и предлагаю вам пари, — ответил я.

— В Бога уверовал? — насмешливо протянул он.

— Нет, — ответил я, — просто во мне столько жизни, что вам никогда не исчерпать ее до конца. Спеленайте меня хоть на сто дней, и я все-таки улыбнусь вам.

— Ты сдохнешь, Стэндинг, еще прежде, чем пройдут десять дней.

— Вы так думаете? — сказал я. — А сами-то вы в это верите? Если бы верили, то не боялись бы потерять десять центов на двух пачках табаку. Что вас, собственно, пугает?

— За два цента я разбил бы сейчас твою рожу! — рявкнул он.

— Не буду вам мешать, — сказал я с изысканной вежливостью. — Бейте сильнее! Но у меня все таки останутся зубы, чтобы улыбнуться. А пока вы еще не решили, стоит ли разбивать мне лицо, может быть вы все же примете мое пари?

Чтобы так дразнить начальника тюрьмы в одиночной камере, нужно страшно ослабеть и совсем отчаяться... или нужно твердо верить. Теперь я знаю, что я верил и поступал согласно этой вере. Я верил в то, о чем рассказал мне Моррел, я верил во власть духа над телом, я верил, что даже сто дней в рубашке не убьют меня. Капитан Джеми, вероятно, почувствовал эту веру, которая поддерживала меня, так как он сказал:

— Помнится, лет двадцать назад тут сошел с ума один швед. Это было еще до вас, мистер Азертон. Он убил человека поссорился с ним из-за двадцати пяти центов — и получил на всю катушку. Он был поваром. И вдруг уверовал. Сказал, что за ним спустится золотая колесница и вознесет его на небеса. А потом сел на раскаленную плиту и стал распевать псалмы и вопить «Аллилуйя!», пока жарился. Тогда его стащили, но через два дня он протянул ноги в больнице. Прожарился до самых костей. И даже перед смертью клялся, что не чувствовал ожога. И ни разу не пикнул от боли.

— Ну, Стэнлинг у нас запищит, — сказал начальник тюрьмы.

— Раз уж вы так уверены, почему же вы не принимаете мое пари? — подзадорил я его.

Азертон пришел в такое бешенство, что, несмотря на мое отчаянное положение, я чуть не расхохотался. Лицо его перекосилось, он сжал кулаки, и казалось, вот-вот накинется на меня и избьет до полусмерти. Однако, сделав над собой усилие, он взял себя в руки.

— Ну, ладно, Стэндинг, — прорычал он, — идет. Но запомни мои слова: тебе придется попыхтеть, чтобы улыбнуться через десять дней. Переверните его на живот, ребята, и затяните так, чтобы ребра затрещали. Ну-ка, Хэтчинс, докажи ему, что ты в этом деле мастер.

И они перевернули меня на живот и затянули так, как меня еще никогда не затягивали. Главный староста показал все свое умение. Я

попытался отвоевать хоть чуточку пространства. На многое рассчитывать было нельзя, потому что я давно уже стал худ как щепка, а мышцы мои превратились в веревочки. У меня не оставалось ни сил, ни тела, ни мускулов, чтобы их напрячь, и той малости, которую мне удавалось урвать, я добивался, выпячивая свои суставы. Я готов в этом поклясться. Но и этой малости Хэтчинс лишил меня — до того, как попасть в старосты, он изучил все уловки с рубашкой внутри этой рубашки.

Дело в том, что Хэтчинс был подлецом. Может быть, прежде он и был человеком, но его изломали на колесе. В его распоряжении было около двенадцати тысяч долларов, и, рабски исполняя приказы, он мог выклянчить себе свободу. Потом я узнал, что у него была девушка, которая осталась ему верна и ждала его освобождения. Женщина многое объясняет в поведении мужчины.

И вот этим утром в одиночке по приказу начальника тюрьмы Эл Хэтчинс изо всех сил старался совершить убийство. Он отнял у меня даже то крохотное пространство, которое я сперва было украл. А когда я его лишился, тело мое осталось без защиты, и он, упираясь ногой в мою спину, стянул шнуровку так, как ее еще никто не стягивал. Мои лишённые мускулов кости сдавили сердце и легкие, и смерть, казалось, могла наступить в любую минуту.

И все же моя вера поддержала меня. Я был убежден, что не умру.

Я знал, повторяю, я знал, что не умру. Голова у меня отчаянно кружилась, а бешеные удары сердца прокатывались по всему телу, от пальцев ног до корней волос на затылке.

— Пожалуй, туговато будет, — растерянно заметил капитан Джеми.

— Ничего подобного, — отозвался доктор Джексон, — ни черта с ним не случится, вот увидите. Он ненормальный, другой на его месте давно бы уже умер.

Начальник тюрьмы с большим трудом умудрился просунуть указательный палец между шнуровкой и моей спиной. Наступив на меня, прижав меня к полу всей тяжестью своего тела, он потянул за веревку, но ему не удалось вытянуть ее и на десятую долю дюйма.

— Должен признать, Хэтчинс, — сказал он, — ты свое дело знаешь. А теперь переверните-ка его на спину, надо на него посмотреть.

Они перевернули меня лицом вверх. Я глядел на них выпученными глазами. Я знаю одно: если бы меня затащили так, когда я в первый раз попробовал рубашки, я умер бы через десять минут. Но я прошел хорошую школу. У меня за спиной были уже тысячи часов, проведенных в рубашке, а кроме того, я верил в способ Моррела.

— Смейся же, черт тебя возьми, смейся! — сказал мне начальник тюрьмы. — Ну-ка, покажи нам улыбку, которой ты хвастался.

Моим легким не хватало воздуха, моя голова разрывалась от боли, сознание туманилось, и все-таки я сумел улыбнуться прямо в лицо начальнику тюрьмы Азертону.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Дверь со стуком захлопнулась, в камере воцарился серый сумрак, и я остался один. С помощью хитрых приемов, которым меня уже давно научила рубашка, я, извиваясь и дергаясь, передвигаясь то на дюйм, то на полдюйма, подобрался поближе к двери, так что смог коснуться ее носком правого башмака. Это уже была огромная радость. Полное одиночество кончилось. Я мог теперь перестукиваться с Моррелом.

Однако начальник тюрьмы, очевидно, отдал строгое распоряжение страже, так как хотя я сумел позвать Моррела и сообщить ему о своем намерении попробовать его способ, ему не позволили ответить. Но со мной надзиратели ничего не могли поделать и только ругались: мне предстояло провести в рубашке десять суток, и теперь меня нельзя было запугать никаким наказанием.

Помнится, я заметил тогда, что на душе у меня удивительно спокойно. Тело мое ощущало обычную боль от рубашки, но сознание было таким бездеятельным, что я не замечал боли, как не замечал пола под собой или стен вокруг. Это было идеальное состояние духа для предстоявшего мне эксперимента. Конечно, в основном я был обязан им огромной телесной слабостью. Но не только ей.

Я уже давно приучил себя не обращать внимания на боль. Меня не терзали ни страх, ни сомнения. Я был преисполнен абсолютной веры в безграничную власть духа над телом. В этой бездеятельности сознания было что-то от сна, и все же она оставалась явью, по-своему близкой к экстазу.

Я собрал всю свою волю. Мое тело уже начинало неметь из-за нарушенного кровообращения. Сосредоточившись на мизинце правой ноги, я приказывал ему умереть в моем сознании. Я приказал этому мизинцу стать мертвым для меня, его господина, существующего помимо него. Началась упорная борьба. Моррел предупреждал меня, что так будет. Но даже тень сомнения не омрачила моей веры. Я знал, что мизинец умрет, и я уловил мгновение, когда он умер. Сустав за суставом он умирал под воздействием моей воли.

Остальное было уже легко, хотя не отрицаю, что весь процесс оказался очень медленным. Сустав за суставом, палец за пальцем прекратили существование пальцы на ногах. И сустав за суставом мое тело продолжало умирать. Настала минута, когда исчезла плоть моей стопы. Настала минута,

когда исчезли обе лодыжки.

Мой экстаз был так глубок, что я не чувствовал ни малейшей гордости от удаchi эксперимента. Я признавал только, что заставляю мое тело умирать. И все то, что было мной, целиком посвятило себя этой задаче. Я делал свое дело с аккуратностью каменщика, кладущего стену кирпич за кирпичом, и оно представлялось мне таким же будничным, каким представляется каменщику его повседневный труд.

По истечении часа мое тело было мертво по бедра, но я продолжал умерщвлять его сустав за суставом, и смерть поднималась все выше.

Однако когда я добрался до уровня сердца, сознание мое впервые затуманилось. Испугавшись обморока, я приказал умершей части тела оставаться мертвой и сосредоточился на пальцах рук. Ясность сознания тотчас вернулась ко мне, и я очень быстро умертвил руки и плечи.

Теперь все мое тело было мертво, если не считать головы и кусочка груди. Бешеные удары моего стиснутого сердца перестали отдаваться в голове. Оно билось теперь ровно, хотя и слабо. Если бы я посмел тогда обрадоваться, эта радость была бы порождена отсутствием ощущений.

Однако дальше у меня все пошло не так, как у Моррела.

Продолжая машинально напрягать волю, я постепенно погрузился в дремотное состояние, лежащее на границе сна и бодрствования.

Мне начало казаться, что мой мозг стал увеличиваться внутри черепа, который оставался прежним. Порой ярко вспыхивал свет, словно даже я, дух-господин, на мгновение исчезал, а потом возникал снова, все еще в пределах плотского обиталища, умерщвляемого мною.

Особенно странным было увеличение мозга. Хотя он и не проходил сквозь стенки черепа, мне казалось, что часть его уже находится снаружи черепа и продолжает увеличиваться. А вместе с этим возникало удивительное ощущение, которого мне еще никогда не доводилось испытывать. Время и пространство в той мере, в какой они были частью моего сознания, вдруг обрели гигантскую протяженность. Так, я знал, даже не открывая глаз, что стены моей камеры раздвинулись, превратив ее в огромный дворцовый зал. И пока я обдумывал этот факт, они все продолжали раздвигаться. Тут мне пришла в голову забавная мысль: если так же росла и вся тюрьма, то наружные стены Сен-Квентина с одной стороны должны были бы оказаться в волнах Тихого океана, с другой — уже подбираться к Невадской пустыне. Затем у меня возникла другая забавная мысль: раз материя может просачиваться сквозь материю, то вполне возможно, что стены моей камеры уже просочились сквозь тюремные стены и, значит, моя камера находится вне тюрьмы, а я — на

свободе. Разумеется, это были только фантазии, о чем я ни на секунду не забывал.

Расширение времени было столь же замечательным. Удары моего сердца раздавались лишь через долгие промежутки. Это тоже показалось мне забавным, и я принялся медленно и размеренно отсчитывать секунды между ударами. Сперва такой промежуток был равен ста секундам с лишним. Но промежутки продолжали непрерывно увеличиваться, и я бросил считать.

Это иллюзорное расширение пространства и времени непрерывно продолжалось, и я начал лениво обдумывать новый и чрезвычайно важный вопрос. Моррел рассказал мне, что он освобождался от своего тела, убивая его, вернее, отделяя сознание от тела, что, впрочем, одно и то же. Так вот, мое тело было настолько близко к полной смерти, что стоило мне быстро сосредоточить волю на оставшемся живым кусочке, как он тоже перестал бы существовать, — в этом я был абсолютно убежден. Но тут-то и крылась загвоздка, о которой Моррел мне ничего не сказал, — должен ли я убить и голову? Вдруг, если я сделаю это, тело Даррела Стэндинга навеки останется мертвым, что бы ни происходило с духом Даррела Стэндинга?

Я решил, что рискну убить грудь и сердце. Напряжением воли я мгновенно добился желаемого результата. У меня больше не было ни груди, ни сердца. Я был только духом, душой, сознанием — называйте это, как хотите, — заключенным в туманном мозгу, который, оставаясь внутри моего черепа, тем не менее уже вышел за его пределы и продолжал расширяться вне их.

И вдруг в мгновение ока я унесся прочь. Одним прыжком я оставил тюрьму далеко внизу, пронизал калифорнийское небо и оказался среди звезд. Я говорю «среди звезд» совершенно сознательно. Я гулял среди звезд. Я был ребенком. Меня окутывала тонкая шелковистая ткань самых нежных оттенков, мерцавшая и переливавшаяся в спокойном прохладном свете звезд. Это одеяние, несомненно, родилось из моих детских впечатлений от цирковых акробатов и представлений об одеждах ангелочков.

Но как бы то ни было, я шагал в этом наряде по межзвездным пространствам, опьяненный сознанием, что меня ждет великий подвиг, который даст мне познать все космические законы и постигнуть великую тайну тайн вселенной. В руке я держал стеклянный жезл. Мне было известно, что я должен коснуться кончиком этого жезла каждой звезды, мимо которой буду проходить. И я знал с абсолютной уверенностью, что стоит мне пропустить хотя бы одну, как я буду низвергнут в бездонную

пропасть вечного наказания и вечной вины.

Мой звездный путь был долог. Когда я говорю «долг», вам следует помнить о том, как колоссально расширилось время в моем мозгу. Я шел в пространстве века и века, уверенно и без промаха касаясь кончиком жезла каждой встречной звезды. Все ярче разгорался свет. Все ближе был я к несказанному источнику безграничной мудрости. Именно я сам, а не какое-то другое мое «я». И это не было тем, что я когда-то уже пережил. Я все время сознавал, что именно я, Даррел Стэндинг, иду среди звезд и касаюсь их стеклянным жезлом. Короче говоря, я знал, что в этом нет ничего подлинного, что этого на самом деле не было и не будет.

Я знал, что это лишь буйная оргия воображения, как у человека, накурившегося опиума, больного горячкой или просто крепко спящего.

И вдруг, когда мне было так хорошо и радостно, мой жезл пропустил звезду, и я сразу понял, что совершил тягчайшее преступление. И тут же раздался стук, громовой, властный и неумолимый, как железная поступь рока, он поразил меня и гулко пронесся по вселенной. Вся звездная система ослепительно засверкала, закружилась и исчезла в пламени.

Меня разрывала невыразимая мука. Я сразу же стал Даррелом Стэндингом, пожизненно заключенным, лежащим на полу в смиренной рубашке. И я понял, кто отозвал меня с небес. В пятой камере Эд Моррел начал что-то выстукивать.

Мне.

Теперь я попытаюсь дать вам некоторое представление о необъятной протяженности времени и пространства, которую я ощущал. Много дней спустя я спросил у Моррела, что он мне выстукивал. Оказалось, это был простой вопрос: «Стэндинг, ты тут?»

Он простучал его очень быстро, пока надзиратель был в другом конце коридора. Повторяю: он простучал свой вопрос очень быстро.

Так поймите же: между первым и вторым ударом я снова унесся в звездный мир и снова шел, облаченный в шелковистое одеяние, касаясь каждой звезды на моем пути, к познанию всех тайн жизни.

И, как прежде, я шел там века и века. Затем снова раздался стук — гром железной поступи рока, и снова меня разрывала невыразимая боль, и снова я оказался в моей камере в Сен-Квентине. Это Эд Моррел стукнул во второй раз. Промежуток между первым и вторым ударом длился пятую долю секунды. Но благодаря неизмеримой протяженности моего времени за эту пятую долю секунды я много столетий шел среди звезд.

Я знаю, читатель, что все рассказанное выше кажется бессмыслицей. Я согласен. Это бессмыслица. Но это случилось со мной и было так же

реально, как реальны змеи и пауки для человека, допившегося до белой горячки.

При самых щедрых допусках Эду Моррелу потребовалось не больше двух минут, чтобы простучать свой вопрос. И все же между первым и последним ударом протекли миллионы лет. Я уже не мог идти по моей звездной тропе с прежней безоблачной радостью, ибо во мне жил ужас перед неизбежным призывом, который, раздирая в клочья все мое существо, снова низвергнет меня в ад смиренной рубашки. И миллионы лет моих блужданий среди звезд превратились в миллионы лет ужаса.

И все время я знал, что это палец Эда Моррела так жестоко приковывает меня к земле. Я попытался заговорить с Эдом, попросить, чтобы он замолчал. Но я так полно отделил свое тело от сознания, что уже не мог его воскресить. Мое тело, сдавленное рубашкой, было мертво, хотя я все еще жил в его черепе. Тщетно приказывал я своей ноге простучать ответ Моррелу. Теоретически я знал, что у меня есть нога. Но мой опыт прошел так удачно, что ноги у меня все-таки не было.

Потом — теперь я знаю, что Моррел просто кончил выстукивать свой вопрос, — я продолжил мой путь среди звезд, и никто не звал меня назад. А потом, все еще на том же пути, я сквозь дрему почувствовал, что засыпаю и сон этот удивительно сладок.

Время от времени я шевелился во сне — обрати внимание, читатель, на этот глагол, — я шевелился. Я двигал руками и ногами.

Я чувствовал прикосновение чистых мягких простынь. Я ощущал себя здоровым и сильным. До чего же это было чудесно! Как людям, гибнущим в пустыне от жажды, грезятся журчащие фонтаны и кристальные источники, так мне грезилось освобождение от уз смиренной рубашки, чистота вместо грязи, бархатистая здоровая кожа вместо жесткого пергамента, обтягивавшего мои ребра.

Но грезилось мне это, как вы убедитесь, совсем по-иному, не так, как им.

Я проснулся. О, совсем проснулся, но не стал открывать глаза.

Пожалуйста, поймите одно — все дальнейшее меня нисколько не удивило. Я воспринимал его как что-то привычное и естественное.

Я был самым собой, запомните это. Но я не был Даррелом Стэндингом. У Даррела Стэндинга было столько же общего с этим человеком, как у пергаментной кожи Даррела Стэндинга с этой нежной и здоровой. И я понятия не имел ни о каком Дарреле Стэндинге, и не удивительно, ибо Даррел Стэндинг еще не родился и до его рождения должны были пройти века. Но вы сами все поймете.

Я лежал, не открывая глаз, и лениво прислушивался к доносившимся до меня звукам. Снаружи по каменным плитам размеренно цокали подводы. Звенело металлом оружие на людях, звенела металлом сбруя, и я понял, что под моими окнами по улице проезжает кавалькада. И без всякого интереса подумал: кто бы это мог быть? Откуда-то (впрочем, я знал, откуда, — со двора гостиницы) донеслись звонкие удары копыт и нетерпеливое ржание, которое я сразу узнал: это горячился мой конь.

Потом звук шагов и шорохи — шаги, как будто бы почтительно приглушенные, а на самом деле нарочито шумные, чтобы разбудить меня, если я еще сплю. Я улыбнулся про себя уловке старого мошенника.

— Понс, — приказал я, не открывая глаз, — воды! Холодной воды, побыстрее и побольше. Я вчера вечером хлебнул лишнего, и в глотке у меня сухо, как в раскаленной пустыне.

— Вот зато сегодня вы и заспались, — проворчал он, подавая мне заранее приготовленную кружку с водой.

Я сел на кровати, открыл глаза и обеими руками поднес кружку к губам. Я пил и разглядывал Понса.

Теперь заметьте две вещи: я говорил по-французски и не сознавал, что говорю по-французски. Только много времени спустя, вернувшись в одиночку и вспоминая события, о которых я сейчас рассказываю, я вдруг понял, что все время говорил по-французски, и притом как настоящий француз. Я же, Даррел Стэндинг, тот, кто пишет эти строки в тюрьме Фолсем, в одной из камер Коридора Убийц, знаю французский язык только в объеме школьного курса, то есть кое-как читаю французские книги и журналы. А говорить не умею совсем. Даже заказывая обед в ресторане, я не всегда правильно произносил названия блюд.

Но довольно отступлений. Понс был низеньким, сухоньким старикашкой. Он родился в нашем доме — об этом было упомянуто в тот день, который я описываю. Понсу было за шестьдесят.

Он уже лишился почти всех зубов, но, несмотря на сильную хромоту (он ходил, смешно подпрыгивая), был еще очень бодр и подвижен. Со мной он обращался с развязной фамильярностью.

Ведь он прожил в нашем доме шестьдесят лет. Он был слугой моего отца, когда я еще только учился ходить, а после его смерти (мы с Понсом говорили о ней в этот день) стал моим слугой.

Хромоту свою он получил на поле сражения в Италии, когда в атаку пошла кавалерия. Он только-только успел оттащить моего отца в сторону, как был ранен пикой в бедро, сбит с ног и отброшен под лошадиные копыта. Мой отец, не потерявший сознания, хотя и обессиленный от ран,

видел все это своими глазами. Так что Понс заслужил право быть фамилльярным, по крайней мере, с сыном моего отца.

Укоризненно покачивая головой, Понс смотрел, как я жадно пью воду.

— Она сразу закипела, ты слышал? — спросил я, смеясь, и отдал ему кружку.

— Совсем как отец, — сказал он с печальным вздохом. — Но ваш отец потом остепенился, а от вас этого не дождешься.

— У отца был больной желудок, — поддразнивал я старика. — Один глоток вина — и его сразу выворачивало наизнанку. Так кто же станет пить, если от этого нет никакой радости?

Пока мы разговаривали, Понс раскладывал на кресле у кровати мой костюм.

— Пейте, пейте, хозяин, — сказал он. — Это вам не повредит. Вы все равно умрете со здоровым желудком.

— Значит, по-твоему, у меня железный желудок? — спросил я, нарочно притворяясь, будто не понял его намека.

— По-моему... — ворчливо начал он, но тут же умолк, сообразив, что я его дразню. Поджав морщинистые губы, он повесил на спинку кресла мой новый, подбитый соболями плащ. — Восемьсот дукатов! — язвительно сказал он. — Тысяча коз и сто жирных быков за плащ, чтобы вы не мерзли! Двадцать ферм на благородной спине моего хозяина!

— А вот здесь сотня богатых ферм, с двумя-тремя замками в придачу, а быть может, и дворцом, — ответил я, протягивая руку и дотрагиваясь до моей шпаги, которую он только что положил на сиденье кресла.

— Ваш отец тоже завоевывал свое добро сильной рукой, — отрезал Понс. — Но если ваш отец умел завоевывать, то он умел и сохранять.

Тут Понс умолк и с насмешкой расправил мой новый колет из малинового атласа, который обошелся мне недешево.

— Шестьдесят дукатов за эту тряпку, подумать только! — все больше расходился Понс. — Да ваш отец послал бы к сатане на рога всех портных и евреев-ростовщиков, а не заплатил бы таких денег!

И все время, пока мы одевались, то есть все время, пока Понс помогал мне одеваться, я продолжал дразнить его.

— Нетрудно догадаться, Понс, что ты не слышал последней новости, — сказал я лукаво.

Тут старый сплетник мигом наострил уши.

— Последней новости? — переспросил он. — Уж не случилось ли чего при английском дворе?

— Нет, — покачал я головой. — Впрочем, новостью это, пожалуй,

будет только для тебя, а всем другим она уже давно известна. Так ты, правда, не слышал? Об этом шептались греческие философы еще две тысячи лет назад. Вот из-за этой-то новости я и ношу двадцать богатых ферм на своей спине, живу при дворе и стал кутилой и щеголем. Видишь ли, Понс, наш мир — весьма скверное местечко, жизнь — печальная штука, все люди смертны, а когда ты мертв, ты... Короче говоря, ты мертв. И вот, чтобы избежать скверны и печали, в наши дни люди, подобные мне, ищут новизны, дурмана страстей и угара развлечений.

— Но что это за новость, хозяин? О чем шептались философы в давние времена?

— О том, что Бог умер, Понс, — ответил я торжественно. — Разве ты этого не знал? Бог умер, я тоже скоро умру, и вот поэтому я ношу на спине двадцать богатых ферм.

— Бог жив! — с жаром воскликнул Понс. — Бог жив, и царствие его близко. Оно близко, слышите, хозяин? Может быть, оно настанет уже завтра, и земля рассыплется в прах.

— Так говорили христиане в Древнем Риме, Понс, когда Нерон устраивал из них живые факелы себе на забаву.

Понс бросил на меня взгляд, исполненный жалости.

— Большая ученость хуже болезни, — сокрушенно вздохнул он. — Я ведь всегда это говорил. Но вам, конечно, надо было поставить на своем и таскать меня, старика, за собой! Ну, и какой толк, что вы изучали астрономию и арифметику в Венеции, поэзию и всякие другие итальянские глупости — во Флоренции, астрологию — в Пизе и уж не знаю что еще в этой сумасшедшей Германии? Плевать я хотел на философов. Я говорю вам, хозяин, — я, Понс, ваш слуга, калека-старик, который не отличит буквы от древка пики, — я говорю вам, что Бог жив и через краткий срок вы предстанете перед ним. — Он вдруг умолк, опомнившись, и добавил: — Священник, о котором вы говорили, ждет, когда вы встанете.

Я вспомнил, что действительно назначил священнику прийти сегодня.

— Что ж ты мне раньше не сказал? — спросил я сердито.

— А к чему? — пожал плечами Понс. — Он все равно ждет уже два часа.

— Почему ты меня не разбудил?

Он посмотрел на меня с упреком.

— Как же разбудишь вас, когда вы еле добрались до кровати и все время вопили почище любого петуха: «Пой ку-ку, пой ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, пой ку-ку, пой ку-ку, пой ку-ку, пой ку-ку!»

Он тянул этот бессмысленный припев раздирающим ухо хриплым

фальцетом, насмешливо поглядывая на меня. Вполне возможно, что я пел эту песенку, ложась спать.

— У тебя хорошая память, — заметил я сухо, накидывая на плечи новый соболиный плащ и тут же сбрасывая его на руки Понсу.

Понс угрюмо покачал головой.

— Тут память не нужна: вы ведь пропели это «ку-ку» раз тысячу, не жалея голоса, так что к нашим дверям сбежались постояльцы со всей гостиницы и грозились убить вас, потому что вы никому не даете уснуть. А когда я вас все-таки уложил, разве вы тут же не подозвали меня к себе и не велели передать дьяволу, если он зайдет, что его светлость почивает? И разве вы не вернули меня еще раз, и, сжав мне руку у локтя так, что сегодня она вся в синяках, разве вы не приказали мне: «Если любишь жизнь, сочное мясо и теплый очаг, ни под каким видом не смей будить меня утром! Можешь разбудить меня только ради одного»?

— Ради чего? — спросил я, потому что никак не мог вспомнить, о чем я тогда думал.

— «Только ради сердца черного коршуна, по имени Маринелли, — сказали вы. — Только ради сердца Маринелли, еще теплого и положенного на золотой поднос. Поднос обязательно должен быть золотым», — сказали вы, а я должен разбудить вас, запев «Пой ку-ку, пой ку-ку, пой ку-ку». И тут вы стали учить меня петь «Пой ку-ку, пой ку-ку, пой ку-ку».

Но едва Понс назвал это имя, я сразу понял, что речь идет о том самом священнике Маринелли, который уже два часа скучает в моей приемной.

Когда же Маринелли вошел и, здороваясь, назвал меня полным титулом, я понял и все остальное. Я был граф Гильом де Сен-Мор (дело в том, что я знал тогда и вспоминал потом лишь то, что проходило через мое бодрствующее сознание).

Священник был итальянец, очень смуглый, невысокого роста и невероятно худой — не то от вечных постов, не то от вечного неутолимого, но не плотского голода. Руки у него были маленькие и слабые, как у женщины. Но зато его глаза! Хитрые, недоверчивые, всегда прищуренные, с тяжелыми веками, они были злобными, как у хорька, и в то же время томными, как у ящерицы, греющейся на солнце.

— Вы заставляете нас ждать, граф де Сен-Мор, — сказал он, как только Понс, повинаясь моему взгляду, вышел из комнаты. — Тот, кому я служу, начинает терять терпение.

— Потихе, потихе, поп, — перебил я его сердито. — Помни, что ты сейчас не в Риме.

— Мой святейший повелитель... — начал он.

— Возможно, твой святейший повелитель правит в Риме, — опять перебил я.

— Но мы во Франции.

Маринелли смиренно наклонил голову, но в его глазах блеснула злоба.

— Мой святейший повелитель заботится и о делах Франции, — сказал он невозмутимо. — Эта дама не для вас. У моего повелителя другие планы. — Он провел языком по тонким губам. — Другие планы и относительно нее... и относительно вас.

Конечно, он имел в виду великую герцогиню Филиппу, вдову Жофруа, последнего герцога Аквитанского. Но хотя Филиппа была великой герцогиней и вдовой, она, кроме того, была женщиной — молодой, веселой, красивой и, по моему мнению, созданной для меня.

— Каковы же эти планы? — спросил я грубо.

— Они глубоки и обширны, граф де Сен-Мор. Так глубоки и обширны, что мне не подобает даже задумываться о них, а тем более обсуждать их с вами или с кем-нибудь еще.

— О, я знаю, что надвигаются большие события и что под землей зашевелились покрытые слизью черви.

— Меня предупреждали, что вы упрямы, но я должен был выполнить приказ.

Маринелли встал, собираясь уйти, и я тоже встал.

— Я говорил, что это бесполезно, — продолжал он. — Но вам была дарована последняя возможность изменить свое решение.

Мой святейший повелитель справедлив, как сама справедливость.

— Ну, я подумаю, — сказал я беззаботным тоном, провожая его до дверей.

Он остановился как вкопанный.

— Время для размышлений прошло, — сказал он. — Я здесь для того, чтобы узнать ваше решение.

— Я подумаю, — повторил я и, помолчав, добавил: — Если планы этой дамы не совпадут с моими, тогда, быть может, планы вашего повелителя осуществляются. Потому что, помни, поп, мне он не повелитель.

— Вы не знаете моего повелителя, — грозно сказал он.

— И не испытываю ни малейшего желания с ним познакомиться, — отрезал я.

Я стоял, прислушиваясь к мягким шагам интригана-священника, легко ступавшего по скрипучим ступенькам.

Если бы я попробовал подробно описать все, что мне привелось увидеть за остаток этого дня и первую половину сменившей его ночи, пока

я был графом Гильомом де Сен-Мором, то не хватило бы и десяти таких книг. Но я многое опущу, вернее сказать, я опущу почти все, ибо мне еще не приходилось слышать об отсрочке казни для того, чтобы осужденный мог дописать свои воспоминания: по крайней мере в Калифорнии так не делается.

Париж, который я увидел в тот день, был старинным Парижем. Узкие улочки были завалены грязью и нечистотами и показались бы неслыханно грязными в наш век санитарии и гигиены.

Но все это я должен пропустить. Я должен пропустить все события дня: верховую прогулку за стенами города, великолепный праздник, устроенный Гуго де Менгом, пиршество, во время которого я почти ничего не ел и не пил. Я опишу только самый конец этих приключений: все началось, когда я стоял, обмениваясь шутками с самой Филиппой... О Господи, как она была хороша! Знатная дама до мозга костей, но, кроме этого и помимо этого, всегда и во всем — женщина.

Мы шутили и смеялись вполне искренне, а вокруг нас кружилась веселая толпа. Но под нашими шутками крылась напряженная настороженность мужчины и женщины, уже перешагнувших порог любви, но еще не уверенных во взаимности. Я не стану описывать Филиппу. Миниатюрная, восхитительно стройная... Нет, я все-таки удержусь. Словом, для меня она была единственной женщиной в мире, и я совершенно не думал о том, что длинная рука седого старца может протянуться из Рима через всю Европу, чтобы разлучить меня с моей возлюбленной.

И тут итальянец Фортини прошептал мне на ухо:

— Один человек хочет поговорить с вами.

— Пусть подождет, пока у меня найдется для него время, — ответил я резко.

— Я никого не жду, — так же резко возразил он.

Кровь закипела у меня в жилах, и я вспомнил священника Маринелли и седого старца в Риме. Я понял. Все было подстроено. Вот она, длинная рука. Фортини лениво улыбнулся, глядя мне прямо в лицо, пока я раздумывал, как поступить, и улыбка эта была насмешливой и дерзкой.

Именно сейчас я должен был во что бы то ни стало сохранять хладнокровие. Но во мне поднималась знакомая багровая ярость.

Так вот, значит, что задумал этот поп: Фортини, промотавший все родовые богатства, сохранив лишь громкое имя, считался лучшим фехтовальщиком среди итальянцев, приехавших к нам за последние шесть лет! Итак, сегодня Фортини. Если он потерпит неудачу, то по приказу

седого старца завтра явится новый бретер, послезавтра — новый. А если и у них ничего не выйдет, то убийца-простолюдин всадит мне нож в спину или отравитель подмешает смертоносное зелье в мое вино или в мой хлеб.

— Я занят, — сказал я. — Убирайтесь.

— У меня к вам неотложное дело, — настаивал он.

Незаметно для себя мы стали говорить громче, и Филиппа услышала.

— Убирайся прочь, итальянский пес! — сказал я. — Не визжи у моих дверей. Я скоро займусь тобой.

— Луна уже взошла, — ответил он. — Трава сухая, отличная.

Роса еще не выпала. За этим прудом налево, на расстоянии полета стрелы, есть превосходная лужайка, тихая и укромная.

— Скоро я исполню ваше желание, — понизив голос, ответил я ему с досадой.

Но он не отходил от меня.

Тут заговорила Филиппа, и в ее словах была заключена вся ее редкая смелость и железная воля.

— Исполните желание этого господина, Сен Мор. Займитесь им сейчас. Да сопутствует вам удача! — Она умолкла и подозвала к себе своего дядю Жана де Жуанвиля, который в эту минуту проходил мимо, — брата ее матери, одного их анжуйских Жуанвилей.

— Да сопутствует вам удача, — повторила она и, наклонившись ко мне, шепнула: — Мое сердце остается с вами, Сен-Мор. Возвращайтесь скорее. Я буду ждать вас в большом зале.

Я был на седьмом небе. Я шагал по облакам. Впервые она прямо сказала мне о своей любви. И эта радость придала мне такую силу, что теперь мне была нипочем хоть дюжина Фортини, хоть дюжина седых старцев в Риме.

Жан де Жуанвиль и Филиппа скрылись в толпе, а мы с Фортини быстро договорились обо всем и разошлись, чтобы найти секундантов и встретиться на лужайке за прудом.

Сначала я отыскал Робера Ланфранка, а потом Анри Боэмона.

Но прежде чем найти их, я встретил соломинку, которая показала мне, куда дует ветер, и предсказала настоящую бурю. Соломинку звали Ги де Виллардуэн; я знал этого неотесанного провинциала — он совсем недавно приехал ко двору, что не мешало ему быть задиристым петушком. Он был рыж. Белки его голубых, близко поставленных глазок отливали красным, а кожа, как обычно у рыжих, была багровой и веснушчатой. Больше всего он напоминал вареного рака.

Когда я проходил мимо, он быстро повернулся и толкнул меня. О,

разумеется, он сделал это нарочно! И тут же злобно подскочил ко мне, хватаясь за шпагу.

«Черт возьми! — подумал я. — У седого старца немало орудий, и весьма странных к тому же!», — а вслух с вежливым поклоном сказал петушку:

— Простите мою неуклюжесть. Во всем виноват я. Прошу у вас извинения, Виллардуэн.

Однако умиротворить его оказалось нелегко. Но пока он в бешенстве кукарекал, я заметил Робера Ланфранка, позвал его к нам и объяснил, что случилось.

— Сен-Мор дал вам полное удовлетворение, — решил Ланфранк. — Он попросил у вас извинения.

— О да! — подхватил я любезнейшим голосом. — И я снова прошу вас, Виллардуэн, извинить мою неуклюжесть. Приношу тысячу извинений. Во всем виноват я, хотя поступок мой был неумышленным. Торопясь на некое свидание, я был неуклюж, чрезвычайно неуклюж, но толкнул я вас неумышленно.

Этой деревенщине оставалось только с большой неохотой принять извинения, на которые я был так щедр. Но когда мы с Ланфранком поспешили дальше, я подумал, что не пройдет и нескольких дней, а может быть, и часов, как огненноголовый провинциал добьется того, чтобы мы с ним скрестили шпаги на лужайке.

Ланфранку я сказал только, что нуждаюсь в его услугах, и он не стал расспрашивать о подробностях. Это был жизнерадостный юноша, которому только что исполнилось двадцать лет, но он слил умелым фехтовальщиком, сражался в Испании и много раз отличался на дуэлях. Узнав, в чем дело, он только весело сверкнул черными глазами и пришел в такой восторг, что сам отправился за Анри Боэмоном и уговорил его присоединиться к нам.

Когда мы втроем вышли на лужайку за прудом, Фортини и двое его секундантов уже ждали нас. Одним из них был Феликс Паскини, племянник кардинала, носившего ту же фамилию, и доверенное лицо своего дяди, который сам был доверенным лицом седого старца. Другим был Рауль де Гонкур, и меня удивило, что такой благородный человек оказался в подобном обществе.

Мы отсалютовали друг другу и взялись за дело. Оно было знакомо нам всем. Роса еще не выпала, и ноги не скользили по сухой траве. Ярko светила луна, и мы с Фортини скрестили шпаги в смертельном поединке.

Я знал, что Фортини меня превосходит, хотя я и считался во Франции хорошим фехтовальщиком. Но я знал и другое: что в этот вечер со мной

сердце моей дамы, и потому в этот вечер благодаря мне в мире станет одним итальянцем меньше. Повторяю, я знал это, я не сомневался в исходе ДУЭЛИ. И пока мы дрались, я размышлял, как лучше убить его. Я не любил долгих поединков, короткий блестящий бой — такова была моя обычная манера. А кроме того, все эти веселые месяцы пирушек, когда поздно ночью я распевал «Пой ку-ку, пой ку-ку, пой ку-ку», должны были сказаться, если схватка затянется, и я это знал. Бой будет коротким и блестящим, решил я.

Однако справиться со столь умелым противником, как Фортини, было не так-то просто. А кроме того, Фортини, который, по слухам, всегда бывал хладнокровен, обладал железной рукой и умел драться долго, уверенно и неутомимо, в этот вечер тоже решил, что бой будет коротким и блестящим.

Мы дрались напряженно и нервно, — ведь если я разгадал его намерение покончить со мной как можно быстрее, то и он понял, что задумал я. Вероятно, мне не удался бы мой прием, если бы мы дрались днем, а не ночью. Но смутный лунный свет был моим союзником. И у меня было еще одно преимущество: я заранее догадался, что собирается сделать мой противник. Это был встречный выпад — весьма обычный, но очень рискованный прием, известный каждому новичку, погубивший немало хороших бойцов, отважившихся прибегнуть к нему, и настолько опасный для того, кто им пользуется, что большинство фехтовальщиков предпочитают обходиться без него.

Мы дрались меньше минуты, а я уже знал, что Фортини, бросившийся в стремительную атаку, на самом деле рассчитывает пустить в ход эту самую уловку. Он ждал, когда я сделаю глубокий выпад, чтобы, не парируя его, обычным легким движением кисти отвести мою шпагу, направив острие своей прямо навстречу моему рванувшемуся вперед телу. Рискованный прием, очень рискованный даже при ярком солнечном свете. Стоит ему начать на мгновение раньше — и я пойму, в чем дело, и не попаду в ловушку. Стоит ему начать на мгновение позже — и моя шпага пронзит его сердце.

«Так, значит, быстрый и блестящий бой? — подумал я. — Отлично, мой милый итальянец. Бой будет быстрым и блестящим, но главное, быстрым».

Собственно говоря, это был бы встречный выпад против встречного выпада, но я решил, что Фортини попадет в ловушку, потому что я окажусь быстрее его. Так и вышло. Как я сказал, не прошло и минуты, а это уже случилось. Быстро? Да, мой глубокий выпад был быстр. Он был молниеносен — взрыв действия, стремительный, как мысль. Ни один

человек на земле не подозревал — я готов в этом поклясться, — что глубокий выпад может быть таким быстрым. Я выиграл мгновение. Опоздав на это мгновение, Фортини попытался отклонить клинок моей шпаги и заколоть меня. Но отклонился клинок его шпаги. Сверкнув, он скользнул мимо моей груди, шпага Фортини пронзила пустой воздух за моей спиной, а моя шпага вошла в его тело, прошла насквозь на высоте сердца с правого бока в левый и вырвалась далеко наружу.

Странное это ощущение — проткнуть живого человека насквозь. Я сижу сейчас в моей камере и перестаю писать, задумавшись над этим. И я не раз задумывался над тем, что случилось в ту лунную ночь в старой Франции, когда я показал итальянской собаке, что такое быстрый и блестящий бой. Как легко пронзить насквозь человеческое тело! Если бы моя шпага наткнулась на кость, я почувствовал бы сопротивление, но ей встретились только мягкие мышцы. И все же это было слишком легко. Сейчас, описывая это, я вновь переживаю то же ощущение в руке и в мозгу.

Моя шпага прошла сквозь тело итальянца с такой легкостью, словно я погружал шляпную булавку в пудинг. О, Гильом де Сен-Мор в ту ночь совсем не был удивлен этим, но это удивляет меня, Даррела Стэндинга, когда теперь, через века, я вспоминаю нашу схватку. Легко, слишком легко убить сильного, живого, дышащего человека таким примитивным оружием, как полоска стали.

Люди похожи на крабов в мягкой скорлупе — они столь же нежны, хрупки и уязвимы.

Но вернемся к той лунной ночи, когда моя шпага вошла в его тело и наступило мгновение полной неподвижности. Фортини упал не сразу. Не сразу я выдернул шпагу. Целую секунду мы стояли неподвижно: я — широко расставив ноги, изогнув наклоненное вперед тело с горизонтально вытянутой правой рукой — и Фортини, чья шпага была позади меня, так что рукоятка и сжимавшая ее рука легли на мое левое плечо, а тело застыло, и широко раскрытые глаза блестели. И пока мы стояли так, застыв, словно статуи, наши секунданты, готов поклясться, не успели даже понять, что произошло. Потом Фортини глубоко вздохнул и закашлялся, тело его обмякло, рукоятка шпаги, лежавшая на моем плече, задрожала, рука упала, и шпага уперлась острием в дерн.

К нему подскочили Паскини и де Гонкур, и он повалился на их руки. Честное слово, мне было труднее вытащить шпагу, чем вонзить ее в него. Его плоть смыкалась вокруг лезвия, словно не желая его отпустить. Поверьте, мне потребовалось сделать большое усилие, чтобы извлечь свою шпагу.

Однако боль, вызванная этим движением, по-видимому, возвратила его к жизни, ибо он оттолкнул своих друзей, выпрямился и стал в позицию. Я тоже стал в позицию, недоумевая, как мне удалось проткнуть его на высоте сердца и все-таки не задеть ни одного жизненно важного органа. Но тут колени Фортини подогнулись, и, прежде чем друзья успели его подхватить, он рухнул ничком на траву. Они перевернули его на спину, но он был уже мертв. В лунном свете его лицо казалось синевато-белым, а правая рука по-прежнему сжимала рукоятку шпаги.

Да, убить человека удивительно легко.

Мы поклонились его секундантам и уже намеревались уйти, когда меня остановил Феликс Паскини.

— Прошу прощения, — сказал я, — но пусть это будет завтра.

— Нам ведь надо только отойти в сторону, туда, где трава еще суха, — настаивал он.

— Давайте я увлажню ее за вас, Сен-Мор, — умоляюще сказал Ланфранк, которому давно не терпелось помериться силами с каким-нибудь итальянцем. Я покачал головой.

— Паскини мой, — ответил я. — Он будет первым завтра.

— А остальные? — осведомился Ланфранк.

— Об этом спросите де Гонкура, — засмеялся я. — Если не ошибаюсь, он уже собирается добиваться чести быть третьим.

При этих словах де Гонкур смущенно кивнул. Ланфранк вопросительно посмотрел на него, и де Гонкур кивнул еще раз.

— А за ним, конечно, явится петушок, — продолжал я.

И едва я умолк, как рыжий Ги де Виллардуэн вышел на лужайку и направился к нам по залитой лунным светом траве.

— Ну хоть его-то уступите мне! — воскликнул Ланфранк, чуть не плача, до того ему хотелось скрестить с кем-нибудь шпагу.

— Об этом спросите его самого, — засмеялся я и повернулся к Паскини. — До завтра, — сказал я. — Назовите время и место, и вы найдете меня там.

— Трава превосходна, — насмешливо ответил он, — и лучше этого места не найти, и мне хочется, чтобы вы успели составить компанию Фортини.

— Куда лучше, если ему будет сопутствовать его друг, — отпарировал я. — А теперь, с вашего разрешения, я уйду.

Но он загородил мне дорогу.

— Кто бы ни отправился следом за Фортини, — сказал он, — пусть это будет сейчас.

В первый раз за время нашего разговора во мне начал закипать гнев.

— Вы усердно служите своему хозяину, — насмешливо сказал я.

— Я служу только собственным капризам. У меня нет хозяев.

— Не примите за дерзость, но я собираюсь сказать вам правду, — продолжал я.

— Какую же? — промурлыкал он.

— А вот какую: вы лжец, Паскини, лжец, как все итальянцы.

Он сразу повернулся к Ланфранку и Воэмону.

— Вы слышали? — сказал он. — Теперь вы не будете оспаривать его у меня.

Они растерянно взглянули на меня, стараясь понять, чего я хочу. Но Паскини не стал ждать.

— А если у вас еще остаются сомнения, тогда позвольте мне их рассеять... Вот так.

И он плюнул мне под ноги. И тут гнев взял надо мной верх.

Багровая ярость — называю я его: всепоглощающее, всезатмевающее желание убивать и уничтожать. Я забыл, что Филиппа ждет меня в большом зале. Я помнил только о нанесенных мне оскорблениях: о том, что седой старец непростительно вмешивается в мои дела, о требовании священника, о дерзости Фортини, о наглости Виллардуэна; а теперь Паскини встал у меня на дороге и плюнул мне под ноги. Мир побагровел перед моими глазами. Я был во власти багровой ярости. Меня окружала гнусная нечисть, которую я должен был смести со своего пути, стереть с лица земли. Как попавший в клетку лев гневно кидается на прутья, так жгучая ненависть к этой нечисти подхватила и понесла меня. Да, они окружали меня со всех сторон. Я попал в ловушку. И выход был только один: уничтожить их, втоптать их в землю.

— Очень хорошо, — сказал я почти хладнокровно, хотя меня трясло от бешенства. — Вы первый, Паскини? А потом вы, де Гонкур? И в заключение де Виллардуэн?

Они кивнули в знак согласия, и мы с Паскини собрались отойти в сторону.

— Раз вы торопитесь, — предложил мне Анри Боэмон, — и раз их трое и нас трое, то почему бы не покончить с этим сразу?

— Да, да, — горячо поддержал его Ланфранк. — Вы возьмите Гонкура, а я возьму де Виллардуэна.

Но я сделал знак моим добрым друзьям не вмешиваться.

— Они здесь по приказу, — объяснил я. — Это моей смерти они жаждут так сильно, что, клянусь честью, я заразился их желанием и теперь

хочу разделаться с ними сам.

Я заметил, что Паскини раздосадован этой задержкой, и решил раздражить его еще больше.

— С вами, Паскини, — заявил я, — я покончу быстро. Мне не хочется, чтобы вы медлили, когда Фортини ждет вас. Вам, Рауль де Гонкур, я отплачу за то, что вы попали в такое скверное общество. Вы растолстели, у вас одышка. Я буду играть с вами, пока ваш жир не растопится и вы не начнете пыхтеть и отдуваться, как дырявые меха. А как я убью вас, Виллардуэн, я еще не знаю.

Тут я отсалютовал Паскини, и наши шпаги скрестились.

О, в этот вечер во мне проснулся дьявол! Быстрый и блестящий бой — вот чего я хотел. Но я помнил и о неверном лунном свете.

Если мой противник посмеет рискнуть на встречный выпад, я покончу с ним, как с Фортини. Если же нет, то я сам применю этот прием — и скоро.

Однако Паскини был осторожен, хотя мне и удалось его раздражить. Но я заставил его принять быстрый темп, и наши шпаги то и дело скрещивались, потому что в обманчивом лунном свете приходится больше полагаться на осязание, чем на зрение.

Не прошло и минуты, как я применил свой прием, притворившись, что поскользнулся, и, выпрямляясь, опять притворился, что потерял шпагу Паскини. Он сделал пробный выпад, и снова я разыграл растерянность, парируя излишне широким движением, совсем открывшись, — это и была приманка, на которую я решил поймать его. И поймал. Он не замедлил воспользоваться преимуществом, которое дало ему мое, как он думал, невольное движение. Его выпад был прямым и точным. И он вложил в него всю свою волю и всю тяжесть своего тела. А я только притворялся и был готов встретить его. Мой клинок чуть-чуть коснулся его клинка, и легким поворотом кисти, как раз в меру твердым, я отвел его клинок чашкой моей шпаги. Отвел чуть-чуть, на несколько дюймов так, чтобы острие шпаги скользнуло мимо моей груди, пронзив лишь складку атласного колета. Конечно, тело его следовало в этом выпаде за шпагой и встретилось правым боком на высоте сердца с острием моей шпаги. Моя вытянутая рука была твердой и прямой, как служившая ее продолжением сталь, а за сталью и рукой было мое подобранное, напряженное тело.

Как я уже сказал, моя шпага вошла в правый бок Паскини на высоте сердца, но не вышла через левый, ибо наткнулась на ребро (ведь убийство человека — это работа мясника). Толчок был так силен, что Паскини потерял равновесие и боком повалился на землю. Пока он падал, пока он

еще не коснулся травы, я вырвал свою шпагу из раны.

Де Гонкур бросился к нему, но он жестом приказал ему заняться мной. Кашляя и сплевывая кровь, он с помощью де Виллардуэна приподнялся на локте, опустил голову на руку, а потом опять начал кашлять и сплевывать.

— Счастливого пути, Паскини, — смеясь, сказал я ему, потому что все еще был во власти багровой ярости. — Прошу вас, поторопитесь, потому что трава, на которой вы лежите, вдруг отсырела, и вы простудитесь насмерть, если не поторопитесь.

Я хотел немедленно заняться де Гонкуром, но тут вмешался Боэмон, сказав, что мне следует отдохнуть.

— Нет, — ответил я, — я еще даже не согрелся как следует. — И повернулся к де Гонкуру. — Теперь вы у меня попляшете и попыхтите. Становитесь в позицию!

Де Гонкур не испытывал ни малейшего желания драться со мной. Нетрудно было заметить, что он только выполняет приказ.

Манера фехтовать у него была старомодная, как у всех пожилых людей, однако он неплохо владел шпагой и дрался хладнокровно, решительно и твердо. Но он не был блестящим бойцом, и его угнетало предчувствие поражения. Я мог бы покончить с ним дюжину раз, но не делал этого. Ведь я уже говорил, что мной владел дьявол.

Так оно и было. Я измучил моего противника. Я теснил его, заставил повернуться лицом к луне, так что ему трудно было меня разглядеть, — ведь я дрался в собственной тени. А пока я играл с ним, пока он пыхтел и задыхался, как я ему обещал, Паскини, опираясь головой на руку, смотрел на нас, выкашливая и выплевывая свою жизнь.

— Ну, де Гонкур, — объявил я наконец, — вы знаете, что вы в моих руках. Я могу заколоть вас десятком способов, — так будьте готовы, потому что я выбираю вот этот.

И, говоря это, я просто перешел от квартиры к терции, а когда он, растерявшись, начал широко парировать, я вернулся в квартиру, подождал, пока он откроется, и пронзил его насквозь на высоте сердца. И, увидя конец нашей схватки, Паскини перестал цепляться за жизнь, упал лицом в траву, вздрогнул и затих.

— Ваш хозяин лишится за эту ночь четырех своих слуг, — сообщил я Виллардуэну, как только мы начали бой.

И что за бой! Этот провинциал был нелеп. В какой только деревенской школе он обучался фехтованию! Каждое его движение было неуклюжим и смешным. «С ним я покончу быстро и просто», — решил я, а он наступал на меня, словно обезумев, и его рыжие волосы стояли дыбом от ярости.

Увы, его неуклюжесть и погубила меня. Пока я играл с ним и смеялся над ним, называя его грубым, деревенщиной, он от злости забыл даже те немногие приемы, которые знал. Взмахнув шпагой, словно это была сабля, он со свистом разрезал ею воздух и ударил меня по голове. Я остолбенел от изумления: что могло быть нелепее! Он совсем открылся, и я мог бы проткнуть его насквозь. Но я остолбенел от изумления и в следующую секунду почувствовал укол стального острия: этот неуклюжий провинциал пронзил меня насквозь, рванувшись вперед, словно бык, так что рукоятка его шпаги ударила меня в бок, и я отступил назад.

Падая, я увидел растерянные лица Ланфранка и Боэмона и довольную ухмылку наступавшего на меня Виллардуэна. Я падал, но так и не коснулся травы. Замигал ослепительный свет, раздался оглушительный грохот, наступил мрак, забрезжило смутное сияние, меня охватила грызущая, рвущая на части боль, и я услышал чей-то голос:

— Я ничего не нащупываю.

Я узнал этот голос. Это был голос начальника тюрьмы Азертона, и я вспомнил, что я — Даррел Стэндинг, который вернулся через века в пыточную рубашку Сен-Квентина. Я знал, что пальцы, касавшиеся моей шеи, принадлежат доктору Джексону. И тут послышался голос доктора:

— Вы не умеете нащупывать пульс на шее. Вот тут, прижмите свои пальцы рядом с моими. Чувствуете? А, я так и думал. Сердце бьется слабо, но ровно, как хронометр.

— Прошли только сутки, — заметил капитан Джеми, — а он никогда прежде не бывал в таком состоянии.

— Притворяется, и больше ничего, можете побиться об заклад, — вмешался Эл Хэтчинс, главный староста.

— Ну не знаю, — продолжал капитан Джеми. — Если пульс так слаб, что только врач может его нащупать.

— Подумаешь! Я ведь тоже прошел обучение в рубашке, — насмешливо сказал Эл Хэтчинс. — И сколько раз вы меня расшнуровывали, капитан, думая, что я отдаю Богу душу. А я-то еле удерживался, чтобы не рассмеяться вам прямо в лицо.

— Ну, а вы что скажете, доктор? — спросил начальник тюрьмы.

— Я же говорю вам: сердце работает великолепно, — последовал ответ, — хотя, конечно, слабовато, но этого можно было ожидать. Хэтчинс совершенно прав. Он притворяется.

Большим пальцем он оттянул мне веко, и я открыл один глаз и посмотрел на склонившиеся надо мной лица.

— Ну, что я говорил! — торжествующе воскликнул доктор Джексон.

Тогда я напряг всю свою волю и, хотя мне казалось что мое лицо вот-вот лопнет, все-таки улыбнулся.

К моим губам поднесли кружку с водой, и я жадно напился.

Следует помнить, что все это время я беспомощно лежал на спине и мои руки были прижаты к бокам внутри рубашки. Затем мне предложили еду — черствый тюремный хлеб, но я помотал головой и закрыл глаза, показывая, что мне надоело их присутствие.

Боль воскресения была невыносима. Я чувствовал, как оживает мое тело. Казалось, что шею и грудь колют тысячи булавок и иголок, а в моем мозгу не угасало яркое воспоминание, что Филиппа ждет меня в большом зале, и я хотел вернуться к половине дня и половине ночи, которые только что прожил в старой Франции.

И пока все мои тюремщики еще стояли рядом, я попробовал выключить ожившую часть моего тела из сознания. Я торопился уйти от них, но меня задержал голос начальника тюрьмы:

— Есть у тебя какие-нибудь жалобы?

Я боялся только одного — что они вынут меня из рубашки, и потому мой ответ вовсе не был отчаянной бравадой: я просто хотел оградить себя от такой возможности.

— Вы могли бы затянуть рубашку потуже, — прошептал я, — она такая просторная, что в ней неудобно лежать, я просто утопаю в ее складках. Хэтчинс дурак. Неуклюжий дурак. Он и представления не имеет о том, как шнуруются рубашки. Начальник, вам следовало бы сделать его старостой ткацкой мастерской. Он добьется куда большей непроизводительности, чем теперешний бездельник, который тоже дурак, но не такой неуклюжий. А теперь убирайтесь вон, если не придумали ничего нового. В этом случае, конечно, оставайтесь. Оставайтесь, милости просим, если в ваши тупые башки взбрело, что вы способны придумать для меня какие-нибудь свеженькие пытки.

— Он ненормальный, настоящий, подлинный ненормальный, — радостно сказал доктор Джексон, преисполняясь профессиональной гордостью.

— Стэндинг, ты и вправду чудо, — заметил начальник тюрьмы. — У тебя железная воля, но я ее сломаю, можешь не сомневаться.

— А у вас кроличье сердце, — отрезал я. — Да получи вы десятую долю того, что я получил в Сен-Квентине, рубашка давно бы выдавила ваше кроличье сердце через эти вот длинные уши.

Удар попал в цель, потому что у начальника тюрьмы действительно были странные уши. Я не сомневаюсь, что они заинтересовали бы

Ломброзо.

— Что касается меня, — продолжал я, — то я смеюсь над вами и от души желаю проклятой ткацкой, чтобы вы сами стали в ней старостой. Ведь вы же пытали меня, как хотели, и все-таки я жив и смеюсь вам в лицо. Вот уж это рекордная непроизводительность труда! Вы даже не в силах убить меня. Что может быть непроизводительнее? Да вы не сумели бы убить даже загнанную в угол крысу, и притом с помощью динамита — настоящего динамита, а не того, который, как вы воображаете, я где-то спрятал.

— Ты хочешь еще что-нибудь сказать? — спросил он, когда я кончил мою язвительную речь.

И тут я вспомнил то, что сказал наглецу Фортини.

— Убирайся прочь, тюремный пес! — ответил я. — Иди визжать у других дверей.

Для такого человека, как Азертон, подобная насмешка из уст беспомощного заключенного была, конечно, непереносимой. Лицо его побелело от ярости, и дрожащим голосом он пригрозил мне:

— Запомни, Стэндинг, я с тобой еще посчитаюсь.

— Как бы не так, — ответил я. — Вы ведь можете только затянуть потуже эту невероятно просторную рубашку. А если это вам не под силу, так убирайтесь вон. И, пожалуйста, не возвращайтесь хотя бы неделю, а еще лучше все десять дней.

Какое наказание мог придумать начальник тюрьмы для заключенного, который уже подвергался самому страшному из них?

Кажется, Азертон все-таки нашел, чем мне пригрозить, но едва он открыл рот, как я, воспользовавшись тем, что мой голос немного окреп, начал петь: «Пой ку-ку, пой ку-ку, пой ку-ку». И я пел, пока дверь моей камеры не захлопнулась, пока не заскрипели замки и пока засовы, завизжав, не вошли в свои гнезда.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Теперь, когда я узнал секрет, воспользоваться им было уже нетрудно. И я понимал: чем чаще это проделывать, тем все будет проще. Достаточно было один раз нащупать линию наименьшего сопротивления, и при каждой последующей попытке это сопротивление будет ослабевать. И действительно, со временем, как вы увидите, мои переселения из тюрьмы Сен-Квентин в другую жизнь стали совершаться почти автоматически.

Едва только начальник тюрьмы Азертон и его подручные ушли, как я через несколько минут уже заставил свое воскресшее тело вновь погрузиться в «малую смерть». Да, это была смерть, но временная, вроде того приостановления жизни, которое возникает под действием хлороформа.

Итак, оторвавшись от всего грязного, низкого и подлого — оупляющего ужаса одиночки и адских мук смиренной рубашки, прирученных мух, духоты, мрака и перестукивания живых мертвецов, — я снова унесся за грань пространства и времени.

Опять на какой-то срок я погрузился во мрак, а затем медленно, постепенно вновь возникло восприятие окружающего, но уже совсем иного. И совсем иного «я». Первым ощущением, проникшим в мое сознание, было ощущение пыли. Сухая, едкая пыль щекотала мне ноздри. Она запеклась на моих губах. Она покрывала лицо, руки и скрипела на кончиках пальцев, когда я тер их друг о друга.

Затем к этому присоединилось ощущение непрерывного движения. Все вокруг меня покачивалось и колыхалось. Я чувствовал сотрясение и толчки, слышал скрип. И я знал, что это скрипят колесные оси и окованные железом колеса, катящиеся по камням и песку. Затем до моего слуха донеслись хриплые, усталые голоса людей, с ворчанием и бранью понукавших медленно бредущих, измученных животных.

Я приоткрыл воспаленные от пыли веки, и тотчас глаза мне снова засыпало песком. Грубые одеяла, на которых я лежал, были покрыты толстым слоем песка. Над головой у меня в пропитанном песчаной пылью воздухе покачивалась парусиновая крыша фургона, и мириады песчинок медленно опускались, танцуя в косых солнечных лучах, пробивавшихся сквозь дыры в парусине.

Я был ребенком, мальчиком лет восьми-деяти, очень усталым и измученным, и такой же усталой и измученной казалась женщина с

изможденным, покрытым пылью лицом, тихонько баюкавшая плачущего младенца. Это была моя мать. Я знал, что это моя мать, совершенно так же, как, поглядывая на плечи возницы, видневшиеся впереди в парусиновом туннеле, я знал, что это мой отец.

Когда я поднялся и начал пробираться между узлами и тюками, наваленными на полу фургона, мать сказала устало и сварливо:

— Неужели ты не можешь посидеть спокойно минутку, Джесси?

Это было мое имя — Джесси. Фамилии своей я не знал и слышал только, как мать называла отца Джоном. И еще у меня сохранилось смутное воспоминание о том, что мне порой доводилось слышать, как другие мужчины называли моего отца «капитан», и я понимал, что он здесь главный и его распоряжения выполняются всеми.

Я забрался на козлы и уселся рядом с отцом. Колеса фургонов и ноги животных поднимали огромные облака пыли.

Она была такой густой, что походила на туман, а склонявшееся к закату солнце светило сквозь эту пылевую завесу тусклым кроваво-красным светом.

И не только в этом свете заходящего солнца было что-то зловещее — на всем, что меня окружало, казалось, лежал какой-то зловещий отпечаток: что-то зловещее было и в расстилавшемся передо мной пейзаже, и в лице моего отца, и в плаче младенца, которого мама никак не могла унять, и в спинах лошадей, утративших всякую окраску от осевшей на них пыли, и в голосе отца, безостановочно понукавшего запряженную в наш фургон шестерку.

Кругом расстилалась пустыня, при одном взгляде на которую щемило сердце. Со всех сторон уходили вдаль голые пологие холмы. Лишь порой где-нибудь на склоне можно было заметить сухой, опаленный зноем кустарник. И снова — голые холмы, песок и камень. Наш путь пролегал по ложбинам между холмами.

Здесь был один песок, и лишь кое-где над ним торчал колючий кустарник да пучки сухой, увядшей травы. И никаких признаков воды, если не считать оврагов, промытых когда-то в незапамятные времена бурными дождевыми потоками.

Только фургон моего отца был запряжен лошадьми. Фургоны двигались гуськом, и, оглядываясь на длинную, извивавшуюся ленту нашего каравана, я видел, что в остальные фургоны впряжены волы. Три-четыре пары волов медленно, с трудом тащили фургон, а рядом с волами, увязая в песке, шли люди с длинными палками и погоняли усталых, упирающихся животных. На одном из поворотов пути я пересчитал все

фургоны — те, что двигались впереди, и те, что следовали за нами. Я знал, что фургонов должно быть сорок, включая наш, так как не раз уже от нечего делать считал их. И сейчас я пересчитал их снова, как делают дети, чтобы развеять скуку, и все фургоны были на месте, все сорок. Большие, неуклюжие, грубо сколоченные, с парусиновым верхом, скрипучие, раскачивающиеся из стороны в сторону, они со скрежетом и хрустом подминали под себя песок и сухую полынь.

Справа и слева от нас вдоль всего каравана ехали десятка полтора всадников — мужчин и молодых парней. У каждого поперек седла лежало длинноствольное ружье. И всякий раз, когда кто-нибудь из всадников приближался к нашему фургону, я видел, что покрытое толстым слоем пыли лицо его так же угрюмо и тревожно, как лицо моего отца. И у моего отца, который правил лошадьми, тоже лежало наготове длинноствольное ружье.

Еще десятка два тощих, как скелеты, волов с разбитыми ногами и натертыми ярмом шеями ковыляли рядом с нашим караваном, и стоило одному из них приостановиться, чтобы пощипать торчавшие из песка клочки сухой травы, как его тотчас принимались гнать вперед пастухи — молодые парни с исхудалыми лицами. Порой какой-нибудь из волов, остановившись, начинал мычать, и в этом мычании тоже было что-то зловещее, как во всем, что нас окружало.

В памяти у меня хранилось смутное воспоминание о том, что когда-то, еще совсем маленьким, я жил на берегу затененной деревьями речки. И пока фургон, покачиваясь, катился вперед, а я трясся на сиденье рядом с отцом, перед моими глазами снова и снова вставала чудесная картина речки, струящейся между деревьями. И мне казалось, что я уже бесконечно давно живу в этом фургоне и все еду и еду куда-то, все вперед и вперед, и вокруг все одни и те же лица.

Но над всем преобладало — и так казалось не только мне одному — ощущение грозящей нам беды, неотвратимого движения навстречу гибели. Наш караван был похож на похоронную процессию. Ни разу не прозвучал смех. Ни разу не слышал я веселых, счастливых голосов. Мир и покой не были нашими спутниками.

Лица мужчин и юношей, сопровождавших нас верхом, были угрюмы, замкнуты и выражали безнадежность. И тщетно вглядывался я в лицо отца, ища хоть тень улыбки. Впрочем, худое, покрытое пылью, освещенное зловещим, кроваво-пыльным огнем заката лицо моего отца не выражало безнадежности или отчаяния. Нет, оно выражало твердую решимость, но было угрюмо, о, так угрюмо и озабоченно, глубоко озабоченно.

Потом словно что-то всколыхнуло караван. Отец поднял голову. Я тоже. И наши лошади подняли свои усталые головы, зафыркали, втягивая ноздрями воздух, и бодрее, без понукания, налегли на постромки. У верховых лошадей тоже прибавилось резвости. А тощие волы припустились вперед чуть ли не галопом.

Это выглядело комично. Несчастные животные едва держались на ногах от слабости и двигались в своей отчаянной спешке до крайности неуклюже. Это были скачущие скелеты, обтянутые грязной, чесоточной шкурой; они было оставили позади своих пастухов, но ненадолго. Затем они снова перешли на шаг — торопливый, спотыкающийся, и пучки сухой травы уже не манили их больше, не заставляли отбиваться в сторону.

— Что случилось? — донесся голос моей матери из глубины фургона.

— Вода, — ответил отец. — Должно быть, это Нефи.

— Благодарение Богу! — отозвалась моя мать. — Может быть, нам удастся купить провизии.

И вот со скрипом и грохотом, раскачиваясь и подпрыгивая, наши неуклюжие фургоны покатили в облаках кроваво-красной пыли по селению Нефи. Около дюжины редко разбросанных домишек или попросту лачуг — вот что представляло собой это селение. А кругом была все та же пустыня. Деревьев не было — голые пески да сухой кустарник. Но все же кое-где виднелись обработанные поля, иной раз обнесенные изгородью. Но здесь была вода. Правда, ручей не струился по дну оврага, однако оно все же было влажным, а в небольших впадинах стояла вода, и наши волы и верховые лошади погружали в нее морду по самые уши. А по берегам росло несколько низкорослых ив.

— Вон, должно быть, мельница Билла Блейка, о которой нам говорили, — сказал отец, указывая на какое-то строение впереди и оборачиваясь к матери, которая от нетерпения высунулась из фургона.

Какой-то старик с длинными, кудлатыми, выгоревшими на солнце волосами, одетый в куртку из оленьей кожи, подъехал к нашему фургону и заговорил с отцом. Тотчас был дан сигнал, и головные фургоны нашего каравана стали заворачивать по кругу.

Место было подходящее, а опыт у нас накопился немалый, и поэтому все было сделано очень быстро и ловко: когда каждый из сорока фургонов стал на свое место, оказалось, что они образовали правильный круг. Затем все пришло в движение, но поднявшаяся суeta тоже выглядела весьма деловой. Из фургонов появились женщины — все такие же усталые, запыленные, как моя мать, — и целая орда ребятишек. Женщин было десятка два, а ребятишек — штук пятьдесят по меньшей мере, и

оказалось, что я знаю их всех уже давно. Женщины сразу принялись готовить ужин.

Мужчины распрягали волов и пускали их на водопой, другие ломали полынь, а мы, ребяташки, подтаскивали ее к кострам, которые начинали уже разгораться. Затем мужчины, разбившись на несколько больших групп, поставили фургоны плотно один к другому, так что передняя часть каждого фургона примыкала к задней другого, а все дышла были повернуты внутрь круга. Большие тормоза были надежно закреплены, но, не удовлетвовавшись этим, мужчины соединяли колеса фургонов цепью. Все это не было внове для нас, ребяташек. Это был сигнал опасности, он означал, что мы сделали привал во враждебной стране. Только один фургон был выдвинут из круга, образуя как бы ворота в загон. Мы знали, что потом, когда настанет время ложиться, животных загонят внутрь, и тогда этот фургон станет на место и будет тоже соединен цепью с другими. А пока еще несколько часов животные будут пастись на воле под присмотром мужчин и ребяташек, пощипывая скудную траву.

В то время как караван располагался на привал, мой отец и еще несколько мужчин — в числе их был и старик с длинными выгоревшими волосами — направились пешком в сторону мельницы, а все остальные, помнится мне, — и мужчины, и женщины, и даже дети, — замерли на месте, провожая их взглядом. Было ясно, что они отправились по какому-то очень важному делу.

Потом, в их отсутствие, пришли другие мужчины, незнакомые, обитатели пустыни Нефи, и принялись бродить вокруг нашего лагеря. Они были белые, как и мы, но лица их показались мне угрюмыми, жесткими, грубыми, и видно было, что они очень злы на всех нас. Они нарочно задевали наших мужчин, стараясь вызвать из нас ссору. Но женщины предостерегали всех наших — и мужчин и юношей — и знаками показывали им, что они не должны вступать в пререкания.

Один из чужих приблизился к нашему костру, где моя мать одна готовила еду. В это время подошел и я с охапкой полыни и остановился, прислушиваясь к их разговору и глядя во все глаза на этого чужого человека, к которому я испытывал ненависть, потому что даже самый воздух вокруг был пропитан ненавистью, и я знал, что у нас в лагере все до единого ненавидят этих людей — таких же белых, как и мы, но вынуждавших нас, делая привал, ставить свои фургоны в круг.

У человека, который стоял возле нашего костра, были холодные, жесткие голубые глаза и пронзительный взгляд. Волосы у него были рыжеватые, щеки бритые, но шею и подбородок снизу до самых ушей

покрывала рыжеватая с проседью борода. Он не поздоровался с моей матерью, и она не поздоровалась с ним. Он просто стоял и пялил на нее глаза. Потом откашлялся и сказал с издевкой:

— Ну что, небось дорого дала бы, чтобы оказаться сейчас у себя в Миссури, верно?

Я заметил, как моя мать сжала губы, стараясь подавить гнев. Она ответила:

— Мы из Арканзаса.

— Понятно, почему вы скрываете, откуда вы пришли, — сказал тот. — Кто, как не вы, изгнали из Миссури избранный Богом народ!

Мать промолчала.

Не дождавшись от нее ответа, он продолжал:

— А вот теперь вы побираетесь и скулите, выпрашивая корку хлеба у нас, которых гнали и преследовали.

И в это мгновение, хоть я был еще совсем ребенком, багровая ярость — наследие далеких предков, вспыхнула во мне, застав глаза кровавым туманом.

— Ты врешь! — взвизгнул я. — Мы не из Миссури. Мы не скулим. Мы не побираемся. Мы хотим купить на свои деньги.

— Замолчи, Джесси! — прикрикнула мать и зажала мне рот рукой. Обернувшись к чужому, она сказала: — Уходи, оставь ребенка в покое.

— Я тебя продырявлю насквозь, проклятый мормон! — захлебываясь слезами, взвизгнул я, прежде чем моя мать успела снова зажать мне рот, и отпрыгнул за костер, увертываясь от ее занесенной руки.

Но чужой не обратил никакого внимания на мои выкрики. Я ждал, что этот страшный человек гневно обрушится на меня, и был готов к любому жестокому возмездию. Я с вызовом смотрел на него, а он молча и внимательно разглядывал меня.

Наконец он заговорил, и речь его звучала торжественно и сопровождалась торжественным покачиванием головы; он был похож на судью, выносящего приговор.

— Каковы отцы, таковы и дети, — сказал он. — Молодые ни чуть не лучше стариков. Весь ваш род проклят и обречен на погибель. Нет вам спасения, никому нет спасения — ни молодым, ни старым. И нет прощения. Даже кровь, пролитая за вас Христом, не может искупить ваших беззаконий.

— Проклятый мормон! — только и мог выкрикнуть я прерывающимся голосом. — Проклятый мормон! Проклятый мормон! Проклятый мормон!

Я выкрикивал свои проклятия, прыгая у костра и увертываясь от

карающей руки моей матери, пока чужой не отошел.

Когда мой отец и сопровождавшие его мужчины возвратились, все бросили работу и в тревожном ожидании столпились вокруг них. Отец покачал головой.

— Они не хотят ничего нам продать? — спросила одна из женщин.

Отец снова покачал головой.

Тут высокий мужчина лет тридцати, с белокурой бородой и светло-голубыми глазами решительно протиснулся сквозь толпу к моему отцу и сказал:

— Говорят, у них муки и провизии запасено на три года, капитан. И прежде они всегда продавали переселенцам. А теперь не желают. Но ведь мы-то здесь ни при чем. Ведь они с правительством не ладили, а вымещают на нас. Это не дело, капитан. Это не дело, говорю я. У нас тут женщины и ребятишки, а до Калифорнии еще не один месяц пути. И впереди голая пустыня. А зима уже на носу. Как мы пойдем через пустыню, когда у нас нет припасов?

Он оборвал свою речь и повернулся к нам.

— А ведь никто из вас еще не знает, что такое настоящая пустыня. Здесь — это еще не пустыня. Говорю вам, здесь — это рай, да, да, это райские пастбища, молочные реки и кисельные берега по сравнению с тем, что ждет нас там, впереди. Вот что, капитан, мы должны прежде всего раздобыть муки. И если они не хотят продать нам, значит, мы должны взять ее сами.

Тут многие мужчины и женщины громкими криками выразили свое одобрение, но мой отец поднял руки, и они притихли.

— Я согласен со всем, что ты сказал, Гамильтон, — начал отец. Но тут все закричали снова, оглушил его голос, и отец опять поднял руку. — Я согласен со всем, но есть одно обстоятельство, которое ты забыл принять во внимание, Гамильтон... а об этом ми ты, ни я, никто не должен забывать. Бригем Юнг объявил военное положение, а у Бригема Юнга есть войско. Мы можем стереть Нефи с лица земли одним махом, нам это не труднее, чем овце махнуть хвостом, — и забрать всю провизию, какую нам удастся увезти. Но только далеко мы ее не увезем. Бригемовские «святые» настигнут нас и сотрут с лица земли, и им это тоже будет не труднее, чем овце махнуть хвостом. И ты это знаешь, и я это знаю, и все мы это знаем.

Его слова были убедительны, но толпу и не нужно было убеждать. То, что он сказал, отнюдь не было новостью. Они просто забыли об этом на минуту от волнения и от ужаса перед нашим бедственным положением. Я не хуже всякого другого готов драться за правое дело, продолжал мой отец.

Да только мы сейчас не можем ввязываться в драку. Если начнутся неприятности, нам несдобровать. А мы должны помнить о наших женщинах и детях. Мы должны держаться мирно, чего бы это нам ни стоило, и терпеть, какую бы напраслину на нас ни возводили.

— А что мы будем делать в пустыне? — воскликнула какая-то женщина, кормившая грудью младенца.

— Прежде чем мы попадем в пустыню, у нас на пути будет еще несколько селений, — ответил отец. — В шестидесяти милях к югу будет Филмор. Затем Корн-Крик. Еще через пятьдесят миль — Бивер. Затем — Парован. Оттуда двадцать миль до Сидар-Сити. И чем дальше будем мы уходить от Соленого Озера, тем больше надежды, что нам будут продавать провизию.

— А если не будут? — снова спросила та же женщина.

— Так или иначе, мы уйдем от них далеко, — сказал мой отец. — Сидар-Сити — последнее селение. Нам останется только одно: идти вперед и благодарить небо, что нам удалось от них уйти. Еще два дня пути, и мы доберемся до хороших пастбищ и воды. Эта местность называется Горные Луга. Там нет поселений, и там мы можем дать отдых нашим волам и лошадям и подкормить их, прежде чем вступим в пустыню. Может быть, нам удастся настрелять дичи. А уж на самый худой конец мы будем двигаться вперед, пока сможем, потом бросим наши фургоны, навьючим самое необходимое на лошадей и пойдем дальше пешком. По дороге мы будем резать волов и питаться ими. Лучше уж добраться до Калифорнии нагишом, чем сложить наши кости здесь. А мы их сложим здесь, если ввяжемся в драку.

Еще несколько слов предостережения — не вступать в перебранку и не пускать в ход кулаки, — и все разошлись по своим фургонам.

Я долго не мог заснуть в ту ночь. Ярость, вспыхнувшая во мне против мормона, так меня взбудоражила, что я все еще лежал с открытыми глазами, когда мой отец забрался в фургон, в последний раз обойдя и проверив все ночные посты. Родители думали, что я сплю, но я не спал и слышал, как мать спросила отца, дадут ли нам мормоны мирно пройти через их владения.

Отец отвернулся от нее — он стаскивал с ноги сапог — и ответил бодрым, уверенным тоном, что мормоны, конечно, нас не тронут, если никто из наших не затеет с ними ссоры.

Но мне хорошо видно было лицо отца, освещенное слабым светом самодельной сальной свечи, и выражение его лица никак не вязалось с уверенностью, звучавшей в голосе. Я уснул с тяжелым чувством нависшей

над нами страшной беды, и всю ночь меня преследовал Бригем Юнг, которого моя детская фантазия превратила в страшное, злобное чудовище — настоящего сатану с рогами и хвостом.

* * *

И пробудился на полу своей одиночной камеры, в тисках смиренной рубашки. Надо мной склонялись все те же четверо: начальник тюрьмы Азертон, капитан Джеми, доктор Джексон и Эл Хэтчинс. Я заставил свои губы растянуться в улыбке и напруг все силы, чтобы не потерять власти над собой, потому что возобновившееся кровообращение причиняло мне нестерпимую боль.

Я выпил воды, которую они поднесли к моим губам, и отказался от предложенного мне хлеба — все это молча. Я закрыл глаза и постарался возвратиться назад в Нефи, в кольцо наших скованных цепью фургонов. Но пока непрощенные посетители стояли возле меня и разговаривали, мне не было избавления.

Волей-неволей мне пришлось выслушать часть их разговора.

— Совершенно то же самое, что и вчера, — заметил доктор Джексон. — Ни малейшей перемены в ту или иную сторону.

— Значит, он может выдержать еще? — спросил начальник тюрьмы.

— И не охнет. Еще сутки выдержит так же легко. Он ненормальный, абсолютно ненормальный. Я бы сказал, что он одурманен каким-то наркотиком, но это, конечно, невозможно.

— Я знаю, что это за наркотик, — сказал начальник тюрьмы. — Это его проклятая сила воли. Говорю вам, стоит ему захотеть — и он пройдет босиком по раскаленным камням, как гавайские жрецы, и глазом при этом не моргнет.

Быть может, именно это слово «жрецы» я унес с собой, когда снова погрузился во мрак небытия. Быть может, оно послужило отправной точкой. А быть может, это было просто совпадение.

Но как бы то ни было, когда я очнулся, оказалось, что я лежу на спине на грубом каменном полу и руки у меня сложены на груди так, что локоть одной рукой упирается в ладонь другой.

Лежа так, с закрытыми глазами, я еще полу-бессознательно потер ладонями локти и нащупал огромные мозоли. Я не испытал при этом удивления. Мозоли существовали уже давно, это было нечто само собой разумеющееся.

Я открыл глаза. Я находился в небольшой пещере, фута три в высоту и футов двенадцать в длину. В пещере было нестерпимо жарко. Пот крупными каплями выступал у меня из всех пор. Время от времени несколько капель, соединившись вместе, ручейком стекали с тела. Одежды на мне не было, если не считать грязной тряпицы, опоясывавшей чресла. Солнце сожгло мою кожу, сделав ее красновато-коричневой. Я был невероятно худ и созерцал свою худобу со странным чувством гордости, словно достичь такой худобы было подвигом. С особенным восторгом любовался я моими торчащими ребрами. Один только вид глубоких впадин между ними наполнял меня ликованием или, точнее сказать, ощущением собственной святости.

На коленях у меня были такие же мозоли, как и на локтях.

Грязь покрывала меня, точно короста. Моя борода, по-видимому, некогда белокурая, а теперь пятнисто-коричневая от грязи, клокастой, свалившейся массой лежала у меня на груди. Мои длинные волосы, такие же грязные и всклокоченные, падали мне на плечи и на глаза, мешая смотреть, так что временами я был вынужден отбрасывать их со лба рукой. Впрочем, это случалось редко, обычно я предпочитал просто смотреть сквозь них, как дикий зверь сквозь чащу.

За узкой щелью входа в пещеру синей стеной сияло полуденное небо. Полежав немного, я выполз из пещеры и улегся в еще более неудобной позе на узком выступе скалы прямо под палящими лучами солнца. Оно нещадно жгло меня, это страшное солнце, и чем сильнее оно меня жгло, тем больше я упивался им, а вернее, самим собой, тем, что я — господин своего тела и остаюсь глух к его протестам и жалобам. Почувствовав под собой острый — но не слишком острый — выступ камня, я принялся усиленно извиваться, терзая свою плоть в экстазе самоистязания и самоочищения.

День был удушливо зноен. Даже самое легкое дыхание ветерка не веяло над речной долиной, на которую время от времени устремлялся мой взор. Сотнями футов ниже у подножия скалы, на которой я лежал, лениво катила свои воды широкая река. Противоположный берег ее был полог и переходил в песчаную равнину, тянувшуюся до самого горизонта. Над водой клонились купы пальм.

На моем берегу вздымались величественные выветрившиеся утесы, в которые полукругом врезалась река. В глубине полукруга, хорошо видные мне с моего выступа, высились четыре колоссальные фигуры, высеченные в скале. Это были статуи, изображавшие мужчин. Четыре колосса сидели, положив на колени кисти искрошившихся рук, устремив взгляд вдаль, на реку. Во всяком случае, три колосса смотрели именно туда. От четвертого

остались только ноги и огромные кисти рук, покоившиеся на коленях. У ног его лежал сфинкс, казавшийся до смешного маленьким. И все же моя голова достала бы ему только до плеча.

Я смотрел на эти изваяния с презрением, а потом плюнул в их сторону. Я не знал, кого они изображают — позабытых богов или неведомых царей, но для меня они являлись олицетворением суетности и тщеты земной жизни и земных желаний.

А над всем этим — над широкой излучиной реки и над простором песков, уходящих к горизонту, — висел ослепительно золотой купол неба, не затуманенный ни единым облачком.

Текли часы. Я испепелял себя на солнце. Но временам я переставал ощущать и жару и боль, забываясь в полудремоте, сотканной из видений, грез и воспоминаний. Я знал, что все окружавшее меня: и выветрившиеся колоссы, и река, и пески, и солнце, и спящий купол неба — может вот-вот исчезнуть. Загремят трубы архангелов, звезды упадут с неба, разверзнутся небеса, и Бог-вседержитель вместе со своим воинством сойдет на землю для последнего суда.

Но вера моя была глубока, и я был готов к этому грозному событию. Недаром я лежал здесь в отрешении, во прахе, в муках.

Я был смирен и жалок и исполнен презрения к нуждам и страстям своего бренного тела. И с не меньшим презрением и с некоторым злорадством я вспоминал о далеких городах на равнине, где я жил когда-то, о городах, утопающих в богатстве и похоти и не помышляющих даже о конце света, который так близок. Ну что ж, скоро, очень скоро они увидят свой последний час, и тогда будет уже поздно. Увижу и я. Но я готов. И под их вопли и стенания я восстану из праха, возрожденный к новой, вечной жизни, и по праву займу заслуженное место в Божьем граде.

В промежутках между видениями и снами, в которых я уже видел себя в Божьем граде, я перебирал в памяти все старинные разногласия и споры. Да, Новатиан был прав, утверждая, что раскаявшийся отступник не может быть принят обратно в лоно церкви. Также не могло быть никакого сомнения в том, что сабеллианизм — порождение дьявола. А Константин — главный пособник сатаны. Снова и снова я размышлял над триединством Бога, снова и снова вспоминал учение Ноэта, сирийца. Но еще с большим удовольствием я вспоминал рассуждения моего любимого учителя Ария. В самом деле, если только человеческий разум в состоянии что-либо постичь, представляется несомненным, что было время, когда Сын еще не существовал — ведь это заложено в самой природе понятия «сын». Да, в самом понятии «сын» заложена мысль о времени, ранее

которого сына не существовало.

Ведь отец должен быть старше сына. Утверждать обратное было бы кощунством и сомнениями в величии Бога.

И я вспоминал годы моей юности, когда я сидел у ног Ария, который был епископом в Александрии, прежде чем еретик и богохульник Александр лишил его сана. Александр — сабеллианит, вот кто он был таков, и ему уготована геенна огненная.

Да, я присутствовал на соборе в Никее и был свидетелем того, как этот собор не поддержал истинного учения. И я помнил, как император Константин изгнал Ария за его праведность. И я помню, как Константин, блюдя интересы государства, раскаялся в содеянном и приказал Александру — другому Александру, трижды проклятому епископу Константинопольскому, — на следующий день дать Арию причастие. И разве не упал Арий бездыханным на улице в ту же ночь? Говорили, что смертельная болезнь внезапно поразила его по молитве Александра. Но я говорил, и так говорили мы все, ариане, что эта внезапная смертельная болезнь была порождена ядом, яд же был дан ему Александром, епископом Константинопольским, отравителем, орудием дьявола.

И, вспоминая это, я истязал свое тело, извиваясь на острых камнях, и громко бормотал, опьяненный своей верой:

— Пусть язычники и евреи подвергают нас осмеянию. Пусть торжествуют — недолговечно их торжество. И не будет для них спасения во веки веков!

Так часами я разговаривал сам с собой, лежа на скалистой площадке, нависшей над рекой. Меня лихорадило, и время от времени я отпивал глоток воды из вонючего козьего меха. Я повесил его на самом солнцепеке, чтобы шкура воняла еще больше, а теплая вода не утоляла жажды и не освежала. Здесь же лежали и мои припасы — прямо на грязном полу пещеры: несколько кореньев и кусок заплесневелого ячменного хлеба, — но я не притрагивался к пище, хотя и был голоден.

Весь этот благодатный, долгий, как целая жизнь, день я только и делал, что потел, жег свою кожу на солнце, терзал тело об острые камни, глядел в даль пустыни, ворошил старые воспоминания, дремал, грезил наяву и бормотал вслух.

А когда солнце село, в быстро сгущавшихся сумерках я бросил последний взгляд на этот мир, который должен был так скоро исчезнуть. У ног каменных изваяний я различал крадущиеся фигуры диких зверей, которые устроили себе логовища среди некогда горделивых созданий рук человека. И под завывание зверей я заполз в свою пещеру и, продолжая

бормотать молитвы и в лихорадочных грезах призывать наступление конца света, погрузился постепенно в сон и мрак.

* * *

Я очнулся у себя в одиночке. Четверо мучителей стояли возле меня.

— О богохульствующий еретик, начальник тюрьмы Сен-Квентин, тебе уготована геенна огненная, — насмешливо сказал я, отхлебнув глоток воды, которую они поднесли к моим губам. — Пусть торжествуют тюремщики и тюремные старосты со своими прихвостнями! Торжество их недолговечно, и не будет для них спасения во веки веков.

— Он рехнулся, — убежденно сказал начальник тюрьмы.

— Он издевается над вами! — Доктор Джексон был куда ближе к истине.

— Но он отказывается принимать пищу, — возразил капитан Джеми.

— Велика важность! Он может пропоститься сорок дней, и это ему ничуть не повредит, — сказал доктор.

— И я уже постился, — сказал я. — И еще сорок ночей вдобавок. Сделайте мне одолжение — затяните потуже смирительную рубашку и затем уберите отсюда.

Главный староста Хэтчинс попробовал просунуть палец под шнуровку моей смирительной рубашки.

— Тут и на четверть дюйма больше не затянуть, хоть воротом тяни, — заверил он.

— Есть у тебя какие-нибудь жалобы, Стэндинг? — спросил меня начальник тюрьмы.

— Да, — ответил я. — Две жалобы.

— А именно?

— Во-первых, — сказал я, — эта смирительная рубашка непомерно просторна. Хэтчинс — осел. Он мог бы затянуть ее еще на целый фут, если бы как следует постарался.

— Ну а вторая жалоба? — спросил начальник тюрьмы Азертон.

— А вторая жалоба состоит в том, что вы порождение дьявола, начальник.

Капитан Джеми и доктор Джексон не сумели подавить смешка, а начальник тюрьмы, проворчав что-то, повернулся к двери.

Оставшись один, я постарался снова погрузиться в первозданный мрак и перенестись назад к каравану, остановившемуся на привал в Нефи. Мне хотелось узнать исход этого трагического передвижения сорока больших фургонов по суровому, враждебному краю. А какая судьба постигла тощего отшельника с его истерзанными о камни боками и запасом вонючей воды, — это меня несколько не интересовало. И я вернулся обратно, но не к берегам Нила и не к каравану в Нефи, а к...

Но здесь, читатель, я должен прервать свое повествование, чтобы объяснить кое-что и тем сделать все, что я собираюсь рассказать, более понятным для тебя. Это необходимо, потому что у меня остается мало времени на мои «воспоминания в смиренной рубашке». Скоро, очень скоро меня выведут из этой камеры и повесят. Но если бы даже мне предстояло прожить еще тысячелетие, и тогда я не смог бы передать вам во всех подробностях то, что узнал в смиренной рубашке. Словом, я должен быть краток.

Прежде всего, Бергсон прав. Жизнь невозможно объяснить с помощью чисто рационалистических понятий. Когда-то Конфуций сказал: «Если мы так мало знаем о жизни, что можем мы знать о смерти?» А ведь мы и в самом деле так мало знаем о жизни, что даже не можем дать ей определение. Мы воспринимаем жизнь только в ее внешних проявлениях — как феномен; так дикарь может воспринимать динамо-машину. Но жизнь как ноумен для нас совершенно непостижима, мы ничего не знаем о внутренней сущности жизни.

Далее, Маринетти не прав, когда он утверждает, что материя — это единственная тайна и единственная реальность. Я утверждаю, и, как ты понимаешь, читатель, утверждаю с полным на то правом, что материя — это единственная иллюзия. Конт называет мир (что в данном случае равносильно материи) великим фетишем, и я согласен с Контом.

Жизнь — вот что и реальность и тайна. Жизнь безгранично шире, чем просто различные химические соединения материи, принимающие те или иные формы. Жизнь — нечто непрекращающееся. Жизнь — это неугасающая огненная нить, связующая одну форму материи с другой. Я знаю это. Жизнь — это я сам.

Я жил в десяти тысячах поколений. Я жил миллионы лет. Я обладал множеством различных тел. И я, обладатель всех этих тел, продолжал и продолжаю существовать. Я — жизнь. Я неугасимая искра, вечно

сверкающая в потоке времени, изумляя и поражая, вечно творящая свою волю над бренными формами материи, которые зовутся телами и в которых я лишь временно обитаю.

Посудите сами. Вот этот мой палец, столь восприимчивый и столь чувствительный, обладающий такой тонкой и многообразной сноровкой, такой крепкий, сильный, умеющий сгибаться и разгибаться с помощью целой хитроумной системы рычагов — мышц, — этот мой палец не есть я. Отрубите его. Я жив.

Тело искалечено, но я не искалечен. Я, то есть дух, по-прежнему цел.

Отлично. Отрубите мне все пальцы. Я — это по-прежнему я.

Дух ничего не утратил. Отрубите мне кисти рук. Отрубите мне обе руки по самые плечи. Отрубите мне обе ноги по самые бедра. И я, несокрушимый и неразрушимый, я продолжаю существовать. Разве меня стало меньше оттого, что искалечено тело, оттого, что от него отрублены куски? Разумеется, нет. Отрежьте мне волосы. Отрежьте нос, губы, уши острой бритвой. Вырвите даже глаза из глазниц, и, замурованный в этом безликом черепе, соединенном шеей с обручком торса, там, в этой телесной камере, состоящей из химических соединений и клеток, там по-прежнему буду я, все тот же я, целый и невредимый.

А сердце все еще бьется? Отлично! Вырежьте сердце или, еще лучше, швырните остатки моего тела в мясорубку с тысячью ножей и искрошите его на мельчайшие куски, и тогда я, — вы понимаете, я, дух и тайна, живой огонь и жизнь, — унесусь прочь, но не погибну. Погибнет только тело, а тело — это еще не я.

Я верю, что полковник Дерош говорил правду, когда утверждал, что, загипнотизировав девуцу Жозефину, он послал ее обратно через все восемнадцать лет ее жизни, через мрак и безмолвие, предшествовавшие ее рождению, к свету ее предыдущей жизни, когда она была прикованным к постели стариком, артиллеристом в отставке Жаном Клодом Бурдоном. И я верю, что полковник Дерош и в самом деле загипнотизировал вновь пробужденную к жизни тень старика и силой своей воли послал ее через все семьдесят лет его жизни назад, во мрак и безмолвие, и из мрака и безмолвия еще дальше — к свету тех дней, когда он существовал в образе злой старухи Филомены Картерон.

Я ведь уже открыл тебе, читатель, что когда-то давно я обитал в разнообразнейших сплавах материи и был в разные времена то графом Гильомом де Сен-Мором, то безымянным, тощим и грязным отшельником в Египте, то мальчишкой по имени Джесси, чей отец вел караван в сорок фургонов во время большого переселения на запад. И разве теперь, когда я

пишу эти строки, я не Даррел Стэндинг, бывший профессор агрономии сельскохозяйственного факультета Калифорнийского университета, ныне приговоренный к смерти и содержащийся в Фолсемской тюрьме?

Материя — величайшая иллюзия. Другими словами, материя проявляет себя в той или иной форме, а форма — это лишь видимость. Где теперь выветрившиеся утесы и скалы старого Египта, куда, как дикий зверь в берлогу, скрылся я когда-то, чтобы грезить о Божьем граде? Где теперь тело Гильома де Сен-Мора, пронзенное шпагой огненно-рыжего Ги де Виллардуэна на залитой лунным светом лужайке? Где теперь сорок больших фургонов, стоявших плотным кольцом в селении Нефи, и где все мужчины, женщины, и дети, и отощавший скот, укрывавшиеся внутри этого кольца? Ничего этого больше нет, ибо то была лишь форма, в которую вылилась нестойкая материя, существовавшая, пока не распалась эта форма, и вот все это сгинуло и более не существует.

Теперь, думается, уже ясно, что я хочу сказать. Дух — вот реальность, которая не гибнет. Я — дух, и я существую.

Я, Даррел Стэндинг, обитатель многих телесных оболочек, прибавлю еще какое-то количество строк к этим воспоминаниям и отправлюсь дальше. Форма, то есть мое тело, распадется на части, после того как я буду добросовестно повешен за шею, и вскоре в мире материи от этой формы не останется и следа. Но в мире духа останется нечто — останется память обо мне. У материи нет памяти, ибо ее формы быстротечны и все, что претерпевает эта форма, гибнет вместе с ней.

Еще несколько слов, прежде чем я возвращусь к моему повествованию. Во всех моих возвращениях сквозь мрак времени к другим существованиям, которые были когда-то моими, мне ни разу не удавалось направить свой путь к определенной цели.

Так, например, прежде чем я получил возможность возвратиться к мальчику Джесси в Нефи, мне пришлось испытать еще немало различных судеб, которые были когда-то моей судьбой. Пожалуй, после того как я покинул Джесси в Нефи, я возвращался к нему не один десяток раз, начиная еще с того времени, когда он был совсем малышом и жил в арканзасском поселке. И не меньше десятка раз я заново переживал то, что случилось после стоянки в Нефи. Описывать все это было бы пустой тратой времени. И потому без ущерба для правдивости моего повествования я опущу многое, что представляется мне смутным, неясным и повторяющимся, и опишу только факты, в том виде, как я собрал их — разрозненные во времени — воедино и оживил в моей памяти.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Задолго до рассвета лагерь в Нефи был уже на ногах. Волон и лошадей погналы на пастбища и к водопою. Пока мужчины расцепляли фургоны и откатывали их в сторону, чтобы удобнее было запрягать, женщины готовили сорок завтраков у сорока костров.

Ребятишки, иззябшие в предутренней прохладе, жались поближе к огню. Кое-где рядом с ними дремали дозорные из ночного караула в ожидании кружки кофе.

Чтобы поднять такой большой караван, как наш, требуется время, и тут спешкой не поможешь. Солнце уже с час как стояло в небе, и нестерпимый зной давно разлился над землей, когда наши фургоны, покинув селение, покатыли по безлюдным пескам. Ни одна живая душа не вышла нас проводить. Все предпочли остаться в своих лачугах, и от этого в нашем отъезде из Нефи было что-то столь же зловещее, как и в нашем появлении там накануне вечером.

И снова час за часом — испепеляющая жара, удушливая пыль, пески, редкие кусты, проклятая Богом земля. Вокруг ни поселений, ни стад, ни изгородей — ни единого признака человека.

К ночи мы сделали привал, снова расположив наши фургоны кольцом у русла пересохшего ручья. В его влажном дне мы вырыли много ям, в которые постепенно просочилась вода.

О нашем дальнейшем путешествии у меня сохранились довольно отрывочные воспоминания. Мы столько раз делали привал, ставя при этом фургоны в круг, что в моем детском мозгу этот наш путь после ночевки в Нефи запечатлелся как нечто совершенно бесконечное. Но над всем преобладало никогда не покидавшее всех нас чувство, что мы движемся навстречу гибели, неотвратимой, как судьба.

Мы делали около пятнадцати миль в день. Я знаю это потому, что, по словам моего отца, до Филмора — следующего поселения мормонов — было шестьдесят миль, а мы сделали на этом пути три остановки и, следовательно, добрались туда за четыре дня.

А до последнего привала, который остался у меня в памяти, мы добирались из Нефи около двух недель.

В Филморе жители были настроены враждебно, как и повсюду на нашем пути от Соленого Озера. Они поднимали нас на смех, когда мы просили продать нам провизии, и осыпали нас бранью, называя

миссурийцами.

Когда мы въехали в это селение, состоявшее из двенадцати домов, мы заметили, что перед самым большим домом стоят две верховые лошади, грязные, взмыленные, едва державшиеся на ногах. Старик с выгоревшими на солнце волосами, в куртке из оленьей кожи, о котором я уже упоминал и который, по-видимому, был помощником моего отца, подъехал к нашему фургону и кивком указал на этих загнанных лошадей.

— Не пожалели коней, капитан, — пробормотал он вполголоса. — А из-за кого, скажи на милость, понадобилось им устраивать скачку, если не из-за нас?

Но мой отец уже обратил внимание на этих лошадей, что не укрылось от моих зорких глаз. Я видел, как загорелся его взгляд, как сжались губы и глубже залегли морщины на запыленном лице. Вот и все. Но я сопоставил одно с другим и понял: эти две взмыленные лошади — еще один признак грядущей нам беды.

— Как видно, боятся оставить нас без присмотра, Лаван, — сказал мой отец и не прибавил больше ни слова.

Там, в Филморе, я впервые увидел человека, которого мне потом довелось увидеть еще не раз. Это был высокий, широкоплечий мужчина средних лет, все в нем дышало здоровьем и недюжинной силой — силой не только тела, но и духа. В отличие от большинства мужчин, которых я привык видеть вокруг, он не носил бороды, а двух-трехдневная щетина на подбородке была с сильной проседью. У него был необыкновенно большой рот с тонкими, плотно сжатыми губами, создававшими впечатление, что у него не хватает передних зубов. Нос у него был большой, широкий, массивный. Лицо — квадратное, с торчащими скулами, тяжелым подбородком и высоким, умным лицом. Глаза у него были небольшие, но мне еще никогда не доводилось видеть таких ярко-синих глаз.

Впервые я заметил этого человека на мельнице в Филморе.

Отец и еще несколько мужчин отправились туда, чтобы купить муки, а я, снедаемый любопытством, презрев запрет матери, потихоньку увязался за ними: очень уж хотелось мне увидеть еще кого-нибудь из наших врагов. Там их оказалось человек пять-шесть, и тот, о ком я говорю, был среди них. Они все время стояли возле мельника, пока наши с ним разговаривали.

— Ты видел этого безбородого негодяя? — спросил Лаван отца, когда, покинув мельницу, они возвращались на стоянку.

Отец кивнул.

— Так вот, это Ли, — продолжал Лаван. — Я видел его в городе Соленого Озера. Это мерзавец, каких мало. Все они говорят, что у него

девятнадцать жен и пятьдесят детей. И притом он еще свихнулся на религии. Ты мне скажи, чего ради гоняется он за нами по этой забытой Богом стране?

Усталые, измученные, мы день за днем медленно брели навстречу своей судьбе. Крошечные поселения, разбросанные среди пустыни, там, где была вода и сносная почва, отстояли друг от друга иногда на двадцать миль, а иногда на пятьдесят. Между ними расстилались солончаки и сухие пески. И в каждом селении наши мирные попытки купить провизию оканчивались неудачей.

Нас встречал грубый отказ.

— А кто из вас продал нам провизии, когда вы прогнали нас из Миссури? — задавали они нам вопрос. Совершенно бесполезно было объяснять им, что мы не из Миссури, а из Арканзаса. Да, мы были из Арканзаса, но они упрямо твердили, что мы из Миссури. В селении Бивер, расположенном в пяти днях перехода к югу от Филмора, мы снова увидели Ли. И снова перед одним из домов стояли взмыленные лошади. Но в Пероване Ли не было.

Последнее поселение на нашем пути называлось Сидар-Сити. Лаван, которого высылали вперед, возвратился и сообщил свои наблюдения отцу. Привезенные им вести были многозначительны.

— Когда я въезжал в поселок, капитан, я видел Ли — он скакал оттуда как бешеный. И в этом поселке что-то многовато верховых.

Однако, когда мы расположились там на привал, все обошлось мирно. Нам только отказались продать провизию, но нам никто не угрожал. Женщины и дети не выглядывали из своих домов, а мужчины если и появлялись поблизости, то не заходили к нам на стоянку и не задевали нас, как в других селениях.

Там, в Сидар-Сити, умер ребенок Уайнрайтов. Я помню, как рыдала миссис Уайнрайт, умоляя Лавана достать хоть немного коровьего молока.

— Молоко может спасти ему жизнь, — твердила она. — А у них есть молоко. Я видела, я сама видела их коров. Прошу тебя, пойди к ним, Лаван! Попроси, попытайся. Тебе ведь это не трудно. Ну, не дадут — только и всего. Но они дадут. Скажи им, что это для ребенка, для маленького ребенка! Женщины-мормонки — такие же матери, как мы, у них есть сердце. Они не откажут грудному ребенку в чашке молока.

И Лаван пошел. Но, как рассказывал он потом отцу, ему не удалось увидеть ни одной мормонки. Он видел только мужчин, и они прогнали его прочь.

Это было последнее поселение мормонов. Дальше простиралась

огромная пустыня, а за ней — сказочная страна, страна наших грез — Калифорния. На рассвете, когда наши фургоны покидали селение, я, сидя на козлах рядом с отцом, слышал, как Лаван дал выход своим чувствам. Мы проехали с полмили и переваливали через гребень невысокого холма, за которым должен был скрыться с глаз Сидар-Сити, и тут Лаван, повернув коня, привстал на стремянах. Он остановил коня у свежесасыпанной могилы, и я понял, что здесь похоронен ребенок Уайнрайтов. Это была не первая могила, которую мы оставляли на своем пути с тех пор, как перевалили через хребет Уосач.

И тут мне и в Лаване почудилось что-то злое. Старый, тощий, с впалыми щеками и торчащими скулами, с выжженными на солнце всклокоченными волосами, падавшими ему на плечи, в своей неизменной оленьей куртке, он был неузнаваем — так исказили его лицо ненависть и бессильный гнев. Держа свое длинноствольное ружье и поводья в одной руке, другой, сжатой в кулак, он грозил Сидар-Сити.

— Будьте вы прокляты, и гнев Господень да падет на всех вас! — крикнул он. — На всех ваших детей и на младенцев во чреве матери! Пусть засуха уничтожит ваши посевы, и пусть вашей пищей станет песок, смешанный с ядом гремучей змеи! Пусть свежая вода в ваших источниках превратится в горькую соль! Пусть...

Тут его слова заглушил стук колес, но тяжело вздымавшаяся грудь и воздетый к небу кулак говорили о том, что он все еще продолжает проклинать. Но он выражал чувства, обуревавшие весь караван, и женщины высовывались из фургонов и грозили костлявыми, изуродованными тяжелой работой кулаками последнему селению страны мормонов. Мужчина, шагавший по песку позади нашего фургона, погоняя волов, засмеялся и потряс своей палкой. Странно прозвучал этот смех, ибо вот уже много дней не слышно было смеха в нашем караване.

— Задай им жару, Лаван! — ободряюще крикнул он. — Да прибавь еще от меня!

Наши фургоны катились вперед, а я все смотрел на Лавана, приподнявшегося на стремянах возле могилы ребенка. Поистине злоею казалась его фигура — длинные волосы, индейские мокасины и украшенные бахромой гетры на ногах... Такой старой и изношенной была его оленья куртка, что на месте красивой некогда бахромы болтались кое-где лишь жалкие волокна, и он стоял в развевающихся отрепьях. Я помню, что у пояса его висели грязные пучки волос, которые, как я давно успел заметить за время нашего пути, после каждого ливня становились черными и блестящими. Я знал, что это скальпы индейцев, и вид их переполнял меня

восторгом и ужасом.

— Теперь он отвел душу, — заметил отец, не столько обращаясь ко мне, сколько про себя. — Уже который день я все ждал, что он сорвется.

— Надо бы ему вернуться и снять два-три скальпа, — высказал я пожелание.

Отец взглянул на меня с лукавой усмешкой.

— Что, не любишь мормонов, сынок?

Я покачал головой, чувствуя, как закипает во мне ненависть, которую я не в силах выразить словами.

— Когда вырасту большой, — сказал я, немного помолчав, — возьму ружье и перестреляю их всех.

— Перестань, Джесси! — донесся голос моей матери из глубины фургона. — Сейчас же перестань. А ты бы постыдился, — продолжала она, обращаясь к отцу, — позволяешь ребенку говорить такое!

Через два дня мы добрались до Горных Лугов, и здесь, вдали от всех поселений, нам уже не было особой нужды смыкать наши фургоны. Их поставили в круг, но с довольно большими промежутками, и не соединили колеса цепью. Мы предполагали прожить тут с неделю. Лошадям и волам надо было дать как следует отдохнуть, прежде чем вступить в настоящую пустыню.

Впрочем, и эта местность мало чем отличалась по виду от настоящей пустыни. Вокруг были все те же пологие песчаные холмы, лишь кое-где поросшие полынью. Однако в песчаных ложбинах между холмами все же попадалась травка. Пожалуй, здесь ее было несколько больше, чем где бы то ни было на нашем пути. Футах в ста от стоянки бил крошечный родник, его воды едва-едва хватало на людей. Однако в некотором отдалении на склоне было еще несколько родничков, и там мы поили наших животных.

В тот день мы разбили лагерь рано, и так как было решено остановиться здесь на неделю, женщины принялись чинить и латать грязную одежду, предполагая на завтра устроить большую стирку. Все в лагере, от мала до велика, работали до самой ночи. Одни мужчины чинили упряжь, другие — фургоны. Весь день в нашем лагере стучали молотками по железу, что-то ковали, крепили какие-то болты и гайки. И мне помнится еще, что Лаван сидел на корточках в тени фургона и, пока не стемнело, шил себе новые мокасины. Он один среди всех наших мужчин носил мокасины и куртку из оленьей кожи, и мне казалось, что я не видел его среди нас, когда мы уходили из Арканзаса. И у него не было ни жены, ни близких, ни своего фургона. Ничего, кроме коня, ружья, одежды, которая была на нем, да двух одеял, лежавших в фургоне у Мейсона.

На следующее утро сбылись все наши зловещие предчувствия. Отдалившись на два дня пути от последнего селения мормонов, зная, что в этой местности нет индейцев, да и не предполагая, что с их стороны нам может грозить какая-нибудь опасность, мы впервые не сомкнули наши фургоны плотным кольцом, не выставили ночных дозорных, оставили без присмотра лошадей и волов.

Мое пробуждение было похоже на кошмар. Словно гром грянул среди ясного неба. В первую минуту, еще не совсем проснувшись и с трудом соображая, я пытался уяснить себе источник всех этих разнообразных звуков, сливавшихся в непрерывный гул. Слышалась пальба — где-то совсем рядом и где-то вдалеке, — крики и брань мужчин, вопли женщин, плач детей. Затем я начал различать глухой стрекот пуль, впивавшихся в деревянные части фургонов, и их пронзительный визг, когда они ударялись о железную обшивку колес — стрелявшие целились слишком низко.

Я хотел подняться, но мать — она сама только что начала одеваться — заставила меня снова лечь. В эту минуту в фургон вскочил отец, который, по-видимому, уже давно был на ногах.

— Живей наружу! — крикнул он. — Живей! Ложитесь на землю!

Он не стал терять времени даром: одной рукой сгреб меня в охапку и вытащил, вернее, вышвырнул — так стремительны были его движения, — из фургона. Я едва успел отползти в сторону, как мать с грудным ребенком на руках, а за ней отец выскочили из фургона прямо на меня.

— Сюда, Джесси! — позвал меня отец, и я тотчас принялся помогать ему рыть яму в песке, укрывшись за колесом фургона.

Мы рыли песок прямо руками и работали как бешеные. Мать тоже начала нам помогать.

— Рой дальше, Джесси, и поглубже, — приказал мне отец.

Он поднялся, побежал куда-то, выкрикивая на ходу распоряжения, и растаял в серых предрассветных сумерках. (Хочу, кстати, упомянуть, что к тому времени я уже узнал свою фамилию. Меня звали Джесси Фэнчер. Мой отец был капитан Фэнчер.)

— Ложитесь! — услышал я его голос. — Укрывайтесь за колесами и зарывайтесь в песок! Все, у кого в фургонах есть женщины и дети, забирайте их из фургонов! Берегите порох! Не стрелять!

Берегите порох и готовьтесь — они сейчас кинутся на нас! Все холостые мужчины из правых фургонов — к Лавану, из левых — к Кокрейну, остальные — ко мне! Не вставайте! Ползком!

Но нападения не последовало. Минут пятнадцать продолжалась частая беспорядочная стрельба. Однако пули не причиняли нам вреда — только в

первую минуту захватившие нас врасплох враги успели ранить и убить поднявшихся спозаранок мужчин, которых озарял свет ими же разожженных костров. Индейцы — Лаван утверждал, что это были индейцы, — залегли где-то между холмами и палили по нашему лагерю. Рассветало, и мой отец опять крикнул, что враги сейчас кинутся на нас. Он находился неподалеку от нашего фургона, за которым, в углублении, вырытом в песке, лежали мы с матерью, и я слышал, как он отдавал команду:

— Приготовиться! Все разом!

Слева, справа и из середины нашего лагеря раздался ружейный залп. Я высунулся немного из своего укрытия и увидел двух-трех упавших индейцев. Остальные тотчас прекратили стрельбу и поспешно побежали обратно, таща своих убитых и раненых.

В ту же секунду у нас все принялись за дело. Фургоны составили в круг, дышлами внутрь, колеса соединили цепью. Я видел, как женщины и совсем маленькие ребятишки со всей мочи налегали на спицы колес, помогая передвигать фургоны. Затем мы подсчитали наши потери. Хуже всего было то, что мы лишились лошадей и волов: их всех до единого угнали. И семь человек лежали у костров, которые они едва успели разжечь. Четверо были убиты, трое смертельно ранены. Были и еще раненые, и женщины уже перевязывали их. Малышу Ришу Хардэйкру пуля попала в руку около плеча. Бедняге не было еще и шести лет, и я глядел, разинув от ужаса рот, как его отец перевязывал ему руку, в то время как мать держала его на коленях. Малыш перестал плакать, но слезы еще блестели у него на щеках, когда он, словно зачарованный, смотрел на серебристый край сломанной кости, торчавшей из раны.

Бабку Уайт нашли мертвой в фургоне Фоксуэлов. Это была грузная беспомощная старуха, которая никогда ничего не делала — сидела и курила трубку. Она была матерью Эбби Фоксуэл.

И миссис Гранг тоже была убита. Ее муж сидел возле ее мертвого тела. Он сидел неподвижно и казался очень спокойным.

Глаза его были сухи. Он просто сидел, положив ружье на колени, и никто не подходил к нему, не тревожил его.

Под руководством моего отца все работали неумоимо, как бобры. Мужчины вырыли большую траншею в центре нашего лагеря и насыпали перед ней бруствер. В нее женщины перенесли из фургонов постели, провизию и все самое необходимое. Ребятишки все как один помогали женщинам. Никто не хныкал, и почти никто не суетился зря. От нас требовалась работа, а мы все с пеленок были приучены к работе.

Большая траншея предназначалась для женщин с детьми.

Под фургонами по всему кольцу был вырыт неглубокий окоп с бруствером. Этот окоп предназначался для мужчин, обороняющих лагерь.

Из разведки вернулся Лаван. Он сообщил, что индейцы отошли примерно на полмили и теперь совещаются. Он видел, как они унесли с поля боя шестерых своих, трое из которых, по его мнению, были уже трупами.

Все утро этого первого дня мы время от времени видели, как вдали густым облаком встает пыль, и знали, что это передвигаются большие отряды всадников. Эти облака пыли все приближались к нам, окружая нас со всех сторон. Но разглядеть что-нибудь сквозь эту пелену пыли было невозможно. Только одно облако двигалось в обратном направлении и вскоре скрылось из глаз. Это было очень большое облако, и все сразу поняли: угоняют наших волов и лошадей. И вот наши сорок больших фургонов, переваливших через Скалистые Горы, пересекших половину континента, беспомощно стояли теперь, сомкнутые в круг. В них некого было запрячь, и путь их обрывался тут.

В полдень Лаван вернулся из второй разведки. С юга прибывают еще индейцы, сказал он. Нас окружают. И тут мы вдруг увидели с десятков всадников, которые въехали на гребень невысокого холма слева от нас и смотрели в нашу сторону. Это были белые.

— Вот оно в чем дело, — сказал Лаван отцу. — Видишь, индейцев на нас натравили.

— Ведь это же белые, как и мы, — услышал я жалобный возглас Эбби Фоксуэл, обращенный к моей матери. — Почему же они не придут нам на помощь?

— Это не белые! — пискнул я, опасливо косясь в сторону матери, чтобы успеть вовремя ускользнуть из-под ее проворной руки. — Это мормоны!

Вечером, едва стемнело, трое наших молодых парней потихоньку выбрались из лагеря. Я видел, как они уходили. Это были Уил Эден, Эйбл Милликен и Тимоти Грант.

— Они пошли в Сидар-Сити за помощью, — объяснил матери отец, торопливо глотая ужин.

Мать покачала головой.

— Мало разве мормонов вокруг нашего лагеря? — сказала она. — Раз они не хотят помочь, а этого что-то незаметно, — значит, и в Сидар-Сиги желающих не найдется.

— Ну, мормоны тоже бывают разные, и среди них есть и плохие люди

и хорошие... — начал отец.

— Нам пока хороших видеть что-то не доводилось, — оборвала его мать.

Только наутро узнал я о возвращении Эйбла Милликена и Тимоти Гранта, но это было первое, что я услышал, едва открыл глаза. Все в лагере упали духом, узнав, какие они принесли вести.

Когда они отошли от лагеря на две-три мили, их окликнули дозорные — все белые. И не успел Уил Эдеи сказать, что они из каравана капитана Фэнчера и направляются в Сидар-Сити за помощью, как его тут же уложили наповал ружейным выстрелом. Милликену и Гранту удалось спастись, и они вернулись в лагерь с этой печальной вестью, которая погасила последнюю надежду в наших сердцах. За спинами индейцев стояли белые, и беда, так давно подстерегавшая нас, надвинулась.

В это утро, когда наши мужчины отправились к роднику за водой, по ним открыли пальбу. Родник бил всего в ста шагах от фургонов, но путь к нему простреливался индейцами, которые теперь расположились на невысоком холме к востоку от лагеря.

Стреляли с близкого расстояния, так как до этого холма было рукой подать, но индейцы, как видно, стрелки были неважные, и наши мужчины доставили в лагерь воду и остались целы и невредимы.

Если не считать нескольких беспорядочных выстрелов по нашему лагерю, утро прошло довольно спокойно. Мы все обосновались в большой траншее и, давно уже привыкнув к трудностям и лишениям, чувствовали себя вполне сносно. Только семьи убитых еще горевали, оплакивая свою утрату, и надо было ухаживать за ранеными. Я то и дело ускользал от матери, сменяемый ненасытным любопытством: мне хотелось знать, что происходит, и, надо сказать, я поспевал всюду. Внутри нашего лагеря, к югу от траншеи, мужчины вырыли яму и похоронили в ней семерых убитых мужчин и двух женщин всех в одной могиле. Одна только миссис Хастингс, потерявшая сразу и мужа и отца, доставляла всем много забот. Она плакала в голос и причитала, и нашим женщинам стоило немалого труда ее успокоить.

На холме к востоку от лагеря индейцы громко вопили, совещаясь о чем-то, однако пока они нас не трогали, и лишь изредка раздавались не приносящие вреда выстрелы.

— Что такое у них гам творится, у этих дьяволов? — не находил себе места Лаван. — Могут они наконец решить, что им, собственно говоря, нужно, и взяться за дело?

После полудня в лагере стало нестерпимо жарко. На небе ни облачка,

солнце палит нещадно, и ни малейшего дуновения ветерка. Мужчины, лежавшие с ружьями в руках в окопе под фургонами, были наполовину в тени, но траншея, в которой укрывалось свыше сотни женщин и детей, была открыта беспощадной ярости солнца. Раненые находились тут же, и над ними мы соорудили навесы из одеял. В траншее было тесно и душно, и я все время старался выскользнуть из нее и перебраться на линию огня и всячески мешкал там, когда мне давали какое-нибудь поручение к отцу.

Мы допустили роковую ошибку, поставив наш лагерь в стороне от родника. Никто не успел подумать об этом в суматохе первого неожиданного нападения: мы спешили, не зная, когда за первой атакой может последовать вторая. А теперь исправлять ошибку было уже поздно. В ста метрах от холма, на котором расположились индейцы, мы не отваживались переставлять наши фургоны. Внутри лагеря, к югу от могил, мы устроили отхожее место, а к центру, к северу от траншеи, мужчины по распоряжению отца принялись рыть колодец.

В тот второй день к вечеру мы снова увидели Ли. Он шел пешком в направлении к северо-западу и пересекал равнину по диагонали на расстоянии, недостижимом для наших пуль. Тут отец связал вместе две палки, взял у матери простыню и прикрепил ее к концу верхней палки. Так мы подняли наш белый флаг. Но Ли не обратил на него никакого внимания и продолжал свой путь.

Лаван хотел было попытаться все же достать его из ружья, но отец помешал ему. Он сказал, что белые еще не решили, должно быть, как им поступить с нами, и если мы начнем стрелять в Ли, это может только толкнуть их на неблагоприятное для нас решение.

— Поди сюда, Джесси, — сказал отец, отрывая большой лоскут от простыни и прикрепляя его к палке. — Возьми это, ступай и попытайся поговорить с этим человеком. Не рассказывай ему ничего о том, что у нас тут происходит. Постарайся только уговорить его прийти сюда и потолковать с нами.

Преисполненный гордости оттого, что мне дано столь важное поручение, я уже готов был пуститься в путь, но тут Джед Дэнхем закричал, что он хочет идти со мной. Джед был моим сверстником.

— Можно твоему мальчику пойти с Джесси, Дэнхем? — обратился мой отец к отцу Джеда. — Вдвоем лучше, чем одному. Они не дадут друг другу озоровать.

И вот Джед и я, девятилетние мальчишки, взяв белый флаг, отправились для переговоров с вождем наших неприятелей.

Но Ли не пожелал разговаривать с нами. Заметив нас, он только

прибавил шаг. Нам так и не удалось приблизиться к нему на расстояние человеческого голоса. А вскоре он, должно быть, и просто спрятался среди полыни, потому что мы так его больше и не увидели, хотя понимали, что он никуда не мог деться.

Мы с Джедом обшарили все заросли полыни ярдов на сто вокруг. Нам не сказали, как долго можем мы отсутствовать, и так как индейцы не стреляли в нас, мы продолжали идти вперед.

Мы ходили так часа два, хотя каждый из нас давным-давно повернул бы обратно, окажись он в одиночестве; но теперь Джед решил во что бы то ни стало доказать, что он храбрее меня, а я совершенно так же был исполнен решимости доказать, что я храбрее его.

Однако наше ребячество принесло и некоторую пользу.

Мы смело бродили по Горным Лугам под прикрытием нашего белого флага, и нам нетрудно было убедиться, каким плотным кольцом осады обложен наш лагерь. К югу, всего в полумиле от нашей стоянки, мы увидели большой лагерь индейцев. За лагерьем был луг, и там скакали на лошадях индейские мальчишки.

Потом мы обследовали стоянку индейцев на восточном холме.

Нам с Джедом удалось забраться на другой холм, откуда можно было заглянуть к ним в лагерь. Мы потратили не меньше получаса, стараясь их сосчитать, и в конце концов установили, довольно приблизительно правда, что их никак не меньше двух сотен. Кроме того, мы заметили среди них белых, которые все время о чем-то горячо с ними разговаривали.

К северо-востоку от нашего лагеря, всего ярдах в четырехстах за грядой невысоких холмов, мы увидели большой лагерь белых, а позади него на равнине паслось около шестидесяти верховых лошадей. А еще дальше к северу, примерно в миле расстояния, мы заметили крошечное облачко пыли, которое ползло к нам. Мы с Джедом стали ждать и увидели одинокого всадника, бешеным галопом проскакавшего в лагерь белых.

Когда мы возвратились к своим, мать встретила меня хорошей оплеухой за то, что я так долго отсутствовал. Но отец выслушал наше сообщение и похвалил и меня и Джеда.

— Похоже, теперь надо ждать нападения, — заметил Эрен Кокрейн отцу. — Этот всадник, о котором рассказывают мальчишки, прискакал туда не зря. Белые ждут откуда-то распоряжения, чтобы выпустить на нас индейцев. Возможно, этот всадник привез им какой-то приказ. Зря гонять лошадей они не стали бы, это ясно.

Через полчаса после нашего возвращения Лаван сделал попытку отправиться на разведку под прикрытием белого флага. Но не успел он и на

двадцать шагов отойти от лагеря, как индейцы открыли по нему огонь, и он бегом вернулся в окоп.

Когда солнце уже клонилось к закату, я был в траншее и держал на руках малыша, пока мама стелила постель. В траншее нас было как сельдей в бочке. Некоторым женщинам негде было даже прилечь, и всю прошлую ночь они просидели, уткнувшись головой в колени. Рядом со мной, вернее, вплотную ко мне, так что стоило ему шевельнуть рукой — и он задевал мое плечо, умирал Сайлес Дэнлеп. Его ранило в голову во время первого нападения, и он весь день бредил, не приходя в себя, а порой начинал распевать какую-то чепуху. Вот одна из этих песен, которую он пел снова и снова, доводя мою мать до исступления:

Раз один бесенок говорил другому
«Табачку мне дай ка, полон твой кисет»
А второй бесенок отвечал другому
«Деньги береги ты, лучше друга нет,
Табачком набьешь ты доверху кисет»

Я сидел рядом с ним и держал на руках малыша, когда враги перешли в атаку. Солнце садилось, и я во все глаза смотрел на Сайлеса Дэнлепа, у которого уже начиналась агония. Его жена Сара сидела рядом, положив руку ему на лоб. И она, и ее тетка Марта — обе тихонько плакали. И тут это началось: град пуль из сотен ружей. Наг поливали свинцом с запада, с севера и с востока. Все, кто был в траншее, распластались на земле. Ребятишки поменьше подняли рев, и женщины принялись их успокаивать. Кое-кто из женщин тоже закричал сначала, но таких было немного.

За две-три минуты они пустили в нас, как мне показалось, тысячи пуль. О, как хотелось мне вылезти из нашей траншеи и пробраться под фургоны, где залегли мужчины и стойко, хотя и беспорядочно, отстреливались! Каждый из них стрелял по собственному почину, как только в поле его зрения попадал человек, целящийся в нас из ружья. Но мать разгадала мои намерения и заставила меня пригнуться пониже и не выпускать из рук малыша.

Только я хотел было взглянуть на Сайлеса Дэнлепа, который еще не отошел, как в этот миг был убит малыш Каслтонов. Дороти Каслтон — ей и самой-то было не больше десяти — держала малыша на руках, и его убило, а ее даже не задело. Я слышал, как об этом говорили потом, и все решили, что пуля, вероятно, ударила о верх одного из фургонов и рикошетом

попала в нашу траншею.

Это просто несчастный случай, говорили все, а в общем-то нам в нашей траншее ничто не угрожает.

Когда я снова взглянул на Сайлеса Дэнлена, он был уже мертв, и я почувствовал жгучее разочарование, потому что мне помешали быть свидетелем столь значительного события. Ведь мне в первый раз в жизни выпал случай поглядеть, как умирают люди.

Дороти Каслтон отчаянно рыдала и никак не могла уняться, так что миссис Хастингс тоже принялась причитать снова.

Поднялся такой шум, что отец послал Уота Кэмминга узнать, что тут у нас происходит, и тот ползком пробрался к нашей траншее.

Когда смерклось, сильный огонь прекратился, хотя одиночные выстрелы продолжались всю ночь. Во время этого второго нападения двое из наших мужчин были ранены, и их перенесли в нашу траншею. А Билл Тайлер был убит наповал, и когда стемнело, его, Сайлеса Дэнлепа и малыша Каслтонов зарыли в землю рядом с теми, кто был похоронен накануне.

Всю ночь мужчины, сменяя друг друга, рыли колодец, но дорылись только до влажного песка, а воды не было. Кое-кому из мужчин удалось под пулями притащить несколько ведер воды из ручья, но когда Джереми Хопкинсу прострелили кисть руки, пришлось отказаться от этих вылазок.

Утро следующего, третьего дня осады выдалось еще более жаркое, и мы еще сильнее страдали от жажды, чем прежде.

Мы проснулись с пересохшими глотками, и никто не стал стряпать завтрак. Мы не могли глотать, так пересохло у нас во рту. Я попробовал было погрызть кусок черствого хлеба, который дала мне мать, но не смог его проглотить. Стрельба то возобновлялась, то затихала. Порой в лагерь летели сотни пуль, а потом наступала передышка, во время которой не слышалось ни единого выстрела.

Отец все время предостерегал наших защитников, чтобы они не стреляли зря, так как запасы пороха и нуль подходили у нас к концу.

И все это время мужчины продолжали рыть колодец. Он был уже так глубокий, что песок поднимали наверх в ведрах.

Мужчинам, которые вытаскивали ведра, приходилось выпрямляться во весь рост, и одного из них ранило в плечо. Это был Питер Бромли, который правил волами, тащившими фургон Блэдгутов.

Он был помолвлен с Джейн Блэдгуд, и она, не глядя на нули, выскочила из траншей, бросилась к Питеру и помогла ему спуститься к нам. Около полудня колодец обвалился, и работавшие принялись из

последних сил откапывать двоих мужчин, заживо погребенных в песке. Один из них, Эмос Уэнтворт, очнулся только через час. После этого стенки колодца укрепили досками от фургонов и дышлами и стали рыть дальше. Но на глубине двадцати футов не обнаружилось ничего, кроме сырого песка. Воды не было.

А тем временем в нашей траншее началось что-то страшное.

Ребятишки плакали, просили воды, младенцы уже охрипли от крика, но продолжали кричать. Роберт Карр, еще один раненый, лежал примерно шагах в десяти от нас с матерью. Он бредил, размахивая руками, и все просил, чтобы ему дали напиться. Некоторые из женщин тоже словно с ума посходили и кричали неумолчно, призывая проклятия на голову мормонов и индейцев. Другие все время громко молились, а три сестры Демдаик — совсем уже взрослые — вместе со своей матерью пели евангельские псалмы.

Кое-кто из женщин, стараясь успокоить своих младенцев, изнывавших от зноя и жажды, обкладывал их сырым песком, поднятым со дна колодца.

Двое братьев Ферфакс не выдержали, схватили ведра, пролезли под фургонами и побежали к роднику. Джайлс еще на полпути свалила пуля, а Роджерс добрался до ручья и вернулся обратно целый и невредимый. Он притащил два полупустых ведра, расплескав половину воды по дороге. Джайлс приполз обратно, и когда ему помогли спуститься в нашу траншею, он кашлял и изо рта у него текла струйка крови.

Нас было больше ста человек, даже если не считать мужчин, и двух неполных ведер воды никак не могло хватить на всех. Воду получили только младенцы, малыши лет трех-четырёх да раненые. Мне не досталось ни глотка, но мама, когда ей дали несколько ложек воды для младенца, намочила край тряпки и вытерла мне рот. А ей самой даже этого не досталось, потому что она отдала мне мокрую тряпку, чтобы я ее пожевал.

А после полудня стало еще хуже, несравненно хуже. В безоблачном, чистом небе ослепительно сверкало солнце, и наша вырытая в песке яма превратилась в раскаленную печь. А вокруг трещали выстрелы и раздавались воинственные крики индейцев.

Нашим же мужчинам отец лишь изредка позволял стрелять, да и то только лучшим стрелкам, таким, как Лаван и Тимоти Грант.

А нас все время безостановочно поливали свинцом. Однако ни одна пуля не залетала к нам больше рикошетом, чтобы наделать беды, да и наши мужчины теперь стреляли редко, а больше лежали на дне окопа и подвергались меньшей опасности. Всего четверо были ранены, и только один из них — тяжело.

Когда стрельба на время утихла, к нам в траншею спустился отец. Он сел возле меня и матери и некоторое время молчал. Казалось, он прислушивается к плачу, стонам и жалобам изнемогавших от жажды людей. Потом он вылез из траншеи и пошел посмотреть колодец. Он принес мокрого песку и толстым слоем покрыл им грудь и плечи Роберта Карра. Затем направился к Джеду Дэнхему и его матери и послал за отцом Джеда, который был в окопе под фургонами. Так тесно было в нашей траншее, что, когда кто-нибудь делал попытку выбраться оттуда, ему приходилось пробираться между телами уснувших.

Через некоторое время отец снова спустился к нам.

— Джесси, ты не боишься индейцев? — спросил он.

Я решительно помотал головой, предчувствуя, что мне снова предстоит выполнить какое-то важное поручение.

— И проклятых мормонов не боишься?

— Проклятых мормонов я и подавно не боюсь, — отвечал я, радуясь, что могу назвать наших врагов проклятыми и не получить от матери затрещину.

Я заметил легкую усмешку, тронувшую его посеревшие губы, когда он услышал мой ответ.

— Ну, что ж, Джесси, — сказал он. — В таком случае не отправишься ли ты с Джедом к роднику за водой?

Я готов был отправиться хоть сию же минуту.

— Вы нарядитесь девочками, — продолжал отец. — Тогда, пожалуй, вас не тронут.

Я решительно настаивал на том, чтобы отправиться за водой в моем настоящем виде — в штанах, как полагается мужчине, но сразу перестал спорить, как только отец намекнул, что придется найти другого мальчика, которого можно будет нарядить и отправить с Джедом.

Из фургона Четоксов притащили сундучок. Девочки Четокс были близнецы и примерно такого же роста, как мы с Джедом.

Женщины помогли нам переодеться. Они надели на нас праздничные платья близнецов, пролежавшие в сундучке от самого Арканзаса.

Мать так тревожилась за меня, что попросила Сару Дэнлеп поддержать малыша, а сама проводила меня до переднего окопа.

Там, в окопе под фургонами, укрывшись за невысоким песчаным бруствером, мы с Джедом получили последние наставления. После этого вылезли из окопа на открытое место и стали. Одеты мы были совершенно одинаково: перевязанные широкими голубыми кушаками белые платья, белые чулки, белые широкополые шляпы. Мы стояли, держась за руки,

Джед слева от меня.

В свободной руке у каждого из нас было по два небольших ведерка.

— Спокойней! — крикнул нам отец, когда мы двинулись вперед, — Не спешите. Идите, как ходят девочки.

Не раздалось ни единого выстрела. Мы благополучно добрались до родника, наполнили водой наши ведерки, а потом прилегли на берегу и основательно утолили жажду. С полным ведерком в каждой руке мы направились обратно. И по-прежнему ни одного выстрела.

Уж не помню, сколько раз проделали мы этот путь — к роднику и обратно: должно быть, раз пятнадцать, а может, и двадцать. И каждый раз мы, направляясь туда, шли не спеша, степенно держась за руки, и возвращались так же не спеша с четырьмя полными ведерками воды. Просто удивительно, как мучила нас жажда. Мы то и дело приникали к роднику и долго, жадно пили воду.

Но наши враги в конце концов потеряли терпение. Трудно себе представить, чтобы индейцы стали удерживаться от стрельбы из-за каких-то девчонок, если бы они вообще действовали по собственному почину, а не по указке белых, находившихся среди них. Но как бы то ни было, едва мы с Джедом еще раз зашагали к роднику, как с холма, занятого индейцами, прогремел выстрел, а за ним второй.

— Назад! — услышал я крик матери.

Я посмотрел на Джеда, а Джед на меня. Я знал, что он упрям и ни за что не отступит первым. Тогда я шагнул вперед, и он тотчас последовал за мной.

— Эй! Джесси! — крикнула мать, и этот крик прозвучал страшнее всякой затрещины.

Джед хотел было опять идти, взявшись со мной за руки, но я покачал головой.

— Побежим, — предложил я.

И когда мы, увязая в песке, припустились к роднику, мне показалось, что индейцы открыли огонь из всех ружей, какие только у них были. Я подбежал к ручью первым, и Джеду пришлось ждать, пока я наполню мои ведерки.

— Ну, теперь беги, — сказал он мне и принялся так неторопливо наполнять свои ведерки, что я понял, он решил во что бы то ни стало вернуться вторым.

Я скорчился у родника и стал ждать, глядя, как пули, зарываясь в песок, поднимают клубочки пыли. Потом мы бросились назад бегом, бок о бок.

— Не беги так, — предостерег я его. — Всю воду расплещешь.

Это задело его за живое, и он заметно убавил шаг. На полпути я споткнулся и во весь рост растянулся на земле.

Пуля шлепнулась возле самой моей головы, и мне засыпало глаза песком. В первую секунду мне показалось, что пуля попала в меня.

— Это ж ты нарочно, — язвительно усмехнулся Джед, когда я поднялся на ноги. Он стоял рядом и ждал, когда я встану.

Я понял, что у него на уме. Он решил, что я упал нарочно, чтобы разлить воду и снова отправиться к ручью. Мы так щеголяли друг перед другом своим бесстрашием, что я немедленно использовал открывшуюся мне возможность, на которую он намекал, и побежал назад к ручью. А Джед Дэнхем стоял на самом видном месте, выпрямившись, и, словно не замечая свистевших вокруг него пуль, ждал меня. Мы побежали обратно плечом к плечу и вернулись в лагерь в ореоле подлинной славы, несмотря на наше мальчишеское безрассудство. Правда, Джед в конце концов притащил всего одно ведро воды. Другое было пробито пулей почти у самого дна.

Мать взяла мои ведерки и ограничилась тем, что отчитала меня за непослушание. Она, должно быть, чувствовала, что теперь отец не позволит ей отшлепать меня — недаром он незаметно для нее подмигнул мне, когда она меня отчитывала. Никогда прежде он мне не подмигивал.

Нас с Джедом встретили в нашей траншее как героев. Женщины плакали, целовали нас, душили в объятиях и благословляли. Признаться, я был чрезвычайно горд, хотя, так же как и Джед, делал вид, что мне все это не по вкусу. А Джереми Хопкинс — вместо кисти его правая рука кончалась теперь бесформенной повязкой — заявил, что у нас с Джедом хорошая закваска и мы будем настоящими мужчинами — такими, как Дэниел Бун, или Кит Карсон, или Дэви Крокет. Ну, тут уж я и совсем возгордился.

Весь остаток дня я мучился от боли в правом глазу, который засыпало песком, когда пуля чуть не попала мне в голову. Мать говорила, что глаз у меня налит кровью, и я каждую секунду то закрывал его, то открывал, но ничего не помогало: глаз все равно болел.

В нашей траншее все притихли и успокоились, когда напились вдоволь, но мысль о том, как мы будем снова добывать воду, по-прежнему угнетала нас, к тому же всем было известно, что порох у нас на исходе. Тщательно обшарив все фургоны, отец обнаружил только пять фунтов пороха. Да еще немножко в пороховницах у мужчин.

Я помнил, что накануне враги попробовали атаковать нас, когда

садились солнце, и, предполагая, что сегодня может повториться то же самое, заблаговременно перебрался в окоп под фургонами и отыскал Лавана. Он задумчиво жевал табак и не заметил меня. Некоторое время я молча наблюдал за ним, боясь, что он сейчас же прогонит меня обратно. Он долго вглядывался в узкое пространство между колесами фургона, сосредоточенно жуя табак, а затем аккуратно сплевывал в небольшую ямку, вырытую им в песке.

— Ну, как дела? — не выдержал я наконец. Он всегда начинал свою беседу со мной с этого вопроса.

— Отлично, — отвечал он. — Лучше нельзя, Джесси, ведь теперь, когда ты принес нам воды, я снова могу жевать табак. А я не жевал его с самого рассвета: так пересохло у меня во рту.

Тут над гребнем северо-восточного холма, где засели белые, показалась чья-то голова и плечи. Лаван целился около минуты, а потом опустил ружья и показал головой.

— Четыреста ярдов. Нет, нельзя рисковать. Может, я и достану его, но может, и нет, а твой отец велел беречь порох.

— Как ты думаешь, на что мы можем рассчитывать? — спросил я его как мужчина мужчину, ибо после моего подвига с водой я уже считал, что могу держаться с мужчинами на равной ноге.

Лаван ответил не сразу — он, казалось, тщательно взвешивал все «за» и «против».

— Не скрою от тебя, Джесси, что мы попали в скверную переделку. Но мы выкарабкаемся, да, да, мы выкарабкаемся, можешь ставить свой последний доллар.

— Ну, кое-кому из нас уже не выкарабкаться, — заметил я.

— Это кому же? — спросил Лаван.

— Ну, хотя бы Биллу Тайлеру, и миссис Грант, и Сайлесу Дэнлепу, и другим.

— А, не говори глупости, Джесси, — эти уже в земле. Разве ты не знаешь, что рано или поздно каждому приходится хоронить своих мертвецов? Так уж повелось из века в век, а живых все равно не убывает. Видишь ли, Джесси, жизнь и смерть всегда идут рука об руку, и люди рождаются так же быстро, как и умирают, а может, и еще быстрее — ведь живые расплодились и приумножились. Ну вот ты, к примеру: тебя могли застрелить сегодня, когда ты бежал за водой. А ты вот сидишь здесь, так ведь? И болтаешь со мной, и думается мне, что ты еще вырастешь и станешь отцом, да, станешь отцом большого семейства где-нибудь в Калифорнии. Говорят, что там, в Калифорнии, все бывает только большим.

Его уверенность в том, что все будет хорошо, придала мне храбрости, и я внезапно отважился задать вопрос, порожденный давно снедавшей меня завистью.

— Послушай, Лаван, предположим, что тебя убьют...

— Кого — меня? — воскликнул он.

— Я ведь сказал «предположим», — пояснил я.

— Ах так, ну ладно. Валяй дальше. Предположим, меня убьют...

— Может, ты отдашь мне свои скальпы?

— Мать устроит тебе хорошую трепку, если увидит их у тебя, — уклончиво ответил он.

— Я при ней их носить не буду, только и всего. Ведь если тебя убьют, Лаван, кому-то все равно достанутся твои скальпы. Так почему бы не мне?

— Почему бы не тебе, в самом деле? — повторил он. — Это правильно, почему бы не тебе? Ладно, Джесси. Ты мне пришелся по душе, и твой отец — тоже. Как только меня убьют, забирай мои скальпы, да и нож для скальпирования заодно. А Тимоти Грант пусть будет свидетелем. Ты слышал, что я сказал, Тимоти?

Тимоти подтвердил, что он слышал, а я лежал в душном окопе, лишившись дара речи от неожиданно свалившегося на меня счастья, и ни словом не мог выразить своей благодарности.

Я проявил большую предусмотрительность, забравшись заблаговременно в окоп, и был за это вознагражден. Новое нападение на лагерь действительно началось при заходе солнца. Нас опять обстреливали из сотен ружей, но никто из наших не получил даже царапины. Мы же со своей стороны сделали не больше трех десятков выстрелов, однако я видел, что и Лаван и Тимоти Грант оба уложили по индейцу. Лаван сказал мне, что нас все время обстреливают только индейцы. Он утверждал, что белые не сделали ни одного выстрела, и это ставило его в тупик. Белые не оказывали нам помощи, но и не нападали на нас. Однако они не раз приходили к индейцам, которые нас обстреливали.

На следующее утро мы все снова изнемогали от жажды.

Едва забрезжило, я вылез из окопа. Ночью пала роса, и все — мужчины, женщины и ребятишки — лизали спицы колес и дышла фургонов, стараясь утолить жажду.

Говорили, что ночью Лаван ходил на разведку. Он подполз к самому лагерю белых и при свете костров видел, что они все уже проснулись и молятся, собравшись в кружок.

— О нас молятся, — сказал Лаван. — Спрашивают Бога, что им с нами делать.

Так, во всяком случае, он понял из тех немногих слов, что ему удалось разобрать.

— Да просветит тогда Господь их разум, — услышал я, как одна из сестер Демдаек сказала Эбби Фоксуэлл.

— И поскорее, — ответила Эбби Фоксуэлл. — Потому что я не знаю, как мы выдержим еще целый день без воды, да и порох у нас пришел к концу.

Утром никаких событий не произошло. Не было сделано ни единого выстрела. С безоблачного неба по-прежнему палило солнце. Жажда мучила нас все сильнее и сильнее, и вскоре все младенцы снова подняли плач, а малыши принялись хныкать и жаловаться. В полдень Уилл Гамильтон взял два больших ведра и направился к роднику. Не успел он проползти под фургоном, как Энн Демдаек бросилась за ним, обхватила его руками и потащила обратно. Но он поговорил с ней, поцеловал ее и ушел. В него не стреляли, и он продолжал ходить к ручью и обратно и носить воду целый и невредимый.

— Хвала Господу! — воскликнула старая миссис Демдаек. — Это его знамение. Он смягчил их сердца.

И многие женщины согласились с ней.

Часа в два пополудни, когда мы немного подкрепились и воспряли духом, появился белый человек с белым флагом. Уилл Гамильтон вышел ему навстречу, они о чем-то поговорили, после чего Уилл вернулся, переговорил с отцом и остальными мужчинами и снова направился к человеку с флагом. И тут мы заметили, что несколько поодаль стоит другой человек и наблюдает за происходящим, и это был Ли.

Все мы пришли в страшное волнение. Женщины заливались слезами и целовали друг друга от радости, а миссис Демдаек и другие старухи громко распевали псалмы и славили Бога. Нам было предложено поднять белый флаг, а они за это обещали оградить нас от нападения индейцев, и наши мужчины приняли это предложение.

— У нас нет другого выхода, — услышал я слова отца, обращенные к матери.

Удрученный, поникший, он присел на дышло фургона, устало сгорбившись.

— А что, если они задумали обмануть нас? — спросила мать.

Отец пожал плечами.

— Придется рискнуть, — отвечал отец. — У нас вышел весь порох.

Мужчины принялись освобождать от цепи колеса одного из фургонов и откатали его в сторону. Я побежал посмотреть, что происходит. В лагерь

явился Ли собственной персоной. За ним двигались два фургона — совершенно пустые, если не считать возниц. Все окружили Ли. Он сказал, что им еле удалось помешать индейцам разделаться с нами, но теперь майор Хигби с отрядом милиции мормонов в пятьдесят человек готов принять нас под свою защиту.

Однако кое-что в словах Ли встревожило моего отца, и Лавана, и еще кое-кого из наших мужчин: Ли предложил нам сложить все наши ружья в один из фургонов, чтобы не возбуждать против себя индейцев. Если мы это сделаем, сказал он, индейцы будут считать, что милиция мормонов взяла нас в плен.

Отец выпрямился и, как видно, хотел уже ответить отказом, но переглянулся с Лаваном, а тот проворчал вполголоса:

— Какая разница, куда их положить, раз у нас не осталось пороха!

Двоих раненых, которые не могли двигаться, отнесли в фургоны, и туда же поместили всех маленьких ребятшек. Ли разделил всех ребят на две группы: до восьми лет и старше. И мне и Джеду уже исполнилось девять лет, да к тому же мы оба были очень рослые, и Ли поставил нас к старшим ребятам, сказав, что мы пойдем пешком вместе с женщинами.

Когда он взял у матери нашего малыша и положил его в фургон, мать хотела было воспротивиться, но потом я увидел, как она сжала губы и заставила себя смириться. Моя мать была статная женщина средних лет, с серыми глазами и крупными, выразительными чертами лица, но долгий тяжкий путь и перенесенные лишения сказались на ней: она исхудала, щеки у нее ввалились, и на лице, как у всех наших женщин, лежала печать вечной озабоченности и тревоги.

Когда Ли начал объяснять нам, в каком порядке должно происходить наше передвижение, Лаван подошел ко мне. Ли сказал, что женщины и дети постарше пойдут впереди за двумя фургонами, а за женщинами будут гуськом следовать мужчины. Вот когда Лаван услышал это распоряжение, он и подошел ко мне, отвязал свои скальпы и прицепил их к моему пояску.

— Но ведь ты же еще не убит! — удивился я.

— Нет, черт побери, нет, я еще не убит! — весело ответил он. — Просто Бог просветил мой разум. Носить скальпы — это пустая суетность, это языческий обряд... — Он запнулся, словно припомнив что-то, потом резко повернулся и отошел к остальным мужчинам, бросив мне через плечо: — Ну, будь здоров, Джесси.

Я еще раздумывал над тем, почему Лаван вдруг попрощался со мной, когда в наш лагерь прискакал всадник. Он сказал, что майор Хигби велит нам поторопиться, как индейцы могут каждую минуту напасть на нас.

И вот мы тронулись в путь. Впереди ехали два фургона.

За ними шли мы — женщины и дети в сопровождении Ли. Позади — на расстоянии примерно двухсот футов от нас — шли мужчины. Выйдя из-за фургонов, мы сразу увидели милицию. Она растянулась длинной цепочкой: мормоны стояли, опираясь на свои ружья, футах в пяти-шести один от другого. Когда мы проходили мимо, мне невольно бросилось в глаза угрюмо-торжественное выражение их лиц. Будто они собрались на похороны. Как видно, наши женщины тоже заметили это, потому что некоторые из них заплакали.

Я шел позади матери. Я прятался за ее спину для того, чтобы она не могла увидеть моих скальпов. За мной шли три сестры Демдаик, двое из них вели под руки свою престарелую мать.

Я слышал, как Ли то и дело кричал возницам фургонов, чтобы они ехали потише. Какой-то всадник, стоя поодаль, наблюдал за движением нашей процессии, и одна из сестер Демдаик сказала, что это майор Хигби. Нигде поблизости не было видно ни одного индейца.

Все произошло в ту секунду (я как раз обернулся, чтобы поглядеть, где Джед Дэнхем), когда наши мужчины поравнялись с милицией мормонов. Я услышал, как майор Хигби крикнул зычным голосом: «Исполняйте ваш долг!» — и все мормоны дали залп из всех ружей, и все наши мужчины повалились на землю как подкошенные. Старуха Демдаик и ее дочери упали тоже.

Я быстро обернулся, ища глазами мать, но и она уже лежала на песке. Сбоку из кустов прямо на нас выскочили индейцы — их были сотни, — и все они палили в нас. Я увидел, как две сестры Дэнлеп бросились бежать в сторону, и побежал за ними, потому что и белые и индейцы убивали всех нас без разбору. На бегу я еще увидел, как возница одного из фургонов пристрелил двоих раненых. Лошади второго фургона рвались, бились в постромках и вставляли на дыбы, а возница старался их удержать...

* * *

В то мгновение, когда девятилетний мальчик, которым я был когда-то, бросился бежать вслед за сестрами Дэнлеп, на него обрушился мрак и поглотил его. На этом обрывается все, что хранила память Джесси Фэнчера, ибо в это мгновение Джесси Фэнчер как таковой перестал существовать навсегда. То, что было Джесси Фэнчером, форма, в которую это нечто было облечено, тело Джесси Фэнчера, то есть материя, или

видимость, как всякая видимость исчезла, ее не стало. Но дух не преходящ, и он не исчез. Он продолжал существовать и в своем следующем воплощении нашел свою временную оболочку в теле некоего Даррела Стэндинга, которое скоро будет выведено из этой камеры, повешено на веревке и отправлено в небытие, где оно исчезнет так же, как исчезает все, что не больше как видимость.

Здесь, в тюрьме Фолсем, содержится Мэтью Дэвис, отбывающий пожизненное заключение. Он староста камеры смертников. Это уже глубокий старик, а его родители были одними из первых поселенцев в этих местах. Я беседовал с ним, и он подтвердил, то истребление каравана переселенцев, во время которого погиб Джесси Фэнчер, действительно произошло. Когда этот старик был еще ребенком, у них в семье одно время только и разговору было что о резне на Горных Лугах. Остались в живых одни лишь ребяташки, ехавшие в фургоне, сказал он. Их пощадили, потому что они были слишком малы и не могли рассказать о случившемся.

Судите же сами. Никогда за всю мою жизнь, пока я был Дарделом Стэндингом, не слышал я ни единого слова о том, как погиб караван капитана Фэнчера на Горных Лугах, и не прочел об этом ни единой строки. Однако история этой гибели открылась мне во всех подробностях, когда я был затянут в смиренную рубашку в тюрьме Сен-Квентин. Я не мог создать все это из ничего, как не мог создать из ничего несуществующий динамит.

Но все описанные мною события действительно происходили, и то, что они стали известны мне и я мог о них поведать, имеет только одно объяснение: свидетелем этих событий был мой дух — дух, который, в отличие от материи, вечен.

В заключение этого эпизода я хочу сообщить вам следующее: Мэтью Дэвис рассказал мне еще, что несколько лет спустя после истребления нашего каравана Ли был арестован американскими властями, отвезен на Горные Луга и казнен на том месте, где стоял когда-то наш лагерь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Когда мои первые десять дней в смиренной рубашке подошли к концу, доктор Джексон привел меня в чувство, надавив большим пальцем на мое глазное яблоко. Я открыл глаза и улыбнулся прямо в лицо начальнику тюрьмы Азертону.

— Слишком упрям, чтобы жить, и слишком подл, чтобы умереть, — сделал свое заключение тот.

— Десять дней истекли, начальник, — прошептал я.

— Сейчас мы тебя развяжем, — проворчал Азертон.

— Я не о том, — сказал я. — Вы видели: я улыбнулся. Вы помните, мы ведь как будто побились об заклад. Не спешите развязывать меня. Сначала отнесите табак и курительной бумаги Моррелу и Оппенхеймеру. А чтобы вы не скаресли, вот вам еще одна улыбка.

— Видали мы таких, как ты, Стэндинг, — изрек начальник тюрьмы. — Только ничего у тебя не выйдет. Если я не побью тебя в твоей игре, то ты побьешь все рекорды смиренной рубашки.

— Он их уже побил, — сказал доктор Джексон. — Где это видано, чтобы человек улыбался, пробыв в смиренной рубашке десять дней?

— Напускает на себя, — ответил начальник тюрьмы Азертон. — Развяжите его, Хэтчинс.

— К чему такая спешка? — спросил я (разумеется, шепотом, ибо жизнь едва теплилась во мне, и я должен был напрячь всю свою волю, собрать последние крохи сил, чтобы голос мой был услышан). — К чему такая спешка? Мне ведь не на вокзал, и я чувствую себя так удобно и уютно, что предпочел бы, чтобы меня не тревожили.

Но они все-таки развязали меня и словно груды костей вытряхнули из зловонной рубашки прямо на пол.

— Неудивительно, что ему было так удобно, — сказал капитан Джеми. — Он же ничего не чувствует. Он парализован.

— Бабушка твоя парализована! — крикнул начальник тюрьмы. — Поставьте его на ноги — увидите, как он парализован.

Хэтчинс и доктор схватили меня и поставили на ноги.

— Отпустите его! — приказал начальник тюрьмы.

Жизнь не сразу возвращается в тело, которое практически было мертвым на протяжении десяти дней, и потому я был еще лишен власти над своими мышцами: колени мои подогнулись, я покачнулся вбок, рухнул на

пол и рассек кожу на лбу о стену.

— Вот видите, — сказал капитан Джеми.

— Недурно представляется, — возразил начальник тюрьмы. — Этот тип способен на что угодно.

— Вы правы, начальник, — прошептал я, лежа на полу, — я нарочно. Это был трюк. Я могу его повторить. Поднимите-ка меня еще разок, и я постараюсь хорошенько посмешить вас.

Я не буду описывать муки, которые испытываешь, когда начинает восстанавливаться кровообращение. Мне пришлось испытать их не раз и не два. Эти муки избороздили мое лицо морщи нами, которые я унесу с собой на виселицу.

Мои мучители наконец покинули меня, и остаток дня я пролежал в тупом оцепенении и словно в дурмане. Существует утрата чувствительности, порожденная болью, болью слишком изощренной, чтобы ее можно было выдержать. Мне было дано испытать такую потерю чувствительности.

Вечером я уже мог ползать по полу, но еще не мог стоять.

Я очень много пил и очистил себя от грязи, насколько это было возможно, но лишь на следующий день смог я проглотить кусок, хлеба, и то принудив себя к этому усилием воли.

Начальник тюрьмы Азертон изложил мне свой план. Он состоял в следующем: я должен был несколько дней отдыхать и приходить в себя, после чего, если я не укажу, где спрятан динамит, меня снова на десять дней затянут в смиренную рубашку.

— Очень огорчен, что доставляю вам столько хлопот, начальник, — сказал я ему в ответ на это. — Жаль, что я не умер в смиренной рубашке: это положило бы конец вашим страданиям.

Сомневаюсь, чтобы в те дни я весил хотя бы девяносто фунтов. А ведь два года назад, когда двери тюрьмы Сен-Квенин впервые захлопнулись за мной, я весил ни много ни мало сто шестьдесят фунтов. Казалось невероятным, чтобы я мог потерять еще хотя бы одну унцию и остаться при этом в живых. Однако в последующие месяцы я неуклонно терял вес, пока он не приблизился к восьмидесяти фунтам. Во всяком случае, когда меня мыли и брили, прежде чем отправить в Сан-Рафаэль на суд, после того как я выбрался из одиночки и стукнул надзирателя Сэрогона по носу, я весил восемьдесят девять фунтов.

Некоторые не могут понять, отчего ожесточаются люди. Начальник тюрьмы Азертон был человек жестокий. Он ожесточил и меня, и мое ожесточение, в свою очередь, воздействовало на него и сделало его еще

более жестоким. И тем не менее ему никак не удавалось убить меня. Чтобы отправить меня на виселицу за то, что я ударил надзирателя кулаком в нос, потребовались специальная статья закона штата Калифорния, судья-вешатель и не знающий снисхождения губернатор. Но до последнего издыхания я буду утверждать, что у этого надзирателя необычайно кровоточивый нос. Я был тогда полуслепой, трясущийся, еле державшийся на ногах скелет. Порой меня охватывает сомнение: в самом ли деле у этого надзирателя могла от моего тумака пойти носом кровь? Конечно, он показал это под присягой как свидетель.

Но я знал тюремщиков, которые под присягой облыжно возводили на людей еще более тяжкие обвинения.

Эду Моррелу не терпелось узнать, удался ли мой эксперимент. Но едва начал он перестукиваться со мной, как надзиратель Смит, дежуривший у нас в тот день, потребовал, чтобы он это прекратил.

— Неважно, Эд, — простучал я ему в ответ. — Вы с Джеком сидите тихо, а я буду вам рассказывать. Смит не может помешать вам слушать, а мне — стучать. Они уже сделали со мной все, что могли, а я все еще жив.

— Прекрати сейчас же, Стэндинг! — заорал на меня Смит из коридора, в который выходили двери наших камер.

Смит был на редкость мрачный субъект, самый жестокий и мстительный из всех наших тюремщиков. Мы не раз пытались отгадать, что тому причиной: сварливая жена или хроническое несварение желудка.

Я продолжал стучать, и он подошел к дверной решетке и уставился на меня.

— Я тебе сказал — прекрати! — зарычал он.

— Очень сожалею, — ответил я самым учтивым тоном, — но у меня предчувствие, что я буду продолжать стучать. И... э... если это не слишком нескромно с моей стороны, то мне хотелось бы знать, что вы думаете предпринять по этому поводу?

— Я думаю... — заорал было он, но осекся, доказав, что у него в голове больше одной мысли зараз не вмещается.

— Да, да, — старался я его ободрить. — Что именно? Мне бы очень хотелось знать.

— Я приглашу начальника, — сказал он довольно неуверенно.

— О, ради Бога, пригласите! Такой приятный человек — наш начальник тюрьмы Азертон. Ярчайший пример того облагораживающего влияния, которое постепенно проникает в наши тюрьмы. Пригласите его сюда поскорее. Я хочу пожаловаться ему на вас.

— На меня?

— Вот именно, именно — на вас. Вы позволяете себе в весьма неучливой и даже грубой манере мешать моей беседе с остальными постояльцами этого странноприимного дома.

И начальник тюрьмы Азертон появился. Загремел замок, начальник влетел в мою камеру... Но я чувствовал себя в полной безопасности. Он уже сделал со мной все, что мог. Теперь я вышел из-под его власти.

— Ты у меня посидишь без еды, — пригрозил он.

— Как вам будет угодно, — отвечал я. — Я уже привык к этому. Десять дней я ничего не ел, а стараться снова привыкнуть к еде — чрезвычайно скучное занятие, должен признаться.

— Да ты, кажется, еще угрожаешь мне? Хочешь объявить голодовку?

— Прошу прощения, — изысканно вежливо ответил я. — Это предположение исходило от вас, а не от меня. Будьте добры, постарайтесь хотя бы раз в жизни быть логичным. Поверьте, ваше пренебрежение к логике доставляет мне куда больше страданий, чем все изобретаемые вами пытки.

— Перестанешь ты стучать или нет? — спросил начальник тюрьмы.

— Нет. Прошу простить меня за беспокойство, которое я вам доставляю, но я чувствую такую непреодолимую потребность стучать, что...

— Я в два счета упрячу тебя обратно в смирительную рубашку, — оборвал он меня.

— Упрячьте, прошу вас. Я обожаю смирительную рубашку. Я чувствую себя в ней как младенец в колыбели. Я обрастаю жирком в смирительной рубашке. Взгляните на эту руку. — Я закатал рукав и показал ему свой бицепс, тонкий, как веревка. — Мускулы у меня совсем как у молотобойца, а, начальник? Прошу вас, бросьте ваш благосклонный взгляд на мою широченную грудную клетку. Сендоу надо держать ухо востро, не то он распростится со своим званием чемпиона. А живот-то! Вы знаете, дружище, я здесь так раздобрел, что это просто неприлично. Смотрите, как бы вас не обвинили в том, что в вашей тюрьме перекармливают заключенных. Берегитесь, начальник, вы можете восстановить против себя налогоплательщиков.

— Прекратишь ты стучать или нет? — загремел он.

— Нет. Благодарю вас за вашу доброту и участие, но по зрелом размышлении я пришел к выводу, что мне следует продолжать вести беседу путем перестукивания.

Он безмолвно смотрел на меня с минуту, затем в бессильной ярости шагнул к двери.

— Простите, еще один вопрос.

— В чем дело? — спросил он, не оборачиваясь.

— Что намерены вы теперь предпринять?

Лицо Азертон так побагровело, что я по сей день не перестаю изумляться, как его не хватил апоплексический удар тут же, на месте.

После позорного отступления начальника тюрьмы я стучал час за часом и поведал товарищам всю историю моих приключений. Но только ночью, когда на дежурство вступил Конопатый Джонс и принялся по своему обыкновению и вопреки всем правилам дремать, Моррел и Оппенхеймер получили возможность отвечать мне.

— Бредил ты, и все, — простучал мне Оппенхеймер свое безапелляционное заключение.

Да, подумалось мне. Наш бред, как и наши сны, складывается из того, что пережито наяву.

— Когда-то, в бытность мою ночным рассыльным, я раз хватил лишнего, — продолжал Оппенхеймер, — и такое увидел, что ты своими рассказами меня не удивишь. Я так полагаю, что все сочинители романов именно этим и занимаются: накачаются основательно, вот фантазия у них и разыграет.

Но Эд Моррел, который изведal то же, что и я, хотя и шел другой дорогой, поверил моему рассказу. Он сказал, что когда тело его лежало мертвое в смиренной рубашке, а дух покинул тюремные стены, он в своих странствиях всегда оставался Эдом Моррелом. Он никогда не переживал вновь свои прежние воплощения. Когда его дух бродил, освобожденный от телесной оболочки, он бродил только в рамках настоящего. Моррел сказал, что совершенно так же, как он покинул свое тело и, взглянув со стороны, увидел его распростертым на каменном полу одиночки в смиренной рубашке, так же он покинул тюрьму, перенесся в современный Сан-Франциско и поглядел, что там происходит. Он дважды посетил свою мать и оба раза застал ее спящей. Но во время этих блужданий, сказал Моррел, он был лишен какой бы то ни было власти над предметами материального мира. Он не мог открыть или затворить дверь, сдвинуть с места какую-либо вещь, произвести шум — словом, тем или иным способом обнаружить свое присутствие. И, с другой стороны, материальный мир не имел власти над ним. Ни стены, ни замкнутые двери не служили для него препятствием. Та сущность, то нечто реально существующее, чем был он, представляло собой дух, мысль, не более.

— Бакалейная лавка на углу, через квартал от дома матери, перешла к другому хозяину, — сообщил он нам. — Я догадывался об этом потому, что там уже другая вывеска. Только через полгода мне удалось написать матери

письмо и спросить насчет лавки. И мать ответила, что да, верно, лавка перешла к другому хозяину.

— А ты прочел, что было написано на вывеске? — спросил Джек Оппенхеймер.

— А как же! — отвечал Моррел. — Иначе откуда бы я мог узнать?

— Ладно, — простучал в ответ скептик Оппенхеймер. — Ты легко можешь доказать, что не врешь. Когда здесь будет дежурить кто-нибудь из порядочных надзирателей, из тех, кто позволяет заглянуть одним глазком в газету, ты заставь надеть на себя смирительную рубашку, а потом вылезай вон из тела и отправляйся в наш старый Фриско. Там часика так в два, три ночи ступай на угол Третьей улицы и Рыночной площади. В это время начинают поступать первые оттиски утренних газет. Ты прочтешь последние новости, а потом, не теряя времени, проскользнешь обратно к нам сюда, в Сен-Квентин, пока буксир со свежими газетами еще не пересек залива, и расскажешь все, что ты там вычитал. Потом мы подождем, пока наш надзиратель не покажет нам утреннюю газету. И тогда, если в газете действительно будет то, что ты нам расскажешь, я уверую в каждое твое слово.

Это была бы недурная проверка. Я не мог не согласиться с Оппенхеймером, что такое доказательство было бы совершенно неопровержимым. Моррел ответил, что он когда-нибудь непременно это проделает, но так как самый процесс отделения от тела в высшей степени тягостен для него, то он рискнет лишь тогда, когда не сможет больше терпеть страданий, причиняемых смирительной рубашкой.

— Вот с такими, как ты, всегда так — делом вы доказать ничего не можете, — стоял на своем Оппенхеймер. — Моя мать верила в духов. Когда я был еще мальчонкой, она постоянно видела духов, разговаривала с ними и даже получала советы. А вот делом-то они ничего не доказывали. Ни разу не открыли ей, где наш старик может подцепить работенку, или найти золотую россыпь, или на какой номер упадет большой выигрыш в китайской лотерее. Нет, ни разу в жизни этого не было. Они сообщали ей только разную чепуху, вроде того, что у дяди нашего старика был зоб, или что их дедушка помер от скоротечной чахотки, или что месяца через четыре мы съедем с квартиры, а уж это предсказать было проще простого, — ведь мы съезжали с квартиры в среднем раз шесть в год.

Если бы Оппенхеймер имел возможность получить хорошее образование, из него, пожалуй, вышел бы второй Маринетти или Геккель. Он обладал необычайно трезвым практическим складом ума, он признавал только неопровержимые факты, и его логика, хотя и слишком рассудочная,

была железной. «Докажите мне» — такова была основная мерка, с которой он подходил ко всему. Он не принимал на веру ничего, абсолютно ничего. Именно эту его черту имел в виду Моррел, когда впервые открыл мне свой секрет. Полная неспособность принять что-нибудь на веру помешала Оппенхеймеру достигнуть «малой смерти» в смиренной рубашке.

Как видишь, мой читатель, жизнь в одиночном заключении не так уж безнадежно уныла. Троим людям, наделенным таким интеллектом, как у нас, было чем заполнить время и скоротать досуг. Возможно, что каждый из нас помог другим не сойти с ума, хотя должен заметить, что Оппенхеймер пробыл в одиночке целых пять лет, прежде чем в соседней камере появился Моррел, и тем не менее не потерял рассудка.

Но остерегайтесь впасть и в противоположную крайность: было бы большой ошибкой думать, что наша жизнь в одиночке была своего рода оргией духовных наслаждений и состояла из обмена возвышенными мыслями и захватывающих философских открытий.

Мы страдали физически — жестоко, непрерывно. Наши тюремщики — твои верные цепные псы, милейший обыватель, — были грубыми животными. Мы жили в грязи, в зловонии. Мы ели мерзкую, однообразную, абсолютно непитательную пищу.

Только люди благодаря силе своего духа, своей воле могут не умереть при таком питании. Мне ли не знать, что наш премированный рогатый скот и наши свиньи и овцы на образцово-показательной ферме университета в Дэвисе очень быстро околели бы все до единого, если бы их посадить на рацион, в такой же мере недопустимый с научной точки зрения, как тот, что получали мы!

Мы были лишены книг. Даже наши перестукивания являлись грубым нарушением тюремных правил. Окружающий мир для нас практически не существовал. Он стал призрачным и нереальным. Оппенхеймер, например, ни разу в жизни не видел ни автомобиля, ни мотоцикла. Время от времени в тюрьму просачивались кое-какие вести извне, но все это были устарелые, противоречивые и порой уже утратившие смысл новости. Оппенхеймер сказал мне, например, что он узнал о русско-японской войне только спустя два года после ее окончания.

Мы были живыми мертвецами. Одиночка была нашим склепом, в котором мы порой разговаривали друг с другом, стуча, как духи во время спиритического сеанса.

Новости? Каждая малость была новостью для нас. В пекарне сменился пекарь — мы сразу догадались об этом, как только нам принесли хлеб. Почему Конопатый Джонс отсутствовал целую неделю? Получил отпуск

или заболел? Почему Уилсона, который дежурил у нас только десять дней, перевели куда-то еще? Где Смит заработал этот синяк под глазом? По поводу каждой такой безделицы мы могли ломать себе голову целую неделю.

Если в одиночку на месяц сажали какого-нибудь нового заключенного, это было для нас огромным событием. Впрочем, ни от одного из этих тупоголовых Данте, на время спускавшихся в наш ад, нам ничего не удалось узнать: срок их пребывания там был слишком краток, и они уходили обратно в широкий, светлый мир живых, прежде чем успевали научиться нашему способу общения.

И все же у нас, в нашем царстве теней, были развлечения и более возвышенного порядка. Так, например, я обучил Оппенхеймера играть в шахматы. Подумайте, как невероятно сложна эта задача: с помощью перестукивания обучить игре в шахматы человека, отделенного от меня двенадцатью камерами. Научить его мысленно представлять себе шахматную доску, представлять себе все фигуры, их расположение, научить его всем разнообразным ходам и всем правилам игры, и притом научить так основательно, что мы с ним в конце концов могли разыгрывать в уме целые партии. В конце концов, сказал я? Вот вам еще одно доказательство блистательных способностей Оппенхеймера: в конце концов он стал играть несравненно лучше меня, хотя никогда в жизни не видел ни одной шахматной фигуры!

Интересно, что представлялось его воображению, когда я выстукивал ему, к примеру, слово «ладья»? Не раз и совершенно тщетно задавал я ему этот вопрос. И столь же тщетно пытался он описать мне словами этот предмет, которого он никогда не видал, но которым тем не менее умел пользоваться так искусно, что частенько ставил меня во время игры в чрезвычайно затруднительное положение.

Размышляя над этими проявлениями человеческой воли и духа, я в который раз прихожу к заключению, что именно в них и есть проявление истинно сущего. Только дух является подлинной реальностью. Тело — это видимость, фантасмагория. Я спрашиваю вас: как, да, повторяю, как тело, как материя в любой форме может играть в шахматы на воображаемой доске воображаемыми шахматными фигурами с партнером, отделенным от него пространством в двенадцать камер, и все с помощью только костяшек пальцев?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Я был когда-то англичанином по имени Эдам Стрэнг.

Я жил, насколько я могу понять, примерно между 1550 и 1650 годами и умер, как вы увидите, в весьма преклонном возрасте. После того как Эд Моррел открыл мне способ погружаться в малую смерть, я всегда чрезвычайно сожалел о том, что слишком мало изучал историю. Я мог бы тогда более точно определить время и место действия многих событий, а сейчас имею об этом лишь смутное представление и вынужден наугад определять, где и когда протекала моя жизнь в моих прежних воплощениях.

Что касается Эдама Стрэнга, то наиболее странным кажется мне то, что я так мало помню о первых тридцати годах его жизни.

Не раз, лежа в смиренной рубашке, я превращался в Эдама Стрэнга, но всегда он бывал уже рослым, крепко скроенным тридцатилетним мужчиной.

Становясь Эдамом Стрэнгом, я неизменно оказываюсь на архипелаге плоских песчаных островов где-то в западной части Тихого океана неподалеку от экватора. По-видимому, я нахожусь там уже давно, ибо чувствую себя в привычной обстановке.

На островах обитает несколько тысяч людей, но я единственный белый. Туземцы принадлежат к очень красивому племени — высокие, широкоплечие, мускулистые. Мужчина шести футов ростом здесь самое обычное явление. Царек Раа Коок ростом никак не меньше шести футов и шести дюймов, и хотя он весит добрых триста фунтов, но так пропорционально сложен, что его никак нельзя назвать тучным. И многие из вождей такие же крупные мужчины, как он сам, а женщины лишь чуть-чуть уступают в росте мужчинам.

Архипелаг, которым правит Раа Коок, состоит из множества островков, причем на небольшой южной их группе, расположенной обособленно, царит вечное недовольство и время от времени вспыхивают мятежи. Здешние туземцы — полинезийцы: я знаю это потому, что у них прямые черные волосы, а кожа коричневая, теплого, золотистого оттенка. Язык их, которым я владею совершенно свободно, плавен, выразителен и музыкален; слова состоят преимущественно из гласных, согласных очень мало. Туземцы любят цветы, музыку, игры и танцы. В своих развлечениях они веселы и простодушны, как дети, но жестоки и в гневе и в сражениях, как подлинные дикари.

Я, Эдам Стрэнг, помню свое прошлое, но, кажется, не особенно задумываюсь над ним. Я живу настоящим. Я не люблю ни вспоминать прошлое, ни заглядывать в будущее. Я беззаботен, доверчив, опрометчив, а бьющая через край жизненная сила и ощущение простого физического благополучия делают меня счастливым. Вдоволь рыбы, фруктов, овощей, морских водорослей — я сыт и доволен. Я занимаю высокое положение, ибо я первый приближенный Раа Коока и стою выше всех, выше даже Абба Таака — самого главного жреца. Никто не посмеет поднять на меня руку. Я — табу, я нечто священное, столь же священное, как лодочный сарай, под полом которого покоятся кости невесть какого количества туземных царей — предков Раа Коока.

Я помню, как очутился тут, как спасся один из всей потерпевшей кораблекрушение команды: был шторм, и все утонули.

Но я не люблю вспоминать эту катастрофу. Если уж мои мысли обращаются к прошлому, я предпочитаю вспоминать далекое детство и мою белокожую, светловолосую, полногрудую мать-англичанку. Мы жили в крошечной деревушке, состоявшей из десятка крытых соломой домишек. Я снова слышу, как посвистывают дрозды в живых изгородях, снова вижу голубые брызги колокольчиков среди бархатистой зелени луга на опушке дубовой рощи. Но особенно врезался мне в память огромный жеребец, которого часто проводили по нашей узкой улочке: он ржал, бил задними ногами с мохнатыми страшными бабками и становился на дыбы. Я пугался этого огромного животного и с визгом бросался к матери, цеплялся за ее юбки и зарывался в них головой.

Впрочем, хватит. Не о детских годах Эдама Стрэнга намеревался я повести свой рассказ.

Я уже несколько лет жил на острове, названия которого не знаю, и был, по-видимому, первым белым человеком, ступившим на эту землю. Я был женат на Леи-Леи, сестре царя. Ее рост самую малость превышал шесть футов, и как раз на эту малость моя жена была выше меня. Я же был настоящим красавцем: широкие плечи, мощный торс, безупречное сложение. Женщины в разных краях и странах заглядывались на меня. Защищенная от солнца кожа под мышками была у меня молочно-белой, как кожа моей матери. У меня были синие глаза, а волосы, борода и усы — золотистые, как у викингов на картинах. Да, собственно говоря, они, вероятно, и были моими предками — какой-нибудь морской бродяга, поселившийся в Англии. Ведь хотя я и родился в деревенской лачуге, шум морского прибоя, как видно, пел у меня в крови, так как я, едва оперившись, сумел отыскать дорогу к морю и пробраться на корабль, чтобы

стать матросом. Да, вот кем я был — не офицером, не благородным путешественником, а простым матросом: работал зверски, был зверски бит, терпел зверские лишения.

Я представлял немалую ценность для Раа Коока — вот почему он одарял меня своими царскими милостями. Я умел ковать, а с нашего разбитого бурей судна попало на острова Раа Коока первое железо. Однажды мы отправились на пирогах за железом к нашему кораблю, затонувшему в десяти лигах к северо-западу от главного острова. Корпус корабля уже соскользнул с рифа и лежал на дне, на глубине в пятнадцать морских сажен. И с этой глубины мы поднимали железо. Как ныряли и плавали под водой островитяне — этому можно только дивиться. Я тоже научился нырять на глубину пятнадцать морских сажен, но никогда не мог сравняться с ними — они плавали под водой, как рыбы. На суше я мог повалить любого из них — я был для этого достаточно силен и к тому же прошел хорошую школу на английских кораблях. Я обучил туземцев драться дубинками, и это развлечение оказалось настолько заразительным, что проломленные черепа сделались заурядным явлением.

На затонувшем корабле отыскался судовой журнал. Морская вода превратила его в настоящий студень, чернила расплылись, и прочесть что-либо было почти невозможно. Все же в надежде, что какой-нибудь ученый-историк сумеет, быть может, более точно определить время событий, которые я собираюсь описать, я приведу здесь небольшой отрывок из этого журнала.

«Ветер попутный, и это дало возможность проверить наши запасы и просушить часть провианта, в частности вяленую рыбу и свиные окорока. Кроме того, на палубе была отслужена обедня. После полудня ветер дул с юга, посвежел, временами налетали шквалы, но без дождя, так что на следующее утро мы могли произвести уборку и даже окурить корабль порохом».

Впрочем, не буду отвлекаться — я хочу рассказать не об Эдаме Стрэнге, простом матросе, попавшем с потерпевшего крушение судна на коралловый остров, но об Эдаме Стрэнге, известном в последствии под именем У Ен Ика, то есть Могучего, который был в свое время одним из фаворитов великого Юн Сана и возлюбленным, а затем и мужем благородной госпожи Ом из царского дома Мин и который потом долгие годы скитался как последний нищий и пария по дорогам и селениям Чосона, прося подаяния.

(О да, Чосона. Это значит: Страна утренней свежести. На современном языке она называется Кореей.) Не забывайте, это было три-четыре столетия

назад, когда я жил на коралловом архипелаге Раа Коока — первый белый человек, вступивший на эти острова. В те времена европейские корабли редко бороздили эти воды. Легко могло бы случиться, что я так и скоротал бы свой век там, тучнея в довольстве и покое под горячим солнцем в краю, где не бывает мороза, если бы не «Спарвер» — голландское торговое судно, которое отправилось искать новую Индию в неведомых морях, лежащих за настоящей Индией, но нашло меня, и кроме меня — ничего.

Разве я не сказал вам, что я был веселым, простосердечным золотобородым мальчишкой в образе великана, мальчишкой, который так никогда и не стал взрослым? Когда «Спарвер» наполнил пресной водой свои бочки, я без малейших сожалений покинул Гоа Коока и его райские острова, оставил свою жену Леи-Леи и всех ее увитых цветочными гирляндами сестер, с радостной улыбкой на губах вдохнул знакомый и милый моему сердцу запах просмоленной дерева и канатов и снова, как прежде, простым матросом ушел в море на корабле, которым командовал капитан Иоганес Мартенс.

Хорошие это были денечки, когда, охотясь за шелком и пряностями, мы бороздили океан на старом «Спарвере». Но мы шли на поиски новых стран, а нашли злую лихорадку, насильственную смерть и тлетворные райские сады, где красота и смерть идут рука об руку. А старый Иоганнес Мартенс (вот уж кого нельзя было заподозрить в романтизме, глядя на его грубоватое лицо и квадратную седеющую голову!) искал сокровища Голконды, острова царя Соломона... Да что там! Он искал погибшую Атлантиду, верил, что она не погибла и он ее отыщет, еще никем не разграбленную. А нашел он только живущее на деревьях племя каннибалов, охотников за черепами.

Мы приставали к неведомым островам, где о берега неумолчно бился морской прибой, а на вершинах гор курились дымки вулканов и где низкорослые курчавые туземные племена по обезьяньи кричали к зарослям, рыли ямы-ловушки на тронах, ведущих к их жилью, заваливали их колючим кустарником и пускали в нас из полумрака и тишины джунглей отравленные стрелы.

И тот, кого царапнула такая стрела, умирал в страшных корчах, воя от боли. И другие племена попадались нам более рослые и еще более свирепые; эти встречали нас на берегу и шли против нас в открытую, и тогда копья и стрелы летели в нас со всех сторон а над лесистыми лощинами разносился гром и треск больших барабанов и маленьких тамтамов, и над всеми холмами поднимались к небу сигнальные столбы дыма.

Нашего суперкарго звали Хендрик Хэмел, и он был одним из совладельцев «Снарвера», а то, что не принадлежало ему, являлось собственностью капитана Иоганнеса Мартенса. Капитан довольно плохо изъяснялся по-английски, Хендрик Хэмел — немногим лучше его. Мои товарищи-матросы говорили только по-голландски. Но настоящему моряку нипочем овладеть голландским языком, да и корейским тоже, как ты в этом убедишься, читатель.

Наконец мы добрались до островов, которые были нанесены на карту, до Японских островов. Однако население здесь не пожелало вести с нами торговлю, и два офицера с мечами у пояса, в развевающихся шелковых одеждах (при виде их у капитана Иоганнеса Мартенса даже слюнки потекли) поднялись на борт нашего судна и весьма учтиво попросили нас убраться восвояси. Под любезной обходительностью их манер скрывалась железная решимость воинственной нации. Это мы хорошо поняли и поплыли дальше.

Мы пересекли Японский пролив и вошли в Желтое море, держа курс на Китай, и тут наш «Спарвер» разбился о скалы. Это была старая, нелепая посудина — наш бедный «Спарвер», такая неуклюжая и такая грязная, с килем, обросшим бахромой водорослей, словно бородой, что она потеряла всякую маневренность.

Если ей нужно было лечь в крутой бейдевинд, она не могла держать ближе шести румбов к ветру и ее начинало носить по волнам, как выброшенную за ненадобностью репу. По сравнению с ней любой галеон был быстроходным клипером. О том, чтобы сделать на ней поворот оверштаг, нечего было и мечтать, а для поворота фордевинд требовались усилия всей команды на протяжении полувахты. Вот почему, когда направление урагана, сорок восемь часов кряду вытряхивавшего из нас душу, внезапно изменилось на восемь румбов, нас разбило о скалы подветренного берега.

В холодном свете зари нас пригнало к берегу на безжалостных водяных валах высотой с юру. Была зима, и в промежутках между порывами снежного шквала впереди мелькала гибельная полоса земли, если можно назвать землей это хаотическое нагромождение скал. За бесчисленными каменистыми островками вдаль выступали из тумана покрытые снегом горные хребты, прямо перед нами поднималась стена утесов, настолько отвесных, что на них не могло удержаться ни клочка снега, а среди пенистых бурунов торчали острые зубы рифов.

Земля, к которой нас несло, была безымянна, ее береговая линия была едва намечена на нашей карте, и не имелось никаких указаний на то, что

здесь когда-либо побывали мореходы. Мы могли только прийти к заключению, что обитатели этой страны, вероятно, столь же негостеприимны, как и открывшийся нашему взору кусок ее берега.

«Спарвер» ударило об утес носом. Утес уходил отвесно в море на большую глубину, и наш летящий в него бушприт сломался у самого основания. Фок-мачта тоже не выдержала и со страшным треском, таща за собой ванты и штаги, легла на борт, одним концом повиснув над утесом.

Старик Иоганнес Мартенс всегда вызывал во мне восхищение.

Нас смыло волной с юта, протащило по палубе и швырнуло на шкафут, откуда мы начали карабкаться на вздыбленный бак. Все остальные устремились туда же. Там мы покрепче привязали друг друга и пересчитали уцелевших. Нас осталось восемнадцать человек. Остальные погибли.

Иоганнес Мартенс тронул меня за плечо и показал наверх, где из-за каскада морской воды проглядывал край утеса. Я понял его.

Футах в двадцати ниже клотика фок-мачта со скрежетом терлась о выступ утеса. Над выступом была расселина. Иоганнес Мартенс хотел знать, рискну ли я перепрыгнуть с марса фок-мачты в эту расселину. Расстояние между ними то не превышало шести футов, то достигало футов двадцати. Корпус судна мотало, и фок-мачта, зацепившаяся расщепленным концом, дергалась и раскачивалась вместе с ним.

Я начал взбираться на мачту. Но остальные не стали ждать.

Все они один за другим освободились от веревок и полезли следом за мной по неверному мосту. У них были основания спешить: ведь каждую минуту «Спарвер» мог сорваться с рифа в глубокую воду и затонуть. Я улучил подходящий момент, прыгнул и уцепился за скалу в расщелине и приготовился помочь тому, кто последует за мной. Но это произошло не скоро. Мы все промокли насквозь и совсем окоченели на резком ветру. А ведь каждый прыжок необходимо было приноровить к раскачиванию судна и мачты.

Первым погиб кок. Волна смыла его с марса, закрутила и расплющила об утес. Юнга, бородатый малый двадцати с лишним лет, потерял равновесие, соскользнул под мачту, и его придавило к скале. Придавило! Он дышал не дольше секунды. Еще двое последовали за коком. Иоганнес Мартенс покинул корабль последним, и он был четырнадцатым уцелевшим, благополучно прыгнув с мачты в расселину. Час спустя «Спарвер» сорвался с рифа и затонул.

Два дня и две ночи сидели мы в этой расселине и ждали смерти — пути не было ни вниз, ни вверх. На третье утро нас заметили с рыбацкой

лодки. Все рыбаки были одеты в белую, но очень грязную одежду, у всех были длинные волосы, связанные в пучок на макушке. Как я узнал впоследствии, это была брачная прическа, и, как я тоже узнал впоследствии, за нее очень удобно хвататься одной рукой, другой нанося удары, когда в споре словами уже ничего доказать нельзя.

Рыбаки отправились в деревню за подмогой, после чего все население деревни с помощью всех имевшихся в его распоряжении средств чуть ли не весь день снимало нас со скалы. Это был нищий, обездоленный люд, пища их была неудобоварима даже для желудка простого матроса. Они питались рисом, коричневым, как шоколад.

Это варево состояло наполовину из шелухи с большой примесью грязи и всевозможного мусора. Во время еды приходилось то и дело засовывать в рот два пальца, чтобы извлечь оттуда всяческие посторонние предметы. Помимо этого варева, рыбаки питались просом и различными маринадами, поражавшими своим разнообразием и обжигавшими язык.

Селение состояло из глинобитных, крытых соломой хижин.

Под полом в хижинах были устроены дымоходы, и таким образом дым очагов служил для обогрева спален. В одной из таких хижин мы и отдыхали несколько дней, покуривая легкий и почти лишенный аромата местный табак из трубок с длинным мундштуком и крошечным чубуком. Помимо табака, нас угощали еще теплым кисловатым мутновато-белым напитком, от которого можно было захмелеть, лишь выпив его в немыслимом количестве. Скажу, не соврав, что только после того, как я проглотил его несколько галлонов, мне пришла охота петь, что служит признаком опьянения у матросов всего мира. Ободренные моим успехом, остальные тоже налегли на это пойло, и скоро мы уже орали во все горло песни, не обращая ни малейшего внимания на метель, которая опять бушевала над островом, и мало тревожась о том, что мы заброшены в никому неведомую, забытую Богом страну. Старик Иоганнес Мартенс смеялся, орал песни и хлопал себя по ляжкам вместе с нами. Хендрик Хэмел, невозмутимый, замкнутый голландец с черными, как уголь, волосами и маленькими черными бусинками глаз, тоже вдруг разошелся и швырял серебряные монеты, как пьяный матрос в порту, требуя еще и еще молочного пойла.

Мы буянили вовсю, но женщины продолжали подносить нам питье, и весь поселок, казалось, набился к нам в хижину посмотреть, что мы вытворяем.

Белый человек обошел весь земной шар и всюду чувствовал себя хозяином именно благодаря своей беспечности, думается мне. Впрочем, это

относится только к его манере себя держать, ибо побудительными причинами служили неугомонность и жажда наживы. Вот потому-то и капитан Иоганнес Мартенс, Хендрик Хэмел и двенадцать матросов буйствовали и горланили песни в рыбацьем поселке в то время, как над Желтым морем завывала зимняя буря.

То немногое, что мы успели увидеть на этой земле, Чосоне, не произвело на нас отрадного впечатления. Если здешний народ был похож на этих рыбаков, не приходилось удивляться, почему сюда не заходят европейские корабли. Однако мы ошибались.

Поселок был расположен на прибрежном островке, и местные старейшины, по-видимому, передали весть о нашем прибытии на материк, ибо как-то поутру три большие двухмачтовые джонки с треугольными парусами из рисовой циновки бросили якорь неподалеку от нашего берега.

Когда новоприбывшие выступили в деревню, капитан Иоганнес Мартенс чрезвычайно оживился, так как снова узрел вожденный шелк. Впереди шел кореец, облаченный в шелка всевозможных бледных оттенков; его сопровождала раболепная, тоже одетая в шелк свита числом в пять-шесть человек. Квон Юн Дин — я узнал его имя впоследствии — был «янбан», то есть благородный.

Притом он был еще чем-то вроде губернатора или правителя одной из областей и, следовательно, правительственный чиновник. Его обязанности сводились в основном к взиманию податей и храмовых сборов.

Одновременно с правителем и его свитой на остров высадилось около сотни солдат, которые строем вошли в поселок. Они были вооружены трезубцами, секирами и пиками, а некоторые даже мушкетами столь внушительных размеров, что каждый мушкет обслуживали два солдата: один нес и устанавливал сошку, на которой должен был покоиться ствол мушкета, другой нес самый мушкет и стрелял из него. Порой — в этом я тоже убедился впоследствии — мушкет стрелял, порой нет. Все зависело от состояния запального трута и пороха на полке.

Так прибыл к нам Квон Юн Дин. Старейшины поселка трепетали перед ним, да и не зря, в чем мы довольно скоро убедились. Я выступил вперед и предложил свои услуги в качестве переводчика, так как знал сотню корейских слов. Однако Квон Юн Дин нахмурился и жестом велел мне отойти в сторону. Но почему должен был я ему повиноваться? Я был так же высок, как он, а весил фунтов на тридцать больше; у меня была белая кожа и золотые волосы. Он повернулся ко мне спиной и обратился к одному из старейшин поселка, а шестеро его обряженных в шелк приближенных загородили его от меня. Тем временем подошли еще

солдаты; они несли на плечах толстые доски. Эти доски были около шести футов в длину, фута два в ширину и наполовину надпилены в продольном направлении. Возле одного из концов доски было круглое отверстие, чуть шире человеческой шеи.

Квон Юн Дин отдал какое-то распоряжение. Несколько солдат приблизились к Тромпу, который, сидя на земле, разглядывал свою ногтееду. Тромп был туповатый, неповоротливый, не особенно смекалистый парень, и, прежде чем он понял, что происходит, одна из досок разделилась надвое, наподобие раскрывающихся ножниц, и защелкнулась вокруг его шеи. Поняв, в какую он попал ловушку, Тромп взревел и запрыгал на месте так, что все отпрянули в испуге, спасаясь от пляшущего в воздухе длинного конца его доски.

Ну тут и пошло! Мы поняли, что Квон Юн Дин намерен надеть такие колодки на шею всем нам. Мы сопротивлялись отчаянно — голыми кулаками отбивались от сотни солдат и примерно такого же количества рыбаков, а Квон Юн Дин, горделивый и презрительный, весь в шелку, стоял поодаль и наблюдал. Тогда-то я и получил свою кличку У Ён Ик, что значит Могучий. Когда на всех моих товарищей уже надели колодки, я еще продолжал сопротивляться. Кулаки у меня были что твой кузнечный молот, и я был полон решимости использовать их как можно лучше.

К моей радости, я скоро обнаружил, что корейцы не имеют ни малейшего представления о кулачном бое и не знают никаких приемов защиты. От моих ударов они летели на землю, как кегли, и я наваливал их друг на друга целыми грудами.

Но мне хотелось добраться до Квон Юн Дина, и, когда я бросился на него, ему бы пришлось худо, если бы не его свита. Это все был слабосильный народ, и я успел сделать хорошую кашу из них и из их шелковых одеяний, прежде чем за меня принялись все остальные. Их было слишком много. Мои кулаки просто завязли в этой гуще, потому что задние давили на передних и не давали им пятиться. И как же я с ними расправлялся! Под конец они в три слоя копошились под моими ногами. Но когда подросла команда со всех трех джонок и навалилась на меня вместе с жителями всей деревни, они меня попросту задавили. После чего надеть мне на шею колодку было делом нехитрым.

— Боже милостивый, что же дальше будет? — воскликнул один из матросов, по имени Вандервут, когда нас всех погрузили в джонку.

Мы сидели на открытой палубе, похожие на кур, которым спутали ноги и связали крылья, когда он воскликнул это, и тут ветер сильно накренил джонку, и мы все, гремя колодками, покатались по палубе,

ободрав шеи, и привалились к борту с подветренной стороны. А Квон Юн Дин взирал на это с высокой кормы и, казалось, даже нас не видел. Впоследствии в течение многих лет беднягу Вандервута никто не называл иначе, как: «Что же дальше?» Не повезло ему! Он замерз однажды ночью на улице в Кейдзё, и ни одна дверь не отворилась на его мольбу, никто не впустил его погреться.

Нас отвезли на материк и бросили в вонючую, кишевшую паразитами тюрьму. Так мы познакомились с правителями страны, которая называлась Чосон. Но, как вы вскоре убедитесь, мне удалось расквитаться за всех нас с Квон Юн Дином в те дни, когда госпожа Ом была ко мне благосклонна и я стал могущественным лицом и обладал немалой властью.

В тюрьме мы пробыли довольно долго. Потом мы узнали, по какой причине: Квон Юн Дин послал нарочного в Кейдзё, столицу Чосона, чтобы узнать монаршую волю в отношении нас. А пока на нас приходили глазеть, как на зверей в зверинце. От зари до зари местные жители осаждали тюрьму, разглядывая нас сквозь решетки в окнах, ибо мы были первыми представителями белой расы, которых им довелось увидеть. И, надо сказать, посещала нас далеко не одна только чернь. Высокопоставленные дамы в паланкинах, которые несли кули, являлись поглядеть диковинных чертей, выброшенных морем, и пока их слуги разгоняли простой народ бичами, они долго, внимательно и безмолвно разглядывали нас. Мы же мало что могли увидеть, так как, по обычаю страны, лица их были закрыты. Только танцовщицы, женщины легкого поведения и древние старухи появлялись с открытыми лицами.

Мне не раз приходило на ум, что Квон Юн Дин страдал несварением желудка, и когда ему бывало особенно плохо, он вымещал свою досаду на нас. Но так или иначе, без малейшего к тому повода, как только ему приходила в голову такая блажь, нас выводили на улицу перед тюрьмой и под восторженные крики и улюлюканье зевак нещадно избивали палками. Азиат жесток, и зрелище человеческих страданий доставляет ему удовольствие.

Как вы легко можете себе представить, мы все возликовали, когда этим избиениям пришел конец. Это сделал Ким. Ким! Что сказать вам о Киме? Никого благороднее его мне не довелось встречать в этой стране — и тут не нужны слова. Когда я впервые увидел Кима, он был начальником отряда в пятьдесят воинов, но, в конце концов, благодаря мне он стал начальником дворцовой стражи. А потом он отдал жизнь, спасая госпожу Ом и меня. Ким... ну, словом, Ким — это был Ким.

Как только он прибыл, с нас немедленно сняли колодки и поместили

нас в самой лучшей гостинице города. Мы все еще оставались пленниками, но уже пленниками почетными, с охраной в пятьдесят всадников, и на следующий же день все мы, четырнадцать моряков, верхом на карликовых чосонских лошадках направлялись в столицу по Большому Императорскому пути. Император, как сообщил нам Ким, пожелал взглянуть на удивительных морских чертей.

Путешествие было многодневным: мы проехали с юга на север примерно половину всей страны. В первый же день на привале я, прогуливаясь, пошел посмотреть, как кормят этих карликовых лошадок. То, что предстало моему взору, заставило меня заорать во всю глотку: «Что же дальше будет, Вандервут?» И я продолжал орать, пока не сбежались все наши. Умереть мне, не сходя с места, если эти чудаки не кормили своих лошадок бобовым супом, да притом еще горячим. Да, да, горячим бобовым супом. И ничего другого за всю дорогу. Так уж повелось в этой стране.

Это были действительно карликовые лошадки. Побившись об заклад с Кимом, я поднял одну из них, хотя она отчаянно брыкалась и ржала, и вскинул себе на плечи. И тогда солдаты Кима, которые уже слышали мое прозвище, закричали, называя меня У Ён Ик — Могучий. Корейцы — рослая, мускулистая нация, а Ким даже для корейца был крупный мужчина и, помню, этим гордился. Но когда мы с ним поставили локоть к локтю и сцепили ладони, я без труда уложил его руку на стол. А его солдаты и многочисленные зеваки из поселка глядели на наше состязание и бормотали: «У Ён Ик».

Наше путешествие несколько напоминало передвижение странствующего зверинца. Весть о нас летела впереди, и люди стекались из окрестных селений к обочинам дороги поглазеть на нас. Да, путешествие казалось нескончаемым, а мы походили на бродячий цирк. Но ночам в городах гостиницу, где мы останавливались, осаждали толпы любопытных, и мы не знали покоя, пока наша охрана не разгоняла их пиками. Но сначала Ким устраивал поединок между мной и самыми сильными борцами деревни и забавлялся, глядя, как я валю их на землю одного за другим.

Хлеба в этой стране не едят, и нас кормили белым рисом, что не способствует укреплению мускулов, мясом, причем, как мы вскоре обнаружили, — собачиной (в Чосоне собак постоянно забивают на мясо), и различными нестерпимо острыми маринадами, в которых, однако, быстро начинаешь находить вкус. И теперь у нас уже была водка, настоящая водка — не молочная бурда, а прозрачный, обжигающий горло напиток (его гонят из риса), одна пинта которого валила с ног слабосильных, а здорового, крепкого мужчину делала веселым и буйным. В обнесенном стеной городе

Чонхо я, выпив этого напитка, был еще свеж, в то время как Ким и все местные вельможи валялись под столом, вернее, не столько под столом, сколько на столе, — ведь столом нам служил пол, на котором мы сидели на корточках, так что у меня с непривычки постоянно сводило судорогой ноги. И снова все бормотали, глядя на меня:

— У Ён Ик!

И слава о моей удали донеслась до Кейдзё и до дворца императора.

Казалось, я был не столько пленником, сколько почетным гостем и всю дорогу ехал верхом рядом с Кимом. Мои длинные ноги почти достигали земли, а когда дорога поднималась в гору, и вовсе волочились по пыли. Ким был молод. Ким был благороден и добр. Он обладал всеми человеческими достоинствами. Он был бы уважаемым человеком в любой стране. Мы с ним болтали, смеялись к шутили целый день и большую часть ночи. И я впитывал в себя, как губка, слова его языка, его речь. Впрочем, чужие языки всегда давались мне легко. Даже Кима восхищала моя способность овладевать тонкостями корейской речи. И я без труда постигал мировоззрение корейцев, их юмор, их пристрастия, их слабости, их предрассудки. Ким обучил меня любовным песням, пиршественным песням, песням, воспевающим цветы. Одну из пиршественных песен он сочинил сам, Я попытаюсь здесь дать вам перевод, весьма приблизительный конечно, последней строфы этой песни. Содержание ее таково: Ким и Пак в молодости заключили договор и поклялись воздерживаться от спиртных напитков.

Клятва эта была довольно быстро нарушена. Состарившись, Ким и Пак поют:

Скорей, скорей! В веселой чаше
Найдут опору души наши
Против себя! Что ждать напрасно?
Где тут вином торгуют красным?
За персиком цветущим, да?
Прощай же, друг, — бегу туда.

Хендрик Хэмел, человек хитрый и изобретательный, всячески поощрял мои старания, которые располагали Кима не только ко мне, но через меня — и к самому Хендрику, и ко всем остальным.

Я упоминаю здесь о Хендрике Хэмеле как о моем постоянном советчике, ибо это обстоятельство сыграло немалую роль во всем, что

произошло впоследствии в Кейдзё, где я снискал расположение Юн Сана, милость императора и завоевал сердце госпожи Ом. Для игры, которую я вел, я обладал достаточной выдержкой, отвагой и до некоторой степени смекалкой, но должен признаться, что подлинным мозгом всей интриги был Хендрик Хэмел.

Итак, мы двигались по направлению к Кейдзё от одного обнесенного стеной города до другого обнесенного стеной города, через покрытые снегом горные перевалы, перемежавшиеся бесчисленными тучными пастбищами в долинах. И каждый вечер, на закате дня, один за другим на вершинах гор вспыхивали сигнальные огни. И каждый вечер Ким внимательно следил за этими световыми сигналами. От всех побережий Чосона, сказал мне Ким, бегут эти цепочки огней в Кейдзё и приносят на своем огненном языке вести императору. Когда горит один костер, — это сигнал спокойствия и мира. Два сигнала — весть о мятеже или вторжении неприятеля. Впрочем, двух сигналов нам не довелось видеть ни разу. И всю дорогу Вандервут, замыкавший шествие, поражался вслух:

— Боже милостивый, что же дальше будет?

Кейдзё оказался довольно большим городом, все население которого, за исключением лиц благородного звания — янбанов, всегда носило только белую одежду. По словам Кима, благодаря этому можно было сразу узнать, к какому сословию принадлежит человек: достаточно увидеть, насколько грязна его одежда.

Совершенно очевидно, что кули, например, у которого нет другой одежды, кроме той, что на нем, всегда будет страшно грязен.

И точно так же совершенно очевидно, что тот, на ком безупречно белые одежды, должен иметь их несколько смен и пользоваться услугами прачек, чтобы поддерживать эти одежды в столь белоснежном состоянии. Что же касается янбанов, одетых в разноцветные, бледных оттенков шелка, то к ним по их высокому положению эти обычные мерки были неприложимы.

По прошествии нескольких дней, которые мы провели в харчевне, занимаясь стиркой и латанием нашей одежды, сильно пострадавшей во время кораблекрушения и последующего путешествия, нас пригласили к императору. На просторной площади перед дворцом высились колоссальные каменные статуи собак, похожих скорее на черепах. Собаки лежали на массивных каменных пьедесталах высотой в два человеческих роста. Стены дворца были чрезвычайно массивны и сложены из обтесанных камней. Так толсты были эти стены, что, казалось, могли свободно выдержать обстрел из самой большой пушки в течение целого

года. Ворота в стене сами были величиной с целый дворец, а по форме напоминали пагоду: каждый последующий этаж был меньше предыдущего, и все крыты черепицей. У ворот стояли на страже пышно одетые воины. Ким сообщил мне, что это пхеньянские Охотники за тиграми — самые грозные и свирепые воины в Чосоне.

Но хватит об этом. Подробное описание одного лишь императорского дворца могло бы занять тысячу страниц. Замечу только, что мы увидели перед собой могущество и власть в их материальном воплощении. Лишь очень древняя и мощная цивилизация могла создать эту обнесенную стеной, увенчанную бесчисленными гребнями крыш резиденцию королей.

Нас, бедных матросов, проводили не в приемные покои, где получали аудиенцию послы, но, как мы догадались, в пиршественный зал. Трапеза уже подходила к концу, и все присутствующие были навеселе. А их там было немало. И кто пировал-то!

Сановники, принцы крови, вельможи, бледные священнослужители, загорелые военачальники, придворные дамы с открытыми лицами, раскрашенные танцовщицы кисан, отдохавшие после танцев, которыми они услаждали взоры гостей, прислужницы, евнухи, слуги и рабы... десятки рабов.

Но вот окружившая нас толпа раздалась, все расступились, когда император с кучкой приближенных направился к нам.

Это был веселый монарх (а для монарха азиатского даже на редкость веселый). Хотя ему было от силы лет сорок, он уже обзавелся отвислым брюшком, а ноги у него были тонкими и кривыми. Бледная, очень гладкая кожа его лица не знала ласки солнечных лучей. Однако он был когда-то недурен собой. Его высокий, благородный лоб свидетельствовал об этом. Но глаза у него были мутные, с припухшими веками, а губы непроизвольно дрожали и подергивались — кара за всевозможные излишества, которым он предавался, чему, как я узнал впоследствии, особенно способствовал Юн Сан, буддийский монах. Но о нем в свое время.

Мы, матросы, в нашей выдавшей виды матросской одежде, представляли собой довольно необычное зрелище, но и оказанный нам прием тоже был довольно необычным. Возгласы изумления при виде нас тут же сменились взрывами хохота. Кисан тотчас набросились на нас и стали тормошить, повиснув на каждом из нас по двое, по трое. Они принялись таскать нас по залу, словно ручных медведей, выделяющих забавные штуки. Все это было довольно унижительно для нас, но что могли мы, бедные матросы, поделать? Что мог поделать старик Иоганнес Мартенс с целой стаей хохочущих девушек, которые щипали его, дергали за нос и

щекотали так, что он невольно подскакивал на место? Чтобы избежать этих мучений, Ганс Эмден выбрался на свободное место и пустился в пляс, неуклюже откалывая джигу, а весь двор покатывался со смеху.

Все это было особенно унижительным для меня, ибо в течение уже многих дней я был собутыльником Кима и держался с ним на равной ноге. Я перестал обращать внимание на смеющихся кисан. Широко расставив ноги, скрестив руки на груди, я стоял, выпрямившись во весь рост. Ни щипки, ни щекотка не производили на меня ни малейшего впечатления — я их просто не замечал. И кисан оставили меня, устремившись за более легкой добычей.

— Бога ради, постарайся их чем-нибудь ошеломить, — сказал Хендрик Хэмел, который, таща трех повисших на нем кисан, сумел добраться до меня. Он пробормотал это сквозь зубы, так как стоило ему раскрыть рот, и кисан тотчас принимались запихивать ему в рот сладости.

— Прекрати это шутовство, — пробурчал он, нагибаясь, чтобы избежать протянутых к нему ладоней со сладостями. — Мы должны сохранять достоинство, понимаешь, достоинство. Иначе мы погибли. Они хотят сделать из нас дрессированных животных, шутов. А когда мы им прискучим, они вышвырнут нас. Ты ведешь себя правильно. Так и держись до конца. Осади их. Заставь их уважать тебя, уважать всех нас.

Последние слова я уже едва мог разобрать, так как к этому времени кисан успели так набить ему рот сладостями, что речь его стала нечленораздельной.

Как я уже говорил, у меня в те годы было достаточно и выдержки и отваги, а тут я призвал на помощь и всю свою матросскую сметку. Я решил начать с евнуха, щекотавшего мне сзади шею пером. Я уже привлек к себе внимание своим высокомерным и непроницаемым видом и полной нечувствительностью к заигрыванию кисан, и теперь многие с интересом наблюдали, как меня дразнит евнух. Я не шевельнулся, не подал виду, что замышляю что-то, пока твердо не установил, где он стоит и на каком расстоянии находится от меня. После этого, даже не повернув головы, я нанес ему молниеносный удар тыльной стороной кисти. Костяшки моих пальцев пришлись точно по его челюсти и скуле. Раздался звук, похожий на треск мачты, ломающейся под напором ветра, и евнух, отлетев от меня шагов на десять, рухнул на пол.

Никто не рассмеялся. Послышались только возгласы изумления, перешептывания и бормотание: «У Ен Ик». Я снова скрестил руки на груди и продолжал стоять так, довольно успешно напуская на себя надменный вид. Право, я убежден, что я, то есть Эдам Стрэнг, обладал, помимо всего

прочего, еще и актерской жилкой. Вот послушайте, что было дальше. Все взгляды были теперь прикованы ко мне, а я горделиво и высокомерно встречал любой взгляд и заставлял всех опускать глаза или отводить их в сторону — всех, кроме... кроме одной молодой женщины — высокопоставленной придворной дамы, судя по роскоши ее наряда и суетившейся возле нее полудюжины прислужниц. И в самом деле, это была госпожа Ом, принцесса из королевского рода Мин. Я назвал ее молодой. Она была моей ровесницей, ей тоже уже исполнилось тридцать лет, и вместе с тем, невзирая на ее зрелость и красоту, она еще не сочеталась браком, о чем я скоро узнал.

Только она одна смотрела мне прямо в глаза и не отводила своего взгляда до тех пор, пока не опустил глаза я. Но она вовсе не старалась заставить меня опустить глаза: в ее взгляде не было ни вызова, ни неприязни — только восхищение. Мне не хотелось признать себя побежденным какой-то слабой женщиной, и я перевел взгляд на своих товарищей, которых по-прежнему тормозили кисан. Это послужило для меня предлогом. Я хлопнул в ладоши, как делают на Востоке, отдавая распоряжение.

— Немедленно прекратите! — загремел я на их родном языке, употребив фразу, с которой обращаются к подчиненным.

О да, у меня была крепкая глотка и широкая грудная клетка, и я мог реветь так, что ушам было больно. Ручаюсь, что столь оглушительная команда впервые прозвучала в священных стенах императорского дворца.

Все оцепенели. Женщины испуганно прижались друг к другу, словно ища защиты. Кисан оставили в покое матросов и, смущенно хихикая, отпрянули в сторону. Одна только госпожа Ом не шевельнулась, даже бровью не повела, а продолжала широко открытыми глазами смотреть на меня, и наши взгляды снова встретились.

Гробовая тишина воцарилась в зале, словно перед вынесением приговора. Множество глаз украдкой устремлялись то на императора, то на меня. У меня хватило ума не нарушать этой тишины.

Я продолжал стоять, скрестив руки на груди, величественный и надменный.

— Он знает наш язык... — проронил наконец император, и по залу пронесся общий вздох облегчения.

— Я знаю этот язык с колыбели, — выпалил я, не задумываясь, опасные слова, которые подсказала мне моя матросская хитрость. — Я лепетал на нем у материнской груди. В моей стране на меня смотрели как на чудо. Мудрецы приезжали издалека для того только, чтобы увидеть меня

и слышать. Но никто не понимал слов, произносимых мной. С тех пор прошло много лет, и я стал забывать этот язык, но здесь, в Чосоне, слова возвратились ко мне, как давно утраченные друзья.

Да, я действительно их ошарашил. Император глотнул воздух, губы у него задергались, и он с трудом выговорил:

— Как же ты это объясняешь?

— Произошла ошибка, — отвечал я, следуя по опасному пути, на который толкнула меня моя хитрость. — Боги рождения проявили небрежность и забросили меня в чужую, далекую страну, где я и вырос среди чужого мне народа. Но я — кореец и вот теперь вернулся наконец в свою отчизну.

Раздались удивленные восклицания, и все начали перешептываться и совещаться. А император сам обратился с вопросами к Киму.

— Да, да, он как вышел из моря, так сразу и заговорил на нашем языке, это верно, — по доброте душевной солгал Ким.

— Принесите мне одежду, которая мне подходит, — перебил я его, — одежду янбана, и вы во всем убедитесь.

Когда меня повели переодеваться, я, прежде чем покинуть зал, обратился к кисан:

— Оставьте в покое моих рабов. Они совершили далекое путешествие и очень утомлены. Это мои верные рабы.

В соседнем покое Ким помог мне переодеться, отослав всех слуг, и тут же очень быстро и толково провел со мной небольшую генеральную репетицию. Он не больше моего понимал, чем все это может кончиться, но он был добрый мальчик.

Вернувшись в пиршественную залу, я снова принялся болтать по-корейски, прося отнестись снисходительно к неправильностям моей речи, проистекающим от отсутствия практики. Хендрик Хэмел и остальные мои товарищи, которым не под силу было одолеть новый язык, не понимали ни слова из того, что я изрекал, и это было довольно забавно.

— В моих жилах течет кровь династии Коре, — сказал я императору. — Она правила в Сондо много-много лет назад, утвердившись после падения Силлы.

Эти обрывки древней истории Кореи я узнал от Кима во время нашего путешествия, и теперь он изо всех сил старался сохранить серьезность, слушая свои собственные слова, которые я повторял, как попугай.

— А это, — сказал я, когда император спросил меня о моих товарищах, — это мои рабы — все за исключением вон того старика (я показал на Иоганнеса Мартенса). Он родился от свободной женщины.

(Затем я сделал Хендрику Хэмелу знак приблизиться.) А этот, — продолжал безудержно фантазировать я, — был рожден в доме моего отца от одной рабыни, которая тоже родилась в доме моего отца. Я приблизил его к себе, так как мы родились в один и тот же день, и в тот же самый день мой отец подарил его мне.

Потом, когда Хендрик Хэмел начал жадно меня расспрашивать, о чем говорилось на пиру, я повторил ему мои слова, и он расвирепел и принялся осыпать меня упреками.

— Что было, то было, Хендрик, — заявил я. — Сказал я это потому, что надо было что-то сказать, а на другое у меня не хватило соображения. Но так или иначе, сделанного не воротишь. Ни ты, ни я ничего теперь изменить не можем. Нам остается только продолжать эту игру, а там будь что будет.

Тай Бун, брат императора, был великий бражник, и в разгар пира он вызвал меня на состязание. Император пришел от этого в восторг и распорядился, чтобы в состязании приняли участие еще человек десять записных пьяниц самого благородного происхождения. Женщинам приказали удалиться, и мы принялись за дело: мы разом выпивали чашу за чашей, строго следя, чтобы никто не пропускал очереди. Кима я оставил возле себя, а когда перевалило за полночь, велел Хендрику Хэмелу, невзирая на его предостерегающе насупленные брови, забрать с собой всех наших и удалиться. Впрочем, я заранее потребовал, чтобы нам были отведены покой во дворце. И это было сделано.

На следующий день только и разговору было что об этом состязании, ибо в конце концов Тай Бун и все остальные мои соперники свалились мертвецки пьяные на циновки и захрапели, а я без посторонней помощи дошел до моей спальни. И в черные дни, наступившие позднее, Тай Бун продолжал свято верить в мою корейскую кровь. Только среди корейцев, утверждал он, попадаются такие крепкие головы.

Дворец, в сущности, представлял собой целый городок. Нас поместили в летнем павильоне, расположенном в стороне от главного здания. Здесь самые роскошные покои занял, разумеется, я, а Мартенс, Хендрик Хэмел и все остальные принуждены были, хотя и с ворчанием, удовольствоваться тем, что осталось.

Меня позвали к Юн Сану — к буддийскому монаху, о котором я уже упоминал. Так мы впервые увидели друг друга. Он отослал всех слуг, и даже Кима, и мы, оставшись совсем одни в тускло освещенной комнате, расположились на толстых циновках. Боже милостивый, что за человек был этот Юн Сан, что за ум! Он старался проникнуть мне в самую душу. Он

многое знал о других странах, он знал то, что никому другому здесь и не снилось. Верил ли он в басню о моем происхождении? Разгадать это было невозможно, лицо его всегда оставалось непроницаемым, словно оно было изваяно из бронзы.

Только Юн Сан знал, о чем думает Юн Сан. Но в этом бедно одетом, тощем человеке со впалым животом я почувствовал истинного владыку и всего дворца, и всего государства Чосон. И он, ничего не сказав, прямо дал мне понять, что я могу быть ему полезен. Быть может, это подсказала ему госпожа Ом? Я предоставил Хендрику Хэмелу разгадывать эту головоломку. Сам я ничего не понимал, да и не стремился понять, так как всегда жил только настоящим и предоставлял другим строить предположения и терзаться беспокойством перед будущим.

Меня призвала к себе также госпожа Ом, и неслышно ступающий евнух с жирным, лоснящимся лицом повел меня по тихим, пустынным залам дворца к ее покоям. Она жила, окруженная роскошью, как и подобает принцессе, — в собственном дворце, опоясанном купами столетних карликовых деревьев, каждое из которых едва доходило мне до пояса, и водоемами, в которых плавали лотосы. Бронзовые мосты, столь легкие и изящные, что они казались изделиями ювелира, были перекинuty над водоемами, а бамбуковая роща отделяла приют принцессы от остального дворца.

Голова у меня шла кругом. Я был простой матрос, но женщин я знал хорошо и, получив приглашение от госпожи Ом, почувствовал в этом нечто большее, чем простое любопытство. Я слышал рассказы о простолюдинах, любовниках королей, и спрашивал себя не выпало ли мне на долю доказать миру правдивость этих историй.

Госпожа Ом не стала тратить время попусту. Ее окружали прислужницы, но их присутствие значило для нее не больше, чем присутствие лошадей для возницы. Я опустился рядом с нею на мягкую толстую циновку, которая делала комнату похожей на огромное ложе, и нам подали вино и сладости на низеньких столиках, инкрустированных жемчугом.

Боже милостивый, мне достаточно было взглянуть ей в глаза!..

Но обождите. Поймите меня правильно. Госпожа Ом отнюдь не была глупа. Как я уже сказал, мы с ней были ровесниками.

Ей исполнилось уже тридцать лет, и она держалась, как подобало ее годам. Она знала, чего она хочет. Вот почему она еще не была замужем, хотя дворцовая клика пускала в ход все средства (а при восточных дворах их бывает немало), чтобы заставить ее стать женой Чон Мон Дю. Он

принадлежал к младшей ветви династии Мои Дю, был очень неглуп и так жадно рвался к могуществу, что внушал опасения даже невозмутимому Юн Сану, стремившемуся сохранить за собой всю полноту власти и держать двор и всю страну в равновесии. Именно Юн Сан и вошел в тайный сговор с госпожой Ом и спас ее от брака с ее двоюродным братом Чон Мон Дю, используя ее для того, чтобы подрезать своему врагу крылышки. Но довольно об этих интригах. Еще очень не скоро узнал я все это: отчасти от Хендрика Хэмела, делившегося со мной своими наблюдениями и выводами, а главным образом от самой госпожи Ом.

Госпожа Ом была истинным цветком среди женщин. Подобные ей рождаются редко — не чаще чем два раза в столетие. Она презирала все законы и все условности. У нее была своя религия, отчасти почерпнутая у Юн Сана, отчасти созданная ею самой. Официальная религия для народа являлась, по ее мнению, орудием, необходимым для того, чтобы заставлять миллионы рабов покорно гнуть спину. Она обладала характером и волей и вместе с тем была женщиной до мозга костей. И она была красавицей — да, красавицей в самом полном смысле этого слова. Ее большие черные глаза не были ни узкими, ни раскосыми. Они были удлиненные, это правда, но посажены прямо, и лишь уголки глаз казались чуть-чуть приподнятыми, что лишь придавало ее лицу особое очарование.

Я уже говорил, что она была далеко не глупа. Вот послушайте. Я совсем уже размечтался: простой матрос, принцесса, внезапно вспыхнувшая страсть... Я старался сообразить, как мне следует вести себя, чтобы не уронить своего мужского достоинства, и в начале нашей беседы я опять упомянул о том, о чем уже говорил всему двору: что я на самом деле кореец и потомок династии Коре.

— Полно тебе, перестань, — сказала госпожа Ом, слегка ударив меня по губам веером из павлиньих перьев. — Здесь ты можешь не рассказывать детских сказок. Ты для меня сам по себе значишь больше всей династии Коре. Ты...

На секунду она умолкла, и я ждал, что она скажет дальше, и видел, как в глазах ее растет призыв.

— Ты мужчина, — заключила она. — Даже и во сне мне не снилось, что где-то на белом свете может жить такой мужчина, как ты.

Боже милостивый! Что тут было делать бедному матросу?

Тот матрос, о котором здесь идет речь, признаться, прежде всего густо покраснел под своим морским загаром, а прелестные глаза госпожи Ом засветились неизъяснимым лукавством, и я чуть было не заключил ее в объятия. А она рассмеялась очаровательно и насмешливо, хлопнула в

ладоши, подзывая своих прислужниц, и я понял, что на этот раз аудиенция окончена. Но я знал, что будут еще аудиенции.

Я возвратился к Хендрику Хэмелу. Голова у меня шла кругом.

— Женщина есть женщина, — после глубокого размышления заметил он. Он поглядел на меня и вздохнул: я мог поклясться, что он мне завидует.

— Это все твои мускулы, Эдам Стрэнг, — сказал он. — Твоя бычья шея и соломенные волосы. Ну что ж, тебе повезло, приятель. Не уппусти счастливый случай. Это поможет всем нам. А я научу тебя, как надо себя вести.

Я ощетинился. Я был мужчина, хотя и простой матрос, но с женщинами обращаться умел и не нуждался ни в чьих наставлениях. Хендрик Хэмел мог быть совладельцем старой посуды «Спарвер», мог знать мореходство и вести корабль по звездам, мог быть великим книжником, но что касается женщин — тут уж нет, тут я ему ни в чем не желал уступить.

Его тонкие губы растянулись в привычной хитровой улыбке, и он спросил:

— Как понравилась тебе госпожа Ом?

— В таких делах простому матросу не к лицу привередничать, — уклончиво отвечал я.

— Как она понравилась тебе? — повторил он свой вопрос, сверля меня своими глазами.

— Недурна и даже, если на то пошло, очень даже недурна.

— Тогда покори ее, — приказал он. — А потом мы раздобудем корабль и удерем из этой проклятой страны. Я бы отдал все шелка Индии за одну тарелку человеческой еды.

Он пристально на меня поглядел.

— Сможешь ты ее покорить, а? — спросил он.

Его недоверие так меня взбесило, что я прямо подскочил на месте. Хендрик Хэмел удовлетворенно улыбнулся.

— Только не торопись, — посоветовал он. — Тише едешь — дальше будешь. Не продешевись. Будь скуп на ласку. Запрашивай подороже за свою бычью шею и соломенные волосы и благодари за них Бога: ведь в глазах женщины они стоят больше, чем мозг десятка мудрецов.

И понеслись странные, заполненные событиями дни: я появлялся на приемах у императора, бражничал с Тай Буном, совещался с Юн Саном. И немало времени проводил с госпожой Ом.

А кроме всего, я по требованию Хендрика Хэмела просиживал далеко за полночь, изучая с помощью Кима придворный этикет до самых

мельчайших мелочей, а также историю Кореи и всех ее богов — древних и новых, и корейский язык во всем его многообразии: учтивые обороты, язык знати и язык простолудинов. Никогда еще ни от одного простого матроса не требовали столько работы. Я был просто марионеткой: марионеткой Юн Сана, который хотел использовать меня в своих целях; марионеткой Хендрика Хэмела, замыслившего столь сложную и глубокую интригу, что без его помощи я бы в ней просто запутался. Только с госпожой Ом я чувствовал себя мужчиной, а не марионеткой.

И все же... и все же, когда я возвращаюсь мыслями к прошлому, я вижу, что дело обстояло не совсем так. Госпожа Ом тоже вертела мной в своих целях, но ради меня самого, потому что я стал царем ее сердца. Впрочем, тут ее желания и воля только шли навстречу моим, ибо не успел я опомниться, как она стала царицей моего сердца, и тогда уже ничья воля — ни ее собственная, ни Хендрика Хэмела, ни Юн Сана — не могла вырвать ее из моих объятий.

Тем временем, однако, я оказался вовлеченным в дворцовую интригу, которую плохо понимал. Я чувствовал, что замышляется что-то против принца Чон Мон Дю, двоюродного брата госпожи Ом, вот и все. Я даже не подозревал, какое количество различных клик и клик внутри клик существует при дворе, — эта сеть интриг опутывала дворец и достигала всех Семи Берегов. Но я не ломал себе голову над этим. Ломать голову я предоставлял Хендрику Хэмелу. Я сообщал ему в мельчайших подробностях все, что происходило со мной в его отсутствие, и он, нахмутив лоб и сдвинув брови, сидел часами в сумерках, словно терпеливый паук, и ткал и ткал свою паутину. Как мой личный раб и телохранитель, он сопровождал меня повсюду, и только Юн Сан порой отсылал его. И, разумеется, я не позволял ему присутствовать при моих свиданиях с госпожой Ом. И хотя потом я рассказывал ему все, но лишь в общих чертах, умалчивая о том, что касалось только нас двоих.

Мне кажется, Хендрик Хэмел даже предпочитал оставаться на заднем плане, играть роль тайного вершителя судеб. Он хладнокровно рассчитал, что рискую в этом случае один я. Если я преуспею, — значит, преуспеет и он. А если я погибну, он сумеет ускользнуть, как хореk, и уцелеть. Я уверен, что он рассуждал именно так, и все же это не спасло его, как вы в дальнейшем увидите.

— Держи мою сторону, — сказал я Киму, — и ты получишь все, чего бы ни пожелал. Чего ты хочешь?

— Мне бы хотелось стать начальником Охотников за тиграми, начальником дворцовой стражи, — ответил он.

— Обожди немного, — сказал я, — и твое желание исполнится. Даю тебе слово.

Каким образом это осуществится, я не имел ни малейшего представления. Но тот, у кого ничего нет, легко может раздаривать царства. У меня не было решительно ничего, и я сделал Кима начальником дворцовой стражи. Однако замечательнее всего то, что я выполнил свое обращение. Ким стал начальником Охотников за тиграми, хотя в конце концов это принесло ему гибель.

Интриговать и строить козни я предоставил Хендрику Хэмелу и Юн Сану: ведь их страстью была политика. А я был просто мужчиной и любовником и проводил время куда веселее, чем они.

Кем я был? Закаленный невзгодами веселый матрос, беспечно живущий сегодняшним днем, не задумываясь ни над прошлым, ни над будущим, собутыльник императора, признанный фаворит принцессы, за которого думали и действовали такие умные люди, как Юн Сан и Хендрик Хэмел.

Юн Сан несколько раз почти догадывался, кто стоит за моей спиной и руководит мною. Но когда он пытался пощупать Хэмела, тот прикидывался простаком: политика и государственные дела его нисколько не интересуют, его заботит только мое здоровье и благополучие. Заговорив об этом, он делался чрезвычайно словоохотлив и все сокрушался по поводу моих состязаний с Тай Буном. Госпожа Ом, наверное, догадывалась об истинном положении вещей, но молчала. Острый ум не был для нее приманкой — только бычья шея и грива соломенных волос, как говорил Хендрик Хэмел.

О многом, что было между нами, я не стану рассказывать, хотя госпожа Ом покоится в земле уже несколько столетий. Но она умела добиться того, чего хотела. И я также, а когда мужчина и женщина стремятся друг к другу, головы могут слетать с плеч и государства — рушиться, но их ничто не удержит.

Настало время, когда начали поговаривать о нашей свадьбе.

О, сперва потихоньку! Вдруг служанки и евнухи начали шушукаться об этом в темных закоулках. Но во дворце любая сплетня судомоек доползает до трона. И вскоре начался настоящий скандал.

Дворец был сердцем Чосона, и когда дворец содрогался, страна трепетала. А дворцу было от чего содрогаться. Наш брак наносил Чон Мон Дю сокрушительный удар. Он начал бороться, бороться свирепо, но Юн Сан был к этому готов. Чон Мон Дю сумел посеять недовольство среди половины провинциальных священнослужителей, и они торжественной процессией длиной с добрую милю явились к воротам дворца, и император

чуть не спятил от страха.

Но положение Юн Сана было слишком крепким. Другая половина провинциальных священнослужителей поддерживала его, так же как и все священнослужители больших городов, таких, как Кейдзё, Фузан, Сондо, Пхеньян, Ченнампо и Чемульпо. Юн Сан с помощью госпожи Ом сумел заручиться поддержкой императора. Госпожа Ом призналась мне впоследствии, что она совсем запугала императора слезами, истериками и угрозами скандала, от которого зашатается трон. И в довершение всего Юн Сан, выбрав подходящий момент, предложил вниманию императора совсем новые удовольствия: он уже давно подготавливал это.

— Начиная отращивать себе волосы для свадебного пучка, — заявил мне в один прекрасный день Юн Сан, и в его глазах вспыхнули лукавые искорки, на мгновение придавшие его суровому лицу почти человеческое выражение, — я в первый раз видел его таким.

Само собой разумеется, однако, что принцесса не может стать супругой простого матроса или даже претендента на родство с древней династией Коре, если он не имеет ни положения, ни власти, ни высокого сана. И вот появился императорский указ, объявлявший меня принцем Коре. Вслед за этим один из приверженцев Чон Мон Дю, правитель пяти провинций, был подвергнут пыткам и обезглавлен, а меня назначили правителем семи провинции, которые некогда были родовым княжеством династии Коре. Но в Чосоне число семь почиталось священным, и, чтобы добрать до этого числа, к упомянутым пяти были добавлены еще две провинции, отобранные у других приверженцев Чон Мон Дю.

Боже милостивый, простой матрос... И вот я с почетом отправляюсь на север по дороге Мандаринов в сопровождении пятисот воинов и пышной свиты! Я правитель семи провинций, где моего прибытия ожидают пятнадцать тысяч войск. Я могу даровать жизнь, могу обречь на смерть или пытки. У меня своя казна и свой казначей, не говоря уже о целой армии писцов. И, наконец, меня ожидает там тысяча сборщиков налогов, умеющих выжать у крестьян последние гроши.

Мои семь провинций были расположены у северной границы.

Дальше лежала нынешняя Маньчжурия, но в те времена мы называли ее Хонду, что означало «Красные Головы». Там жили дикие кочевники, переправлявшиеся через Ялу и, как саранча, опустошавшие северные провинции Чосона. Говорили, что они занимаются людоедством. Я же по собственному опыту могу сказать, что это были свирепые воины, предпочитавшие смерть отступлению.

Бурный это был год! Пока Юн Сан и госпожа Ом в Кейдзё добивались

полного падения Чон Мон Дю, я начал создавать себе славу. В сущности, конечно, все делал Хендрик Хэмел, я был только великолепной ширмой. Следуя указаниям Хэмела, я обучал своих солдат строю и тактике, а также знакомил их с боевыми приемами Красных Голов. Великая война длилась год, а к концу ее спокойствие и мир воцарились на северной границе государства, и на нашей стороне Ялу не осталось других Красных Голов, кроме покойников.

Я не знаю, можно ли найти в трудах европейских историков упоминание об этом вторжении Красных Голов, но если такое упоминание есть, оно помогло бы определить время событий, о которых я рассказываю. И еще одно могло бы помочь. Когда был Хидэеси сегуном Японии? Мне не раз приходилось слышать рассказы о двух кровавых набегах, когда лет пятьдесят назад Хидэеси прошел через самое сердце Чосона от Фузана на юге до Пхеньяна на севере. И Хидэеси отправил в Японию тысячи бочонков с засоленными ушами и носами корейцев, погибших в битвах.

Мне доводилось беседовать со стариками и старухами, которые были очевидцами этих событий и чьи носы и уши лишь случайно не попали в бочонки с рассолом.

И вот я возвращаюсь в Кейдзё к госпоже Ом. Боже милостивый, вот это была женщина! Мне ли не знать этого! Сорок лет она была моей женой. Никто не посмел хоть слово сказать против нашего брака. Чон Мон Дю, попавший в опалу, лишенный власти, удалился куда-то на северо-восточное побережье доживать свои дни в мрачном уединении. Могущество Юн Сана достигло апогея.

Еженощно одиночные сигнальные костры приносили весть о покое и мире, царящих в стране. Взор императора становился все более тусклым, а тело все более хилым — недаром Юн Сан изощрялся, придумывая для него все новые и новые неслыханные забавы.

Госпожа Ом и я достигли осуществления всех своих желаний.

Ким стал начальником дворцовой стражи. Квон Юн Дина, правителя провинции, который когда-то надел нам на шею колодки и подвергал побоям, я сместил и запретил ему до конца жизни появляться в стенах Кейдзё.

Да, Иоганнес Мартенс... В матросов хорошо вколачивают субординацию, и, невзирая на все мое новоявленное величие, я никогда не мог забыть, что Иоганнес Мартенс был моим капитаном на «Спарвере», когда мы искали Новую Индию. Еще в первый раз, рассказывая двору о своем чудесном происхождении, я упомянул, что он один из всей моей свиты не был рабом. Все остальные матросы считались моими рабами и

потому не могли рассчитывать на получение государственных должностей. Но Иоганнес Мартенс мог ее получить и получил. Хитрая старая лиса! Когда он попросил меня назначить его правителем крошечной провинции Кёндю, мне и в голову не могло прийти, что он замыслил. Провинция Кёндю не славилась ни рыбными промыслами, ни плодородными землями. Подати едва окупали расходы по их сбору, и пост правителя, хотя и почетный, не приносил дохода: провинция эта была, но существу, кладбищем — священным кладбищем, ибо на горе Тэвон в усыпальницах покоился прах древних монархов Силла. И я решил, что Мартенсу просто приятнее быть правителем Кёндю, чем приближенным Эдама Стрэнга. И даже когда он пожелал взять с собой четырех наших матросов, мне и тут не пришло в голову, что он делает это не просто из боязни одиночества.

Два года прошли, как чудесный сон. Управление моими семью провинциями я передал в руки разорившихся янбанов, выбранных для меня Юн Саном, а сам лишь изредка совершал, как того требовал обычай, торжественный объезд моих владений. Мне неизменно сопутствовала госпожа Ом. У нее был летний дворец на южном побережье, где мы жили почти все время. Я принимал участие во всяких мужественных забавах: покровительствовал искусству борьбы и возобновил состязания в стрельбе из лука среди янбанов. И, наконец, охотился на тигров в северных горах.

Поразительное явление представляли собой приливы и отливы у берегов Чосона. На северо-восточном побережье прилив был не более фута. На западном же побережье самый низкий прилив достигал 60 футов. Государство Чосон не вело торговли с другими странами, и его не посещали чужеземные торговцы. Его суда не покидали береговых вод, и чужие суда не приплывали к его берегам. Испокон веков правители этой страны придерживались политики изоляции. Раз в десять, а то и в двадцать лет сюда прибывали китайские послы, но они путешествовали по суше: огибали Желтое море, пересекали страну Красных Шапок и по дороге Мандаринов добирались до Кейдзё. Это путешествие занимало целый год. Посольство это прибывало для того, чтобы получить от нашего императора присягу в вассальной верности Китаю, что давно уже стало простой формальностью.

Однако тут Хендрик Хэмел решил привести в исполнение свои долго вынашиваемые замыслы. Они ширились не по дням, а по часам. Если бы ему удалось осуществить их, Чосон вполне заменил бы ему не открытые нами Индии. Я не был посвящен в его планы, но когда он принялся плести интригу, чтобы сделать меня начальником всей чосонской флотилии и джонок, и начал допытываться о местонахождении государственной казны,

я легко сообразил, что к чему.

Ну, а я согласился бы покинуть Чосон только вместе с госпожой Ом. Когда я заговорил с ней об этом, она, лежа в моих объятиях, отвечала, что я — ее повелитель и, куда бы я ее не позвал, она последует за мной. И это была правда, святая правда, как вы скоро убедитесь.

Во всем был виноват Юн Сан, сохранивший жизнь Чон Мон Дю. Но вместе с тем Юн Сана винить нельзя. Он не мог поступить иначе. Впав в немилость при дворе, Чон Мон Дю по-прежнему пользовался влиянием среди провинциального духовенства. Юн Сан вынужден был считаться с этим, а Чон Мон Дю, угрюмый отшельник, отнюдь не бездействовал в своем изгнании на северо-восточном побережье. Его эмиссары, преимущественно буддистские монахи, шныряли повсюду и повсюду проникали, вербуя ему сторонников даже среди самых мелких государственных чиновников. С поистине восточным терпением плел Чон Мон Дю свой обширный заговор. Силы его тайных сторонников при дворе все росли, а Юн Сан даже не подозревал об этом. Чон Мон Дю подкупил даже дворцовую стражу — тех самых Охотников за тиграми, начальником которых был Ким. И пока Юн Сан безмятежно дремал, пока я делил свое время между играми, состязаниями и госпожой Ом, пока Хендрик Хэмел готовился к похищению государственной казны, а Иоганнес Мартенс вел свою собственную игру среди усыпальниц на горе Тэбон, извержение вулкана, которое готовил Чон Мон Дю, ничем не давало о себе знать.

Но когда это началось, Боже милостивый! Свистать всех наверх, и спасайся кто может! Но мало кому удалось спастись. Заговор против нас еще не созрел, однако Иоганнес Мартенс ускорил взрыв, ибо то, что он сделал, было слишком на руку Чон Мон Дю, чтобы тот упустил подобный случай.

Вот послушайте. Жители Чосона фанатически чтят память предков и обожествляют их, а что сделал этот старый голландский пират в своей неистовой жадности? Там, в далекой провинции Кёндю, он вместе со своими четырьмя матросами ни больше ни меньше, как похитил золотые гробы из усыпальниц правителей древней Силлы. Ограбление было совершено ночью, и весь остаток ночи они пробирались к побережью. Но на рассвете поднялся такой густой туман, что они заблудились и не смогли отыскать ожидавшую их джонку, которую Иоганнес Мартенс заранее тайком оснастил. Солдаты У Сун Сина, местного судьи и одного из приверженцев Чон Мон Дю, захватили Иоганнеса Мартенса вместе с его матросами. Только одному из них, Герману Тромпу, удалось ускользнуть, воспользовавшись туманом. Много времени спустя я узнал от него, что

произошло.

Хотя весть о святотатстве в ту же ночь разлетелась по всей стране и половина северных провинций поднялась против своих правителей, однако Кейдзё и двор спокойно почивали, ни о чем не подозревая. По приказу Чон Мон Дю сигнальные костры по-прежнему слали весть о мире и спокойствии, царящем в стране. И ночь за ночью горели одиночные сигнальные костры, а гонцы Чон Мон Дю и днем и ночью загоняли насмерть коней на всех дорогах Чосона. Случайно я сам оказался свидетелем того, как его гонец прискакал в Кейдзё. Выезжая в сумерках из города через главные ворота, я увидел, как загнанный конь пал на дороге, а измученный всадник заковылял дальше пешком.

Но мог ли я думать, что человек, встретившийся мне у ворот Кейдзё, был глашатаем моей гибели!

Привезенная им весть вызвала дворцовый переворот. Я возвратился во дворец только в полночь, а к тому времени все уже было кончено. В девять часов вечера заговорщики захватили императора в его личных покоях. Они заставили его немедленно призвать к себе всех министров, а когда те начали входить к нему, их одного за другим убивали на его глазах. Тем временем взбунтовались Охотники за тиграми. Юн Сан и Хендрик Хэмел были схвачены и жестоко избиты рукоятками мечей. Семеро наших матросов бежали из дворца вместе с госпожой Ом. Их спас Ким, с мечом в руке преградив путь своим же Охотникам за тиграми. В конце концов он упал, израненный врагами, но на свою беду остался жив.

Эта революция — дворцовая революция, конечно, — налетела, как шквал, и тут же воцарилось спокойствие. Чон Мон Дю захватил власть. Император подписывал любой представленный им указ.

Чосон ужаснулся святотатству, вознес хвалу Чон Мон Дю и остался равнодушен к остальным событиям. По всей стране падали головы крупных чиновников, которых замещали приверженцами Чон Мон Дю, но на династию никто не покушался.

Теперь послушайте, что было с нами. Иоганнеса Мартенса и трех его матросов сначала возили по деревням и городам страны, и чернь плевала на них, после чего они были зарыты по шею в землю перед воротами дворца. Их поили водой, чтобы они подольше томились от голода, глядя на лакомые яства, которые ставили перед ними, ежечасно заменяя новыми. Говорили, что дольше всех протянул Иоганнес Мартенс: он умер лишь на пятнадцатые сутки.

Киму медленно переломали кость за костью, сустав за суставом, и он умирал долго и мучительно. Хендрик Хэмел, в котором Чон Мон Дю

правильно угадал моего наставника, был казнен веслом, короче говоря, быстро и умело забит насмерть под восторженные крики жителей Кейдзё. Юн Сану была дана возможность умереть благородной смертью. Он играл в шахматы со своим тюремщиком, когда пред ним предстал посланец императора, а по сути дела — посланец Чон Мон Дю, с чашей яда в руках.

— Обожди, — сказал Юн Сан. — Только невежа позволяет себе прерывать чужую игру на половине. Я выпью эту чашу, как только закончу партию. — И посланец ждал, пока Юн Сан не закончил игры. Он выиграл партию и выпил яд.

Только азиат умеет обуздать свою ярость, чтобы подольше упиваться местью, растянув ее на всю жизнь. Так поступил Чон Мон Дю со мной и госпожой Ом. Он не убил нас. Он даже не заключил нас в темницу. Госпожа Ом была лишена благородного звания и всего имущества, и в каждой самой маленькой деревушке Чосона был вывешен на видном месте королевский указ, объявлявший меня неприкосновенным, как потомка династии Коре. В том же указе говорилось, что восьми оставшимся в живых матросам также должна быть сохранена жизнь. Но никто не имел права оказывать им помощь. Всеми отверженные, они должны были питаться подаянием на больших дорогах. Та же участь постигла и нас с госпожой Ом — мы были обречены просить подаяние на больших дорогах.

Сорок долгих лет преследовала нас месть Чон Мон Дю, ибо ненависть его была неутолима. На нашу беду, жил он очень долго, так же как и мы. Я уже говорил, что госпожа Ом не имела себе равных в мире. И я могу только без конца повторять это, ибо у меня нет других слов, чтобы воздать ей должную хвалу. Я слышал когда-то, что некая знатная дама сказала своему возлюбленному: «С тобой мне довольно шалаша и черствой корки».

То же самое, в сущности, сказала мне и госпожа Ом. И не только сказала: вся ее жизнь была подтверждением этих слов, ведь часто (о, как часто!) у нас не было даже черствой корки, а шалашом нам служило небо.

Как я ни старался избежать необходимости просить подаяния и скитаться по дорогам, Чон Мон Дю добивался своего.

В Сондо я стал дровосеком, и мы с госпожой Ом поселились в хижине, где спать было куда удобнее, чем на большой дороге в зимнюю стужу. Но Чон Мон Дю узнал об этом, и я был избит, посажен в колодки, а потом вновь выгнан на большую дорогу. Зима была лютая — как раз в ту зиму бедняга Вандервут замерз на улице Кейдзё.

В Пхеньяне я сделался водоносом, так как этот древний город, стены которого были стары уже во времена царя Давида, считался, по преданию, лодкой, и вырыть колодец внутри его стен значило бы потопить город. И

вот весь день с утра до ночи тысячи водоносов с кувшинами на плече шагают от реки к городским воротам и обратно. Я был одним из них до тех пор, пока Чон Мон Дю не узнал об этом, после чего я был избит, посажен в колодки, а потом выброшен на большую дорогу.

И так бывало всегда. В далеком Ыдзю я сделался мясником. Я убивал собак на глазах у покупателей перед моей лавкой.

Я разрубал туши и вывешивал их для продажи, а шкуры дубил, расстилая их шерстью вниз на земле под ногами прохожих. Но Чон Мон Дю узнал об этом. Я был помощником красильщика в Пхеньяне, рудокопом на рудниках в Канбуне, сучил веревки и бечеву в Чиксане. Я плел соломенные шляпы в Пхэдоке, собирал травы в Хванхэ, а в Масанпхо пошел в батраки и целые дни гнул спину на затопленном рисовом поле, получая за свои труды меньше, чем последний кули. Но ни разу мне не удалось найти такое место, где бы длинная рука Чон Мон Дю не могла достать меня — достать, покарать и вышвырнуть на дорогу просить подаяние.

Госпожа Ом и я два года искали в горах целебный корень женьшень, который так редок и ценится так высоко, что один крошечный корешок, найденный нами, дал бы нам возможность безбедно просуществовать целый год, если бы нам удалось его продать. Но корень у меня отобрали, едва я попробовал его сбуть, и я был подвергнут еще более жестоким побоям, чем обычно, и посажен в колодки на еще более долгий срок.

Куда бы я ни направился, вездесущие члены Братства бродячих торговцев доносили Чон Мон Дю в Кейдзё о каждом моем шаге. Но за все эти годы только дважды встретился я с Чон Мон Дю лицом к лицу. Первая встреча произошла высоко в горах Кануон студеной зимней ночью, в метель. Мы с госпожой Ом ютились в самом холодном и грязном углу харчевни, отдав в уплату за это пристанище все наши жалкие гроши. Мы только что собирались приступить к нашему ужину, состоявшему из конских бобов и дикого чеснока, сваренных с крошечным кусочком воловьего мяса, сильно смахивавшего на падаль, когда за окнами послышался стук копыт и звон бронзовых колокольников. Двери распахнулись, и Чон Мон Дю — живое воплощение могущества, довольства, благополучия — ступил в харчевню, стряхивая снег со своей бесценной монгольской меховой шубы. Все потеснились, освобождая место ему и десятку его слуг. Мы в нашем углу никому не мешали, но взгляд Чон Мон Дю упал на меня и госпожу Ом.

— Вышвырните вон этих бродяг, — распорядился он.

И его конюшие набросились на нас с плетками и выгнали наружу, где

бушевала метель. Но мы еще раз встретились с Чон Мон Дю много лет спустя, как вам предстоит узнать.

Бежать из страны мы не могли. Ни разу не удалось мне тайком перебраться через северную границу. Ни разу не удалось мне сесть в выходящую в море джонку. Бродячие торговцы разнесли приказ Чон Мон Дю по самым глухим деревенькам, сообщили его каждой живой душе в Чосоне. Я был обречен.

О, Чосон, Чосон, я знаю каждую твою дорогу и каждую горную тропу, знаю все твои обнесенные стенами города и все самые маленькие деревушки. Ибо сорок лет я скитался по твоим дорогам и голодал, и госпожа Ом скиталась и голодала вместе со мной.

Что нам иной раз приходилось есть, чтобы не погибнуть от голода!

Остатки собачьего мяса, тухлые и негодные для продажи, которые швыряли нам мясники, глумясь над нами, минари — корни лотоса, которые мы собирали на вонючих болотах; испорченную кимчи, которую не смогли доесть неприхотливые бедняки-крестьяне, ибо она испускала такое зловоние, что его можно было учуять за милю. Да что там!.. Я отнимал кости у голодных дворняжек и копался в дорожной пыли, подбирая зернышки риса, и в студеные ночи крал у лошадей горячее бобовое пойло.

И все же я не умер, и меня это не удивляет. Два обстоятельства помогали мне держаться: первое — госпожа Ом всегда была со мной, и второе — я верил, что настанет миг, когда мои пальцы сомкнутся на горле Чон Мон Дю.

Стремясь добраться до Чон Мон Дю, я пытался проникнуть в Кейдзё, но меня каждый раз прогоняли от городских ворот, и мы с госпожой Ом снова и снова брели по дорогам Чосона, каждый дюйм которых был уже истоптан нашими сандалиями, брели весной и летом, осенью и зимой. Наша история была уже известна всей стране, и вся страна знала нас в лицо. Не существовало человека, которому была неизвестна наша участь и постигшая нас кара. Порой кули и торговцы выкрикивали оскорбления в лицо госпоже Ом и расплачивались за это, почувствовав мою яростную руку в своих волосах, яростные удары моего кулака на своих скулах. Порой в отдаленных горных селениях старухи с жалостью поглядывали на шагавшую рядом со мной нищенку, которая была когда-то госпожой Ом, и вздыхали, покачивая головой, и слезы навертывались у них на глаза. А порой лица молодых женщин затуманивало сострадание, когда они глядели на мои широкие плечи, длинные золотистые волосы и синие глаза. И ведь я когда-то был принцем из рода Коре и правителем семи провинций.

И порой мальчишки бежали за нами, дразнили нас, осыпали

ругательствами и забрасывали дорожной грязью.

За рекой Ялу протянулась от моря до моря пустынная полоса земли шириной в сорок миль — это была северная граница государства. Земля эта не была бесплодной, но ее сознательно превратили в пустыню, потому что Чосон стремился отгородиться от остального мира. Все расположенные в этой местности города и деревни были уничтожены. Теперь это была ничья земля, где водилось множество диких зверей и где разъезжали конные отряды Охотников за тиграми, приканчивая на месте каждого, кто осмеливался пробраться туда. Бежать этим путем мы с госпожой Ом не могли, не могли мы бежать и морем.

Шли годы, и семеро моих товарищей матросов с каждым годом все чаще и чаще стали забредать в Фузан. Этот город расположен на юго-восточном побережье, которое отличается более мягким климатом. Но дело было не только в этом: оттуда было ближе всего до Японии. По ту сторону неширокого пролива, так близко, что, казалось, ее почти можно было различить простым глазом, лежала Япония — наша единственная надежда на спасение, потому что туда, без сомнения, заходили время от времени европейские суда. Как живо я помню это: семеро стареющих людей на утесах Фузана, всеми помыслами стремящиеся туда, за море, по которому им уже никогда не плавать больше.

Порой на горизонте появлялись японские джонки, но ни разу не поднялся над морем наш старый знакомый — топсель европейского корабля. Шли годы, сменяя друг друга, и мы с госпожой Ом и наши семеро товарищей матросов из пожилых людей превратились в стариков, и все чаще и чаще тянуло нас в Фузан. И по мере того как уходили годы, то один, то другой из нас не появлялся на обычном месте встречи. Первым умер Ганс Эмден. Эту весть принес Якоб Бринкер, который был его спутником. Сам Якоб Бринкер был последним из семерых — он пережил Тромпа на два года и скончался девяноста лет без малого. Как сейчас, вижу их обоих перед собой, когда незадолго до кончины, изможденные, слабые, в нищенских отрепьях, с чашками для подаяния в руках, грелись они рядышком на солнце у прибрежных скал, шамкая, вспоминали былое и хихикали, словно дети. И Тромп в сотый раз рассказывал скрипучим голосом историю о том, как Иоганнес Мартенс и матросы грабили королевские усыпальницы на горе Тэбон, где в золотых гробах покоились набальзамированные древние властелины с двумя рабынями по бокам у каждого; и о том, как царственные мертвецы рассыпались в прах за какой-нибудь час, пока матросы, обливаясь потом и сквернословя, разбивали гробы на куски.

А ведь старик Иоганнес Мартенс удрал бы со своей добычей через Желтое море, если бы не этот туман, в котором он заплутался. Проклятый туман! Об этом тумане была сложена песня, которую распевали по всей стране и которую я ненавижу.

Вот две строки из этой песни:

Густой туман, сгубивший пришельцев из западных стран,
Навис над вершиной Виина.

Сорок лет я нищенствовал на дорогах Чосона. Из четырнадцати потерпевших крушение у его берега в живых остался я один.

Дух госпожи Ом был так же неукротим, как и мой, и мы старились вместе. Она превратилась в маленькую, высохшую, беззубую старушку, но и тогда по-прежнему оставалась женщиной, которой не было равных, и до конца владела моим сердцем. А я и в семьдесят лет сохранял еще немалую силу. Морщины избородили мое лицо, соломенные волосы побелели, широкие плечи согнулись, но все же бывшая матросская сила еще жила в моих высохших мышцах.

Вот почему оказался я способен совершить то, о чем поведу сейчас рассказ. Весенним утром мы с госпожой Ом сидели у скал Фузана возле большой дороги и грелись на солнышке. Мы оба были в рубище и не стыдились его, и я смеялся от души веселой шутке, которую прощамкала госпожа Ом, когда вдруг на нас упала какая-то тень. Это была тень от высокого паланкина Чон Мон Дю, который несли восемь кули. Впереди и позади паланкина ехала стража, а по бокам бежали раболепные слуги.

Два императора сошли в могилу, кончилась междоусобная война, голод опустошил страну, совершился десяток дворцовых переворотов, а Чон Мон Дю по-прежнему властвовал в Кейдзё. Ему было, вероятно, уже без малого восемьдесят лет в то весеннее утро, когда он знаком дрожащей руки приказал, чтобы его носилки опустили на землю возле скал, потому что он хотел насладиться видом тех, кого так преследовала его ненависть.

— Пришло время, о мой повелитель, — чуть слышно шепнула мне госпожа Ом и повернулась к Чон Мон Дю, жалобно прося подаяния и словно не узнавая, кто перед ней.

Но я мгновенно прочел ее мысли. Разве не делили мы с ней эту надежду целых сорок лет? И вот наконец настала минута свершения. И я тоже притворился, будто не узнаю своего врага, и со старческой бессмысленной улыбкой пополз по пыльной дороге к его носилкам,

жалобно вымаливая подаяние.

Слуги хотели было прогнать нас, но Чон Мон Дю, трясая головой от дряхлости и хихикая, остановил их. Неуверенно опираясь на локоть, он слегка приподнялся и дрожащей рукой раздвинул пошире шелковые занавески. Сморщенное лицо его исказилось от злорадства, он пожирал нас глазами.

— О мой повелитель! — тянула госпожа Ом свою песенку попрошайки, но ее мольба была обращена ко мне, и я знал, что она вложила в нее свою вечную, выдержавшую все испытания любовь и веру в мою решимость и отвагу.

Во мне поднялась багровая ярость, ломая преграду моей воли, стремясь вырваться на свободу. Неудивительно, что я весь трепетал, стараясь ее сдержать. Но сотрясавшую меня дрожь мои враги сочли, к счастью, признаком старческой слабости. А я, протягивая медную чашку для подаяний, загнусавил еще жалобнее, вымаливая милостыню, и в то же время, сощутив веки, чтобы скрыть вспыхнувший в моих глазах огонь, рассчитывал расстояние и собирался с силами для прыжка.

И тут багровая ярость затуманила мне глаза. Затрещал шелк занавесок, захрустело дерево, заахали, заохали слуги, а мои пальцы сомкнулись на горле Чон Мон Дю. Носилки перевернулись, и я уже не знал, где у меня голова и где ноги, но пальцы мои оставались сомкнутыми.

Среди хаоса подушек, покрывал и занавесок слуги не сразу сумели добраться до меня. Но подоспели всадники, и град ударов обрушился на мою голову, десятки рук вцепились в меня, пытаясь оттащить в сторону. Я был оглушен, но еще не потерял сознания и испытывал несказанное блаженство, чувствуя, как мои старые пальцы впиваются в тощую, костлявую, дряблую шею, добраться до которой я мечтал столько лет. Рукоятки плетей продолжали опускаться на мою голову, и в красном вихре, кружившемся у меня перед глазами, мне представилось, что я бульдог сомкнувший челюсти в мертвой хватке. Никто не мог вырвать у меня Чон Мон Дю, и я знал, что он уже мертв, давно мертв, когда тьма, как избавление от всех мук, опустилась на меня у скал Фузана на берегу Желтого моря.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Когда начальник тюрьмы Азертон вспоминает обо мне, он едва ли испытывает прилив гордости. Я показал ему, что значит сила человеческого духа: мой дух восторжествовал над ним, мой дух не удалось сломить ему никакими пытками. Я сижу здесь, в одной из камер Коридора Убийц в Фолссмской тюрьме, и ожидаю казни.

Начальник тюрьмы Азертон по-прежнему занимает пост, полученный в награду за услуги, оказанные политическим воротилам штата, и по-прежнему остается полновластным владыкой тюрьмы Сен-Квентин и всех отверженных, которые томятся в ее стенах. И все же в глубине души он чувствует, что я победил его.

Начальнику тюрьмы Азертону не удалось сломить мой дух.

Нет ни малейшего сомнения, что в иные минуты он был бы рад, если бы я умер в смиренной рубашке. И он продолжал меня пытать. Как заявил он мне с самого начала и как не раз повторял потом, я должен был выбрать: динамит или гроб.

Капитан Джеми давно привык ко всем тюремным ужасам, однако настал день, когда и он не выдержал напряжения, в котором я держал его и всех остальных моих мучителей. Он был настолько выведен из равновесия, что осмелился возражать начальнику тюрьмы и отказался принимать участие в происходящем.

С этого дня он ни разу больше не появлялся в моей камере.

Да, а затем пришло время, когда и начальник тюрьмы Азертон испугался, хотя все еще не теряя надежды пытками вынудить у меня признание о том, где спрятан не существующий динамит.

А под конец Джек Оппенгеймер нанес ему сокрушительный удар. Оппенгеймер ничего не боялся и говорил все, что хотел.

Самые страшные тюремные пытки не смогли его сломить; он издевался над своими тюремщиками ибо его воля была сильнее их воли. Моррел простучал мне подробный отчет обо всем, что произошло. Сам я в то время лежал в смиренной рубашке без сознания.

— Начальник, — сказал Азертону Оппенгеймер, — вы облюбовали кусок не по зубам как бы вам не подавиться. Если вы убьете Стэндинга, этим дело не кончится. Нам придется убить еще двоих. Ведь если вы убьете Стэндинга, рано или поздно Моррел и я сообщим об этом на волю, и вся Калифорния узнает, что вы сделали. Выбирайте: либо вы оставите

Стэндинга в покое, либо вам придется убить всех нас троих. Стэндинг стал вам поперек горла, и я тоже, и Моррел. Но вы — подлый трус, и у вас не хватит духу довести до конца это поганое дело, как бы вам хотелось.

За это Оппенхеймер получил сто часов смирительной рубашки, но как только его расшнуровали, он плюнул начальнику тюрьмы в лицо и тут же получил еще сотню. На этот раз, когда его пришли расшнуровывать начальник тюрьмы не посмел войти в его камеру.

Было ясно, что слова Оппенхеймера сильно его напугали.

А вот доктора Джексона ничто не могло пронять. Я был для него занятой диковиной, и ему не терпелось узнать, сколько я еще смогу выдержать.

— Да он выдержит за раз хоть двадцать суток, — подзадоривал он начальника тюрьмы в моем присутствии.

— Вы чересчур старомодны, — вмешался я в их разговор. — Я могу выдержать хоть сорок дней. Ерунда! Я могу выдержать и сто дней — в такой просторной рубашке. — И, припомнив, как я, нищий матрос, сорок лет терпеливо ждал случая вцепиться в глотку Чон Мон Дю, я прибавил: — Да разве вы, тюремные ублюдки, знаете, что такое настоящий человек! Вы думаете, что человек создан по вашему собственному трусливому подобию. Но вот глядите: человек — это я, а вы бесхребетная мразь. И вы отступаете передо мной. Вы не в состоянии выжать из меня ни единого стоны и удивляетесь, потому что хорошо знаете, как легко вы сами начинаете хныкать.

Я ругал их как хотел: называл жабым отродьем, блюдолизам сатаны и мерзким отребьем. Ибо я был выше их и для них недосягаем. Они были рабами. Я был свободный дух. В одиночке томилось только мое тело. А для меня самого не существовало преград. Я освободился от власти плоти, передо мной открылись безграничные просторы времени, и я упоенно бродил по ним, а мое бедное тело, сдавленное смирительной рубашкой, погрузилось в малую смерть и даже не испытывало боли.

Я простучал моим товарищам почти все, что мне довелось испытать. Моррел верил моим рассказам, ибо он сам проходил врата малой смерти. Но Оппенхеймер, с увлечением слушая мои рассказы, так в них и не поверил. С простодушной трогательностью он сокрушался, что я посвятил жизнь агрономии, вместо того чтобы стать писателем.

— Послушай, — пытался я убедить его. — Что я знал о Чосоне? Теперь эта страна называется Кореей — вот, пожалуй, и все, что мне о ней было известно. Я о ней ничего не читал. Откуда, например, в нынешней моей жизни мог бы я получить хоть какие-нибудь сведения о кимчи.

Однако я знаю, что такое кимчи. Это особо приготовленная кислая капуста. Протухнув, она воняет до небес. Когда я был Эдамом Странгом, я ел кимчи тысячу тысяч раз. Я ел хорошую кимчи, и скверную кимчи, и гнилую кимчи. Я знаю, что самую лучшую кимчи готовят женщины Восана. Ну скажи, откуда могу я это знать? Этих знаний не было в моем мозгу, в мозгу Даррела Стэндинга. Они принадлежат мозгу Эдама Стрэнга, который через многочисленные рождения и смерти передал свой опыт мне, Даррелу Стэндингу, вместе с опытом всех тех, в ком я жил, умирал и возрождался в промежутках между Эдамом Стрэнгом и Даррелом Стэндингом. Неужели тебе это не ясно, Джек? Ведь именно из этого складывается и развивается человек, именно так обогащается его дух.

— А, брось ты! — услышал я в ответ его быстрое, решительное, так хорошо знакомое мне постукивание. — Теперь послушайте умного человека. Я — Джек Оппенгеймер. Я всегда был Джеком Оппенгеймером. Я — только я, и никто другой. Все, что я знаю, я знаю как Джек Оппенгеймер. А что я знаю? Вот послушай. Я знаю, что такое кимчи. Кимчи — это особо приготовленная кислая капуста, которую делают в стране, когда-то называвшейся Чосон. Самую лучшую кимчи готовят женщины Восана. Протухшая кимчи воняет до небес... Ты не вмешивайся, Эд! погоди, пока я не припру профессора к стенке. Ну, а теперь, профессор, скажи-ка мне, откуда я знаю все это насчет кимчи? Этих знаний не было в моем мозгу.

— Нет, были! — торжествующе воскликнул я. — Ты получил их от меня.

— Твоя правда. А от кого их получил ты?

— От Эдама Стрэнга.

— Как бы не так! Эдам Стрэнг — это твой бред. А насчет кимчи ты где-то вычитал.

— Ничего подобного, — доказывал ему я. — Про Корею мне приходилось читать только в военных корреспонденциях о русско-японской войне. Да и то так мало, что в счет не идет.

— А ты помнишь все, что тебе когда-нибудь доводилось прочесть? — спросил Оппенгеймер.

— Нет.

— Случается, что-нибудь и забываешь?

— Да, но...

— Достаточно, благодарю вас, — перебил он меня, словно адвокат, который обрывает ответ свидетеля, поймав его на роковом противоречии.

Убедить Оппенгеймера в истинности моих рассказов было

невозможно. Он твердил, что я все это выдумываю по ходу действия. Впрочем, ему нравились эти, как он выражался, «продолжения в следующем номере», и всякий раз, когда я отдыхал в промежутках между двумя порциями смиренной рубашки, он принимался упрашивать меня простучать еще несколько глав.

— Да бросьте вы эти ваши высокие материи, — врывался он в мою беседу с Эдом Моррелом, как только мы углублялись в метафизический спор. — Лучше пусть профессор расскажет еще что-нибудь об этих кисан и матросах. Да, кстати, раз мы уже об этом заговорили, расскажи, что случилось с госпожой Ом после того, как ее отчаянный муженек придушил подлого старикашку и сам помер.

Я уже много раз повторял, что форма бренна. Позвольте мне сказать это еще раз. Форма бренна. Материя не обладает памятью. Помнит только дух, и вот здесь, в тюремных камерах, память о госпоже Ом и Чон Мон Дю продолжала жить в моей душе, пронесенная через столетия, и была мною передана Джеку Оппенхеймеру и от него возвратилась ко мне, уже облеченная в тюремный жаргон. А теперь я передал ее тебе, мой читатель.

Попытайся изгладить ее из своей памяти. Ты не можешь. Как бы долго ты ни жил, то, что я рассказал тебе, будет жить в твоём мозгу. Дух! Не существует ничего неизменного, кроме духа. Материя плавится, кристаллизуется и плавится снова, и ни одна форма никогда не повторяет другую. Форма распадается в вечное ничто, из которого нет возврата. Форма — это лишь видимость, она преходяща, как была преходяща физическая оболочка госпожи Ом и Чон Мон Дю. Но память о них остается, она будет существовать всегда, пока существует дух, а дух нельзя уничтожить.

— Во всяком случае, ясно одно, — заключил Оппенхеймер свои критические замечания о приключениях Эдама Стрэнга. — А именно: ты заглядывал в притоны и курильни опиума китайского квартала куда чаще, чем полагается профессору университета. Дурное общество до добра не доводит. Теперь понятно, как ты угодил сюда.

Прежде чем возвратиться к описанию других моих приключений, я должен упомянуть об удивительном происшествии у нас в тюрьме... Оно замечательно по двум причинам. Оно показывает, во-первых, каким редкостным умом обладал родившийся и выросший в трущобах Джек Оппенхеймер. И, во-вторых, оно служит убедительным доказательством того, что все, испытанное мною, когда в смиренной рубашке я погружался в летаргию, — сущая правда.

— Вот что, профессор, — простучал мне как-то Оппенхеймер. —

Когда ты рассказывал нам про твоего Эдама Стрэнга, ты говорил, что играл в шахматы с этим пропойцей — братом императора. Интересно, что это были за шахматы — такие же, как наши?

Мне, конечно, пришлось ответить, что я не знаю что, возвращаясь к нормальному состоянию, я забываю такие подробности.

И, конечно, он принялся добродушно подшучивать над «моими бреднями», как он выражался. Однако я вполне отчетливо помнил, что в бытность мою Эдамом Стрэнгом я частенько играл в шахматы. Но, к сожалению, стоило мне очнуться в одиночке, как все несущественные подробности, особенно если они были связаны с чем-то сложным, изглаживались у меня из памяти.

Следует помнить, что для удобства повествования я соединял в единое целое мои разрозненные, перепутанные, часто повторяющиеся воспоминания о былых жизнях. Я никогда не знал наперед, куда мое путешествие во времени приведет меня. Так, например, я десятки раз в самое различное время возвращался к Джесси Фэнчеру, в фургонный лагерь на Горных Лугах. За десять дней, без перерыва проведенных в рубашке, я порой уходил все дальше и дальше в прошлое по длинной цепи предыдущих существований (часто пропуская множество жизней, к которым я уже возвращался перед этим) и попадал, наконец, в доисторические времена, а оттуда переносился обратно к дням, когда зарождалась цивилизация.

И вот я решил, что в следующий раз, как только я обрету сознание после очередного переселения в жизнь Эдама Стрэнга, я постараюсь вспомнить все о чосонских шахматах. Мне не везло, и я еще целый месяц терпел насмешки Оппенхеймера, прежде чем случилось то, чего я ждал. А тогда, едва меня расшнуровали, как я принялся выстукивать свои новости.

Более того, я обучил Оппенхеймера той игре в шахматы, в которую играл Эдам Стрэнг в Чосоне несколько столетий назад.

Она была не похожа на западные шахматы, хотя в основе своей совпадала с ними, так как восходила к тому же первоисточнику, вероятнее всего, — к индийским шахматам. Доска вместо наших шестидесяти четырех клеток имела восемьдесят одну клетку. Игроки вместо наших восьми пешек располагали каждый девятью, и ходили эти пешки по-другому, хотя с ограничениями, принятыми у нас.

В чосонских шахматах было по двадцать фигур с каждой стороны, включая пешки, вместо наших шестнадцати, и расставлялись они в три ряда, а не в два, как у нас. Девять пешек занимали передний ряд; в среднем ряду помещались две фигуры, напоминавшие наши ладьи, в третьем,

заднем, ряду в центре ставился король, а с каждой его стороны располагались в следующем порядке такие фигуры: «золотая монета», «серебряная монета», «конь» и «копье». Заметьте, что в чосонских шахматах нет ферзя. Еще одно коренное отличие от наших шахмат заключалось в том, что взятая фигура не снималась с доски, а становилась фигурой противника, и дальше ею ходил он.

Итак, я обучил Оппенгеймера и этим шахматам, что было поистине блестящим достижением, если принять во внимание следующее: нам приходилось, помимо всего, запоминать, какие фигуры перешли к противнику, а какие удалось вернуть.

Одиночки не отапливаются. Не положено облегчать благодатным теплом участь узников в зимнюю стужу. А мы с Оппенгеймером не раз забывали про жестокий, пронизывающий до костей холод, увлекшись чосонскими шахматами.

И все же мне не удалось убедить его в том, что я принес эту игру в тюрьму Сен-Квентин из глубины столетий. Он упорно твердил, что я вычитал где-то ее описание, а потом забыл о нем, но оно тем не менее осталось в моем мозгу и всплыло в памяти, когда я бредил в рубашке. Так он обратил против меня положения психологии.

Его новая гипотеза сводилась к следующему:

— А может быть, ты придумал эти шахматы здесь, в одиночке? Придумал же Эд код для перестукивания. А мы с тобой разве не улучшаем его все время? Так-то, профессор. Ты все это придумал сам. Запатентуй-ка эти шахматы. Когда я был ночным рассыльным, так один малый выдумал какую-то чепуху под названием «Поросята на поле» и нажил на этом миллион.

— Эту игру нельзя запатентовать, — ответил я. — В Азии она, без всякого сомнения, известна уже тысячелетия. Поверь, я ее вовсе не придумывал.

— Тогда, значит, ты где-то читал о ней или видел, как играли в нее китаезы в курильне опиума, где ты постоянно околачивался. — Таково было его последнее слово.

Впрочем, последнее слово осталось за мной. Здесь, в Фолсемской тюрьме, есть один японец, осужденный за убийство.

Вернее, был, — его казнили на прошлой неделе. Я беседовал с ним о шахматах, и выяснилось, что та игра, в которую играл Эдам Стрэнг и которой я обучил Оппенгеймера, очень похожа на японские шахматы. Между ними гораздо больше сходства, чем между каждой из них и западными шахматами.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Ты, верно, помнишь, читатель, что в самом начале моего повествования я рассказал тебе, как еще мальчиком на ферме в Миннесоте я увидел фотографии Святой Земли, узнал некоторые места и указал, какие в них произошли перемены. И еще ты, верно, помнишь, как я описал исцеление прокаженных, которому был свидетелем, и сказал миссионеру, что я был тогда совсем большим, владел большим мечом и смотрел на все это, сидя на коне.

Этот эпизод моего детства был, говоря словами Вордсворта, всего лишь отблеском воспоминаний. Когда я, Даррел Стэндинг, был еще совсем малышом, я смутно помнил иные времена и страны.

Но образы, которые вспыхивали взмоём детском сознании, постепенно тускнели и изглаживались. Меня постигла та же участь, что и всех других детей: словно бы тюремные стены сомкнулись вокруг меня, и я забыл свое величественное прошлое. Оно есть у каждого человека. Но редко кому посчастливилось так, как мне, провести долгие годы в одиночном заключении и долгие часы — в смиренной рубашке. Да, мне посчастливилось. Мне была дана возможность снова вспомнить все — в том числе и время, когда я сидел на коне и видел исцеление прокаженных.

Меня звали Рагнар Лодброк, и я, правда, был очень большим.

Я был на целую голову выше всех римлян моего легиона. Впрочем, начальником легиона я стал уже позже, после моего путешествия из Александрии в Иерусалим. Эта моя жизнь была полна событий. Напиши я десятки книг, потрать на них годы труда, и тогда мне не удалось бы описать всего. Поэтому я опущу очень многое, а о том, что предшествовало этому путешествию, скажу в двух словах.

Я помню очень ясно и отчетливо все, кроме самого начала.

Я никогда не знал своей матери. Мне рассказывали, что меня родила в бурю на палубе корабля, находившегося в Северном море, одна из пленниц, захваченных после морской битвы и разграбления береговой крепости. Имени своей матери я так и не узнал. Она умерла в самый разгар бури. Была она из северных датчан — так, во всяком случае, говорил мне старый Лингард.

Я был слишком молод, чтобы запомнить все, что он мне рассказывал, хотя рассказать он мог не так уж много. Морская битва, взятие и разграбление крепости, которую затем подожгли, поспешный уход в море

от прибрежных скал, так как надвигалась буря, грозившая гибелью их остроносым кораблям, а потом отчаянная борьба с бушующим ледяным морем... И никому не было дела до чужеземной пленницы, чей час наступил, неся ей гибель.

Тогда многие умерли, мужчин же интересуют живые женщины, а не мертвые.

Рассказ Лингарда о том, что произошло сейчас же после моего появления на свет, поразил мое детское воображение и врезался мне в память. Лингард был слишком стар, чтобы сидеть на веслах, и вместо этого он присматривал на открытой палубе за сбившимися в беспорядочную кучу пленниками, заменяя врача, могильщика и повитуху. Итак, я родился в бурю и был омыт солеными брызгами.

Мне было всего лишь несколько часов от роду, когда Тостиг Лодброк впервые увидал меня. Он был хозяином этого корабля и остальных семи, совершивших набег, унесших добычу и пробивавшихся сквозь бурю. Тостиг Лодброк носил прозвище «Муспел», что означало Пылающий, так как он вечно пылал гневом. Он был отважен и жесток, и в широкой его груди билось сердце, не знавшее жалости. Пот битвы еще не успел высохнуть на его теле, когда после сражения при Хасфарте он, опираясь о топор, съел сердце Нгруна. В припадке бешеной злобы он продал в рабство ютам своего сына Гарульфа. И я помнил, как под закопченными стропилами Бруннанбура раздавался его зычный голос, когда он требовал, чтобы ему принесли его кубок — череп Гутлафа. Вино с пряностями он пил только из этой чаши — только из черепа Гутлафа.

И вот к нему-то по качающейся палубе принес меня старый Лингард, когда улеглась буря. Мне было от рождения несколько часов, и я был завернут в седую от морской соли волчью шкуру.

Я был очень маленьким, потому что родился раньше срока.

— Хо-хо! Карлик! — вскричал Тостиг, отняв от губ недопитую чашу с медом, чтобы поглядеть на меня.

Была злая стужа, но, говорят, он вытащил меня голого из волчьей шкуры, зажав мою ногу между своим большим и указательным пальцем, и мое тельце болталось на свирепом ветру.

— Плотва! — хохотал он. — Креветка! Морская вошь! — И хотел уже было раздавить меня между своими огромными пальцами, каждый из которых, по словам Лингарда, был толще моей ноги.

Но тут ему на ум взбрело другое.

— Этот щенок хочет пить. Пусть попьет.

И он сунул меня головой вниз в наполненную до половины чашу с

медом. И я утонул бы в этом напитке мужчин, я, не испивший за свою короткую жизнь даже материнского молока, если бы не Лингард. Но когда Лингард вытащил меня из чаши, Тостиг Лодброг, рассвирепев, сбил его с ног. Мы покатались по палубе, и огромные псы, захваченные после сражения у северных датчан, бросились на нас.

— Хо-хо! — ревел Тостиг Лодброг, глядя, как псы терзают старика, меня и волчью шкуру.

Но Лингард поднялся на ноги и спас меня, оставив псам волчью шкуру.

Тостиг Лодброг допил свой мед и уставился на меня, а Лингард молчал, хорошо зная, что напрасно было бы искать милосердия там, где его не может быть.

— Мальчик с пальчик! — изрек Тостиг. — Клянусь Одином, женщины Северной Дании ничтожные создания. Они приносят на свет не мужчин, а карликов. На что годен этот мозгляк? Из него никогда не получится настоящего мужчины. Вот что, Лингард, вырасти мне из него кравчего для Бруннанбура. Только получше приглядывай за собаками, как бы они не сожрали его по ошибке вместо тех огрызков, которые мы им бросаем.

Я рос, не зная женского присмотра. Старый Лингард принял меня, и он же меня выкормил, а детской служила мне качающаяся палуба и колыбельной песней — топот и тяжелое дыхание мужчин во время битв и бури. Бог знает, как удалось мне выжить. Должно быть, я был рожден крепким, как железо, в железные времена, ибо я все-таки выжил и посрамил пророчество Тостига о том, что из меня получится карлик. Я быстро перерос все его кубки и чаши, и Тостиг уже не мог больше топить меня в кружке с медом. А это было его излюбленным развлечением. Эта шутка казалась ему необычайно остроумной и тонкой.

Мои первые детские воспоминания связаны с остроносими кораблями Тостига Лодброга, с морскими битвами и пиршественным залом Вруннанбура в те дни, когда наши корабли отдыхали на берегу замерзшего фиорда. Я ведь стал кравчим Тостига, и вот одно из самых ранних воспоминаний моего детства: с черепом Гутлафа, наполненным до краев вином, я ковыляю туда, где во главе стола восседает Тостиг, и от его зычного крика дрожат стропила. Все они там, обезумев от вина, вопили и стучали кулаками, а мне казалось, что так оно и должно быть, ибо другой жизни я не ведал. Все они легко приходили в ярость и тотчас хватались за оружие. Мысли их были свирепы, и они свирепо пожирали пищу и свирепо тянули мед и вино. И я рос таким же, как они. Да и как я мог расти иным, когда я подавал кубки бражникам, орущим во всю глотку, и скальдам,

поющим о Хьялле, и об отважном Хогни, и о золоте Нибелунгов, и о мести Гудрун, которая дала Атли съесть сердца его и своих детей, а в это время в яростной драке крушились скамьи, раздирались занавеси, похищенные на южных берегах, и на пиршественные столы падали убитые?

О да, и мне тоже была знакома такая ярость, ей меня хорошо обучили в этой школе. Мне было всего восемь лет, когда я показал свои когти на пирушке в Бруннанбуре, устроенной в честь наших гостей — ютов, которые приплыли к нам как друзья на трех длинных кораблях во главе с эрлом Агардом. Я стоял за плечом Тостига Лодброга, держа в руках череп Гутлафа, над которым поднимался ароматный пар от горячего пряного вина. Я ждал, когда Тостиг кончит поносить северных датчан. Но он не умолкал, и я все ждал, пока, наконец, переведя дыхание, он не стал поносить женщин Северной Дании. И тут я вспомнил мою мать, и багровая ярость застала мне глаза. Я ударил его черепом Гутлафа, вылив на него все вино, и оно ослепило его и жестоко обожгло. И когда он, ничего не видя, закружился на месте, пытаюсь схватить меня и размахивая своими огромными ручищами наугад, я подскочил к нему и трижды вонзил в него кинжал: в живот, в бедро и в ягодицу, ибо не мог достать выше.

И тут эрл Агард обнажил свой меч, а за ним обнажили мечи и все его юты, и он закричал:

— Храбрый медвежонок! Клянусь Одним, он достоин честного боя!

И под гулкой кровлей Бруннанбура задыхающийся от ярости мальчишка-кравчий из Северной Дании вступил в схватку с могучим Лодброгом. Один удар — и мое бездыханное тело покатилося по столу, сметая с него чаши и кубки, а Лодброг крикнул:

— Вышвырните его вон! Бросьте его псам!

Но эрл не пожелал этого и, хлопнув Лодброга по плечу, попросил подарить меня ему в знак дружбы.

И вот, когда лед в фиордах растаял, я поплыл на юг на корабле эрла Агарда. Он сделал меня своим кравчим и оруженосцем и дал мне имя Рагнар Лодброг. Владения Агарда граничили с землей фризов. Это были унылые, заболоченные равнины, вечно окутанные туманами. Я прожил у эрла три года, до дня его смерти, и всегда был рядом с ним — охотился ли он на волков по болотам или пировал в большой зале, где нередко присутствовала и его молодая жена Эльгива, окруженная прислужницами. Я сопровождал Агарда в южном походе, когда его корабли дошли до побережья нынешней Франции, где я узнал, что чем дальше к югу, тем теплее климат, мягче природа и нежнее женщины.

Но в этом набеге Агард был смертельно ранен и вскоре умер.

Мы сожгли его тело на высоком погребальном костре. Его жена Эльгива в золотой кольчуге с пением взошла на погребальный костер и встала рядом с его телом, и с ней сожгли множество челядинцев в золотых ошейниках, а также девять рабынь и восемь рабов-англов знатного происхождения. И много соколов вместе с двумя мальчишками-сокольничими.

Но я, Рагнар Лодброк, кравчий, не сгорел. Мне было одиннадцать лет, я не ведал страха, и мое тело не знало другой одежды, кроме звериных шкур. Когда языки пламени взвились ввысь, и Эльгива запела свою предсмертную песнь, а рабы, пленники и рабыни стонали и кричали, не желая умирать, я порвал свои путы, спрыгнул с костра и, как был — в золотом ошейнике раба, — бросился к болотам и добрался до них, когда пущенные по моему следу свирепые собаки совсем уже настигали меня.

В болотах прятались одичавшие люди: беглые рабы и преступники, на которых охотились ради забав, как на волков.

Три года провел я без крова над головой, не греясь у огня, и стал крепким, как обледеневшая земля. Я хотел было украсть себе у ютов женщину, но тут мне не повезло: за мной погнались фризы и после двухдневной охоты схватили меня. Они сорвали с меня золотой ошейник и продали за двух собак-волкодавов меня саксу Эдви, который надел на меня железный ошейник, а потом подарил вместе с пятью другими рабами Этелю из страны восточных англов. Я был рабом, а потом стал дружинником, но во время неудачного набега далеко на восток, где кончались болота, я попал в плен к гуннам. Там я был свинопасом, но бежал на юг, в большие леса, и был принят в племя тевтонов как свободный.

Тевтоны были многочисленны, но они жили маленькими племенами и отходили на юг под напором гуннов.

Но тут с юга в большие леса пришли римские легионы и отбросили нас назад к гуннам. Нас сдавили так, что нам некуда было податься, и мы показали римлянам, как мы умеем драться, хотя они ничуть не уступали.

Но в душе моей все время жило воспоминание о солнце, которое сверкало над кораблями Агарда, когда мы плавали в южные страны, и судьбе было угодно, чтобы, отброшенный вместе с тевтонами к югу, я попал в плен к римлянам и был привезен снова на море, которого я не видел с тех пор, как бежал от восточных англов. И я снова стал рабом — гребцом на галере, и вот, ворочая веслом, я впервые попал в Рим.

Рассказ о том, как я стал свободным человеком, римским гражданином и солдатом и почему, когда мне исполнилось тридцать лет, я должен был

поехать в Александрию, а оттуда в Иерусалим, занял бы слишком много времени. Однако я не мог не рассказать вкратце о первых годах моей жизни, после того, как Тостиг Лодборг окунул меня, новорожденного, в чашу с медом, так как иначе вам трудно было бы понять, что представлял собою человек, который въехал на коне в Яффские ворота и приковал к себе все взгляды.

Да и было на что посмотреть. Все эти римляне и евреи были низкорослыми и узкокостными, и такого крупного светловолосого великана им еще не доводилось видеть. И пока я ехал по узким улочкам, они все расступались передо мной, а потом останавливались и смотрели вслед белокурому человеку с севера. Впрочем, в последнем они вовсе не были уверены, ибо их познания о северянах были более чем скудными.

В распоряжении Пилата были, в сущности, только вспомогательные войска, набиравшиеся в провинциях. Горсточка римских легионеров охраняла дворец, да еще со мной прибыло двадцать римских солдат. Не отрицаю, вспомогательные войска не раз отличались в сражениях, но по-настоящему надежными солдатами были только римские легионеры. Они превосходили даже нас, северян, потому что всегда были готовы к бою; мы же хорошо дрались, только когда нам припадала охота, а в другое время угрюмо отсиживались в своих далеких селениях. А римляне были неизменно тверды и надежны.

В первый же вечер после моего приезда я встретил в доме Пилата подругу его жены, пользовавшуюся немалым влиянием при дворе Ирода Антипы. Я буду называть ее Мириам, ибо так звал я ее, полюбив. Если бы передать женское обаяние было трудно, но возможно, я сумел бы описать Мириам. Но такое обаяние неизъяснимо. И слова тут бессильны. Это ведь не впечатления, воспринимаемые рассудком. Женщина чарует наши чувства, и из этого рождается страсть, являющаяся своего рода сверхчувством.

Говоря в общем, каждая женщина желанна для каждого мужчины. Когда же в нас вызывает желание лишь одна-единственная женщина, мы называем это любовью. Так было и у меня с Мириам.

Ее чары находили во мне особый отклик, словно я ждал ее всю жизнь, и теперь, без колебаний раскрыл ей свои объятия. Этот отклик и делал ее такой желанной, в нем и крылось ее очарование.

Мириам была божественная женщина. Я намеренно употребляю это слово. Она была высокой, величественной и статной, что редкость среди ее соплеменниц. Она была аристократкой по рождению и по духу. Во всех ее поступках угадывалась широкая, щедрая, великодушная натура. Она была

умна, она была остроумна и, превыше всего, она была женственна. Как вы увидите, именно ее женственность и погубила нас. У нее были черные, иссиня-черные волосы, нежное овальное лицо, оливково-смуглая кожа и темные глаза, как два бездонных колодца. Едва ли была на свете еще одна пара, в которой сочетался бы столь ярко выраженный тип женщины-брюнетки и мужчины-блондина.

И мы покорили друг друга мгновенно. Нам не нужны были ни проверки, ни самопроверки, ни ожидания. Она стала моей, как только наши взгляды встретились. И она, так же как и я, уже тогда поняла, что я принадлежу ей. Я шагнул к ней, и она привстала навстречу мне, словно влекомая неведомой силой. И мы посмотрели друг другу в глаза, и когда черные глаза встретили взгляд синих, они уже не могли оторваться друг от друга, и это длилось до тех пор, пока жена Пилата, худая, истомленная заботами женщина, не засмеялась нервно. И когда я приветствовал жену Пилата, мне показалось, что Пилат бросил Мириам многозначительный взгляд, словно бы говоря: «Ну что, разве он не таков, как я рассказывал?» Дело в том, что Сульпиций Квирий, легат Сирии, сообщил ему о моем предстоящем прибытии. К тому же мы с Пилатом знали друг друга еще задолго до того, как он был назначен прокуратором огнедышащего иудейского вулкана и отбыл в Иерусалим.

Мы долго беседовали в тот вечер. Больше говорил Пилат.

Он подробно описывал положение в стране. Мне показалось, что он измучен одиночеством и хочет поделиться с кем-нибудь своей тревогой, своими опасениями и даже, быть может, попросить совета. Пилат был истинным римлянином, очень уравновешенным.

Впрочем, он обладал гибким умом, позволявшим ему осуществлять железную политику Рима, не вызывая особых трений с местным населением, и умел сохранять самообладание в самых трудных обстоятельствах.

Но в тот вечер легко было заметить, что он сильно встревожен. Евреи действовали ему на нервы. Они были слишком вспыльчивы, своевольны, неразумны. А кроме того, они умели тонко плести интриги. Римляне действовали прямо и открыто. Евреи предпочитали обходный путь, за исключением разве тех случаев, когда им приходилось отступать. Пилата, по его словам, раздражало то, что евреи всеми средствами пытались превратить его, а тем самым и Рим, в орудие разрешения их религиозных распрей.

— Как мне хорошо известно, — сказал он, — Рим не вмешивается в религиозную жизнь завоеванных им народов, но евреям свойственно все

запутывать и усложнять, придавая политическую окраску событиям, не имеющим ничего общего с политикой.

Пилат даже разгорячился, изливая мне свою досаду на всевозможные секты и бесконечные вспышки религиозного фанатизма.

— В этой стране, Лодбруг, — сказал Пилат, — ничего нельзя знать наперед. Сейчас ты видишь на небе лишь крошечное летнее облачко, а через час над твоей головой может разразиться страшная буря. Меня прислали сюда поддерживать спокойствие и порядок, но вопреки всем моим усилиям они превращают страну в осиное гнездо. Я предпочел бы управлять скифами или дикими бриттами, чем этими людьми, которые никак не могут договориться, в какого бога им верить. Вот, скажем, сейчас на севере страны появился рыбак, который что-то там проповедует и якобы творит чудеса, и я нисколько не удивлюсь, если не сегодня-завтра он взбаламутит всю страну, а я буду отозван в Рим.

Так я впервые услышал о человеке, имя которого было Иисус, но тут же забыл о нем. И вспомнил, только когда летнее облачко превратилось в грозовую тучу.

— Я навел о нем справки, — продолжал между тем Пилат. — Он политикой не занимается. Насчет этого сомнений быть не может, но уж Каиафа постарается — а за спиной Каиафы стоит Анна, — превратить этого рыбака в политическую занозу, чтобы уязвить Рим и погубить меня.

— О Каиафе я слышал: это, кажется, первосвященник, — сказал я. — А кто же в таком случае Анна?

— Эта хитрая лиса и есть настоящий первосвященник, — отвечал Пилат. — Каиафа был назначен Гратом, но он всего лишь тень Анны, игрушка в его руках.

— Они так и не простили тебе эту историю со щитами, — насмешливо поддразнила его Мириам.

Тут Пилат поступил, как поступает всякий человек, когда коснутся его больного места, — он принялся рассказывать про этот случай, который поначалу казался совсем пустяковым, а в конце концов едва не погубил его. По простоте душевной он установил перед своим дворцом два щита с посвятельными надписями. Это вызвало настоящую бурю, и возмущение фанатиков еще не улеглось, а уже была послана жалоба Тиберию. Тот принял сторону евреев и высказал свое недовольство Пилату.

Я был очень рад, когда несколько позже наконец сумел поговорить с Мириам. Жена Пилата успела улучшить минуту, чтобы рассказать мне о ней. Мириам происходила из царского рода. Ее сестра была замужем за Филиппом, тетрархом Гавланитиды и Батанеи. А сам Филипп был братом

Ирода Антипы, тетрарха Галилеи и Переи, и оба они были сыновьями Ирода, которого евреи называли «Великим». Мириам, как мне дали понять, считалась своим человеком при дворах обоих тетрархов, потому что была родственницей им обоим. Я узнал также, что еще девочкой она была помолвлена с Архелаем, который в то время был этнархом Иерусалима. Она была очень богата, и предполагаемый брак не был вынужденным. К тому же она была весьма своевольна, и угодить ей в таком важном деле, как выбор супруга, было, без сомнения, нелегко.

Да, как видно, в этой стране самый воздух был пропитан религией, ибо не успели мы с Мириам начать беседу, как тоже заговорили об этом. Поистине евреи в те дни не могли обходиться без религии, как мы — без сражений и пиров. Пока я находился в этой стране, в голове у меня стоял звон от нескончаемых споров о жизни и смерти, о законах и Боге. Что касается Пилата, то он не верил ни в богов, ни в злых духов, ни во что вообще. Смерть он считал вечным сном без сновидений, и вместе с тем все годы, проведенные в Иерусалиме, он больше всего, к своей досаде, занимался улаживанием яростных религиозных распрей. Да что там! Мальчишка-конюх, которого я как-то взял с собой в Идумею, — никчемный бездельник, не умевший толком оседлать коня, — только и делал, что от зари до зари, не переводя дыхания и с большим знанием дела, рассуждал о тончайших различиях, существующих в учениях раввинов от Шемаи до Гамалиеля.

Но вернемся к Мириам.

— Ты веришь в то, что ты бессмертен, — сразу же вызвала она меня на спор. — В таком случае почему же ты боишься говорить об этом?

— А зачем думать о том, что бесспорно? — возразил я.

— Но откуда у тебя такая уверенность? — настаивала она. — Объясни мне. Расскажи, как ты себе представляешь свое бессмертие.

И когда я рассказал ей о Нифлгейме и Муспелле, и о великане Имире, который родился из снежных хлопьев, и о корове Аудумле, и о Фенрире и Локи, и о ледяных Иотунах, да, повторяю, когда я рассказал ей обо всем этом, а также о Торе и Одине и о нашей Валгалле, глаза ее засверкали, и она воскликнула, захлопав в ладоши:

— О, ты варвар! Большое дитя, золотоволосый великан из страны вечного мороза! Ты веришь в сказки старух кормилиц и в радости желудка! Ну, а твой дух, дух, который не умирает, куда попадет он, когда умрет твоё тело?

— Как я уже сказал — в Валгаллу, — отвечал я. — Да и тело мое тоже будет там.

— Будет есть, пить, сражаться?

— И любить, — добавил я. — В обители блаженства с нами будут наши женщины, иначе зачем нам она?

— Ваша обитель блаженства мне не по душе, — сказала Мириам. — Это какое-то дикое место, где бури, морозы, безумие разгула.

— А какова же ваша обитель блаженства?

— В ней царит вечное лето, цветут цветы и зреют благоуханные плоды.

Но я проворчал, покачивая головой:

— А мне не по душе такое небо. Это унылое разнеживающее место, которое годится только для трусов, жирных бездельников и евнухов.

Мои слова, по-видимому, ей понравились, так как глаза ее засверкали еще ярче, и я был почти уверен, что она старается меня раззадорить еще больше.

— Моя блаженная обитель — для избранных, — сказала она.

— Блаженная обитель для избранных — это Валгалла, — возразил я. — Посуди сама, кому нужны цветы, которые цветут круглый год? А в моей стране, когда кончается студеная зима и долгие зимние ночи отступают перед солнцем, первые цветы, выглядывающие из-под талого снега, приносят людям истинную радость. И все любят ими и не могут налюбоваться.

— А огонь! — вскричал я, помолчав. — Великий благодетельный огонь! Ну что это за небо, где человек не может понять всю прелесть огня, который ревет в очаге, пока за крепкими стенами воет ветер и бушует снежная вьюга!

— Какой вы простодушный народ, — не сдавалась она. — Среди снежных сугробов вы строите себе хижину, разводите в очаге огонь и называете это небом. В нашей обители блаженства нам нет нужды спастись от снега и ветра.

— Не так, — возразил я. — Мы строим хижину и разводим огонь для того, чтобы было откуда выйти навстречу стуже и ветру и где укрыться от стужи и ветра... Мужчина создан для того, чтобы бороться со стужей и ветром. А хижину и огонь он добывает себе в борьбе. Я-то знаю... Было время, когда я в течение трех лет не имел крыши над головой и ни разу не погрел рук у костра. Мне было шестнадцать лет, я был мужчиной, когда впервые надел тканую одежду. Я был рожден в разгар бури, и пеленками мне служила волчья шкура. Теперь погляди на меня, и ты поймешь, какие мужчины населяют Валгаллу.

И она поглядела мне в глаза, и в ее взгляде был призыв, и она

воскликнула:

— Такие, как ты, золотоволосые великаны! — А затем задумчиво добавила: — Пожалуй, это даже грустно, что на моем небе не будет таких мужчин.

— Мир прекрасен, — сказал я ей в утешение. — Он широк и сотворен по разумному плану. В нем хватит места для многих небес. Мне кажется, каждому уготовано то блаженство, к которому он стремится... Там, за могилой, нас, конечно, ожидает прекрасная страна. Я, думаю, покину наши пиршественные залы, совершу набег на твою страну цветов и солнца и похищу тебя, как была похищена моя мать.

Тут я умолк и взглянул ей в лицо, и она встретила мой взгляд и не опустила глаз. Огонь пробежал у меня по жилам. Клянусь Одним, это была настоящая женщина!

Не знаю, что было бы дальше, если бы не Пилат. Закончив свою беседу с Амбивием, он уже несколько минут сидел, усмехаясь про себя, и тут нарушил воцарившееся молчание.

— Раввин из Тевтобурга! — насмешливо воскликнул он. — Еще один проповедник явился в Иерусалим и принес еще одно учение. Теперь начнутся новые религиозные распри и бунты и пророков будут снова побивать камнями! Да смилуются над нами боги — здесь все обезумели. Ну, Лодбруг, от тебя я этого не ожидал. Да ты ли это с пеной у рта споришь о том, что станет с тобой после смерти, словно какой-нибудь бесноватый отшельник? Человеку дана только одна жизнь, Лодбруг. Это упрощает дело. Да, упрощает дело.

— Ну же, ну, Мириам, продолжай! — воскликнула жена Пилата.

Во время нашего спора она сидела, словно зачарованная, крепко сцепив пальцы, и у меня промелькнула мысль, что она уже заразилась религиозным безумием, охватившим Иерусалим. Во всяком случае, как мне пришлось убедиться впоследствии, она проявляла болезненный интерес к этим вопросам. Она была так худа, словно долго болела лихорадкой. Казалось, ее руки, если посмотреть на них против света, будут совершенно прозрачны. Она была хорошая женщина, только чрезмерно нервная и суеверная и постоянно пугалась всяческих предзнаменований и дурных примет. У нее бывали видения, и она порой слышала неземные голоса. Я терпеть не могу такого слабодушия, но она все-таки была хорошей женщиной, и сердце у нее было доброе.

Я прибыл туда с поручением от Тиберия и, к несчастью, почти не виделся с Мириам. Мне пришлось отправиться ко двору Антипы, а когда я возвратился, то не застал Мириам: она уехала в Батанею ко двору Филиппа, который был женат на ее сестре.

Из Иерусалима я отправился в Батанею, хотя мне не было нужды встречаться с Филиппом: при всем своем безволии он был верен Риму. Но я искал встречи только с Мириам.

После этого я побывал в Идумее. Затем отправился в Сирию по повелению Сульпиция Квинрия: легат хотел получить сведения о положении в Иерусалиме из первых рук. Так, много разъезжая по стране, я скоро сам убедился, что евреи прямо-таки помешаны на религии. Это была их отличительная черта. Они не желали предоставить решение этих вопросов своим проповедникам, каждый из них стремился сам стать проповедником и проповедовал повсюду, где только находил себе слушателей. Впрочем, слушателей хватало с избытком.

Люди бросали свои занятия и бродили по стране, как нищие, затевая споры с раввинами и книжниками в синагогах и на ступенях храмов. В Галилее, области, пользовавшейся дурной славой (жителей ее считают придурковатыми), я впервые снова услышал о человеке по имени Иисус. По-видимому, он был сначала плотником, потом стал рыбаком, а когда начал бродяжничать, его товарищи — рыбаки — бросили свои рыбачьи сети и последовали за ним. Кое-кто считал его пророком, но большинство — безумцем.

Мой бездельник-конюх, который утверждал, что в знании талмуда ему нет равных, от души презирал Иисуса, называл его царем нищих, а его учение — эбионизмом. Смысл этого учения, как объяснил он мне, заключался в том, что только беднякам уготовано царствие небесное, а богатые и могущественные попадут в какое-то огненное озеро.

Я заметил, что в этой стране все называли друг друга безумцами; по-видимому, таков был обычай. Впрочем, на мой взгляд, они все без исключения были безумцами. И каждый по-своему. Кто изгонял бесов и лечил недуги наложением рук, кто без всякого вреда для себя пил смертельный яд и играл с ядовитыми змеями, — так, во всяком случае, утверждали сами чудотворцы, кто удалялся в пустыню и морил там себя голодом. А потом возвращался и начинал проповедовать какое-нибудь новое учение и собирал вокруг себя толпы. Так возникали новые секты, в которых немедленно начинались споры из-за тонкостей доктрины, что вело к распадению секты на две, а то и больше.

— Клянусь Одним, — сказал я Пилату, — сюда бы немножко нашего

северного снега и мороза! Это слегка охладило бы им мозги. Здешний климат слишком мягок. Вместо того чтобы строить себе теплые жилища и добывать пищу охотой, они беспрерывно создают новые учения.

— И изменяют природу Бога, — угрюмо подхватил Пилат. — Будь они прокляты, все эти их учения!

— Вот именно, — согласился я. — Если только мне удастся выбраться из этой сумасшедшей страны, сохранив рассудок, я буду рассекать надвое всякого, кто только посмеет заикнуться мне о том, что ждет меня за гробом.

Нигде больше нельзя было отыскать таких смутьянов. Решительно все на свете они сводили к вопросам благочестия или богохульства. Мастера вести споры о всяких тонкостях веры, они были не в силах постичь римскую идею государства. Политика для них становилась религией, а религия — политикой. В результате у каждого прокуратора хватало забот и хлопот. Римские орлы, римские статуи, даже щиты Пилата — все считалось преднамеренным оскорблением их религиозного чувства. Имущественная перепись, проведенная римлянами, вызвала большое негодование.

Однако без нее нельзя было установить налоги. И тут все начиналось сначала. Налоги, взимаемые государством, — преступление против их закона и их Бога. О этот закон! Он не имел ничего общего с римскими законами. Это был их собственный закон, дарованный им Богом. Находились фанатики, убивавшие всякого, кто нарушал этот закон. А если бы прокуратор решил покарать такого фанатика, застигнутого на месте преступления, тотчас бы вспыхнул бунт, а может быть, и восстание.

Все, что делали эти странные люди, они делали во имя Божье.

Те из них, кого мы, римляне, называли «тавматургами», творили чудеса в доказательство правильности своего вероучения. Мне всегда казалось полнейшей бессмыслицей доказывать правильность таблицы умножения путем превращения жезла в змею или даже в двух змей, однако именно это и проделывали тавматурги, и это неизменно вызывало волнения в народе.

О небожители, сколько же там было сект! Фарисеи, ессеи, саддукеи — их был целый легион! И едва успевала возникнуть новая заумная секта, как она тотчас же обретала политическую окраску. Прокуратору Колонию, одному из предшественников Пилата, немало пришлось потрудиться, чтобы подавить гавланитский мятеж, начавшийся именно таким образом в Гамале.

Когда я в последний раз заехал в Иерусалим, среди евреев было заметно необычное волнение. Они собирались толпами, горячо обсуждали что-то и кричали во всю глотку. Некоторые предрекали конец света, другие

удовлетворялись меньшим и предсказывали лишь крушение Иерусалимского храма. А отъявленные бунтовщики твердили, что пришел конец римскому владычеству и скоро возродится еврейское царство.

Пилат тоже как будто был весьма встревожен. Я видел, что ему приходится нелегко. Но надо сказать, что он оказался столь же тонким политиком, как и они: узнав его получше, я готов был бы побиться об заклад, что он сумеет поставить в тупик самого искушенного в спорах книжника из синагоги.

— Будь у меня хоть пол-легиона римских солдат, — пожаловался он мне, — я бы взял Иерусалим за глотку... и был бы, верно, отозван в Рим в награду за мои старания. — Он, как и я, не слишком надеялся на вспомогательные войска, а римских солдат у нас была лишь горстка.

В этот мой приезд я поселился во дворце и, к моему восторгу, встретил там Мириам. Впрочем, радости мне от этого было мало: мы разговаривали только о положении в стране. На то были веские причины, так как город гудел, словно потревоженное осиное гнездо.

Впрочем, он и был осиным гнездом. Приближалась Пасха — их религиозный праздник, и, по обычаю, в Иерусалим стекались толпы людей со всех концов страны. Все эти пришельцы, конечно, были фанатиками, иначе они не пустились бы в такое паломничество. Город был набит битком, и все-таки многим пришлось расположиться за городскими стенами. Я не мог разобрать, вызвано ли это волнение проповедями бродячего рыбака, или причина его крылась в ненависти евреев к Риму.

— Иисус здесь ни при чем или почти ни при чем, — сказал Пилат, отвечая на мой вопрос. — Каиафа и Анна — вот настоящие зачинщики этих беспорядков. Они свое дело знают. Но вот с какой целью мутят они народ, догадаться трудно. Разве лишь для того, чтобы наделать мне неприятностей.

— Да, разумеется, без Каиафы и Анны здесь дело не обошлось, — сказала Мариам. — Но ты, Понтий Пилат, — римлянин и многого не понимаешь. Будь ты евреем, тебе было бы ясно, что дело здесь куда глубже — это не просто религиозные распри отдельных сект или стремление насолить тебе и Риму. Первосвященники и фарисеи, все сколько-нибудь влиятельные и богатые евреи, Филипп, Антипа и я сама боремся за свою жизнь. Быть может, этот рыбак действительно безумец, но он очень хитрый безумец. Он проповедует бедность. Он выступает против нашего закона, а наш закон — это наша жизнь, как вы могли бы уже понять. Мы ревниво оберегаем наш закон, он для нас — как воздух для тела, и вы тоже постарались бы оторвать от горла руки, которые вас душат. Или Каиафа и

Анна и все, что они защищают, или этот рыбак. Они должны уничтожить его, иначе он уничтожит их.

— Как странно! Простой бедняк, какой-то рыбак! — вступила в разговор жена Пилата. — Так откуда же у него такая сила, такое влияние? Мне бы очень хотелось увидеть его. Своими глазами поглядеть на такого необыкновенного человека.

При этих словах Пилат нахмурился, и я понял, что ко всем его заботам прибавилась еще одна — болезненное душевное состояние его жены.

— Если ты хочешь увидеть его, тебе придется посетить самые грязные притоны города, — презрительно рассмеялась Мириам. — Ты найдешь его там либо за стаканом вина, либо в компании непотребных женщин. Никогда еще стены Иерусалима не видели такого пророка.

— А что же тут плохого? — спросил я, словно против воли принимая сторону рыбака. — В каких только провинциях, например, не приходилось мне тянуть вино и проводить веселые ночи! Мужчина — всегда мужчина и поступает, как подобает мужчине, если, конечно, я не безумец, против чего решительно возражаю.

Мириам покачала головой.

— Он не безумец. Он хуже — он очень опасен. Эбионизм вообще опасен. Этот Иисус стремится разрушить все вековые устои. Он бунтовщик. Он хочет разрушить иерусалимские храмы и то небольшое, что нам осталось от еврейского государства.

Но тут Пилат покачал головой.

— Он не занимается политикой. Я наводил о нем справки. Он мечтатель. Он не призывает к мятежу. Он даже согласен, что надо платить римские налоги.

— Опять ты не понимаешь, — стояла на своем Мириам. — Дело не в том, какие у него замыслы, дело в том, к чему все это приведет, если его замыслы осуществляются. Вот что превращает его в бунтовщика. Я думаю, он сам не понимает, чем все это может кончиться. Тем не менее он опасен, как чума, и потому его надо уничтожить.

— Судя по тому, что я о нем слышал, это бесхитростный, добросердечный человек, который никому не хочет зла, — заметил я.

И тут я рассказал об исцелении десяти прокаженных, свидетелем чего я был в Самарии по дороге в Иерихон.

Жена Пилата слушала мой рассказ, как зачарованная. Внезапно до нашего слуха донесся отдаленный шум и крики, и мы поняли, что солдаты разгоняют собравшиеся на улице толпы.

— И ты, Лодбруг, поверил, что он сотворил чудо? — спросил Пилат. —

Ты поверил, что гнойные язвы прокаженных закрылись в мгновение ока?

— Я видел, что прокаженные исцелились, — ответил я. — Я последовал за ними, чтобы убедиться воочию. От проказы не осталось и следа.

— Но ты видел на них язвы? Видел ты их до исцеления? — не сдавался Пилат.

Я отрицательно покачал головой.

— Нет, мне только сказали об этом, — признался я. — Однако, когда я сам увидел их после исцеления, можно было сразу заметить, что они раньше были прокаженными. Они были, как пьяные. Один сидел на самом солнцепеке, ощупывая себя со всех сторон, и все глядел и глядел на свою здоровую кожу, словно не мог поверить собственным глазам. Когда я стал расспрашивать его, он не в состоянии был ответить мне ни слова и ни на секунду не мог оторвать глаз от своего тела. Он был безумен. Сидел на солнцепеке и глядел, глядел на свою кожу.

Пилат презрительно улыбнулся, и я заметил, что столь же презрительна была легкая улыбка, скользнувшая по губам Мириам. А жена Пилата сидела затаив дыхание и словно оцепенев, а взгляд ее широко раскрытых глаз был устремлен вдаль. Тут заговорил Амбивий:

— Каиафа утверждает — он юворил мне это не далее как вчера, — что рыбаки обещают свести Бога с небес на землю и создать на земле новое царство, управлять которым будет сам Бог.

— А это значит — конец владычеству Рима, — перебил его я.

— Это придумали Каиафа и Анна, чтобы поссорить нас с Римом, — пояснила Мириам. — Это все ложь. Их выдумки.

Пилат кивнул и спросил:

— Но ведь в ваших древних книгах есть какое-то пророчество об этом? Вот его-то первосвященники и выдают за цели рыбака.

Мириам согласилась с ним и тут же процитировала все пророчество. Я рассказываю об этом, чтобы показать, насколько глубоко изучил Пилат этот народ, который он так ревностно старался образумить.

— А я слышала другое, — продолжала Мириам. — Этот Иисус проповедует конец света и царство Божие, но не на земле, а на небесах.

— Мне доносили обо этом, — сказал Пилат. — Это правда. Иисус считает римские налоги справедливыми. Он утверждает, что Рим будет править до тех пор, пока не наступит конец света, а вместе с этим и конец всем земным правителям. Теперь мне ясно, какую игру ведет со мной Анна.

— Некоторые из его последователей утверждают даже, что это он сам и есть Бог, — сообщил Амбивий.

— Мне не передавали, чтобы он сам так говорил, — сказал Пилат.

— А почему бы нет? — едва слышно проронила его жена. — Почему бы нет? Ноги спускались на землю и раньше.

— Видишь ли, — сказал Пилат, — я знаю от верных людей, что после того, как этот Иисус сотворил чудо, накормив множество народу несколькими хлебцами и рыбками, безмозглые галилеяне хотели сделать его царем. И сделали бы, даже против его воли, но он, чтобы избавиться от них, бежал в горы. В чем же тут безумие? Он ведь понял, чем грозит ему их глупость.

— Однако Анна задумал то же самое и собирается обвести вас вокруг пальца, — сказала Мириам. — Они кричат, что он хочет стать царем иудейским, а это нарушение законов Рима, и, следовательно, Рим должен сам разделаться с Иисусом.

Пилат пожал плечами.

— Не царем иудейским, а скорее царем нищих или царем мечтателей. Иисус не дурак. Он мечтатель, но мечтает он не о земной власти. Желаю ему всяческой удачи на том свете, ибо там юрисдикция Рима кончается.

— Он утверждает, что всякая собственность — грех. Вот почему фарисеи тоже неистовствуют, — снова заговорил Амбивий.

Пилат весело засмеялся.

— Однако этот царь нищих и его нищие приверженцы все же не гнушаются собственностью, — пояснил он. — Посудите сами, ведь еще не так давно у них давно был свой казначей, хранивший их богатства. Его звали Иуда, и ходят слухи, что он запускал руку в общий кошелек, который ему доверили.

— Но Иисус не крал? — спросила жена Пилата.

— Нет, — отвечал Пилат. — Крал Иуда, казначей.

— А кто такой был Иоанн? — спросил я. — Он устроил беспорядок под Тивериадой, и Антипа казнил его.

— Еще один пророк, — ответила Мириам. — Он родился где-то неподалеку от Хеброна. Он был одержимый и долго жил отшельником. То ли он, то ли его последователи утверждали, что он Илия, восставший из мертвых. А Илия — это один из наших старых пророков.

— Он подстрекал народ к бунту? — спросил я.

Пилат усмехнулся и покачал головой. Затем сказал:

— Он поссорился с Антипой из-за Иродиады. Иоанн был человек высоконравственный и поплатился за это головой. Но это слишком длинная история. Политика была тут ни при чем.

— А некоторые утверждают, что Иисус — это сын Давида, — сказала

Мириам.

— Только это вздор. В Назарете никто этому не верит. Ведь там живет вся его семья, включая двух замужних сестер, и все их знают. Это самая обыкновенная семья простолюдинов.

— Хотелось бы мне, чтобы так же просто было написать доклад Тиберию обо всех этих хитросплетениях, — проворчал Пилат. — А теперь этот рыбак уже под Иерусалимом, город кишмя кишит пилигримами, способными каждую минуту затеять беспорядки, а Анна все подливает и подливает масла в огонь.

— И не успокоится, пока не добьется своего, — предрекла Мириам. — Он хочет загребать жар твоими руками, и так оно и будет.

— Чего же именно он хочет? — спросил Пилат.

— Казни этого рыбака.

Пилат упрямо покачал головой, а его жена воскликнула:

— Нет! Нет! Это была бы позорная несправедливость. Он никому не сделал зла! Он ни в чем не повинен перед Римом!

Она с мольбой взглянула на Пилата, и тот снова покачал головой.

— Пусть их сами рубят головы, как это сделал Антипа, — проворчал он. — Сам по себе этот рыбак ничего не значит, но я не хочу быть их орудием. Если им нужно его уничтожить, пусть сами и уничтожают. Это их дело.

— Но ты не допустишь!.. — вскричала жена Пилата.

— Если я попробую вмешаться, мне будет нелегко объяснить Тиберию, что я поступил правильно, — ответил Пилат.

— Как бы ни обернулось дело, — сказала Мириам, — тебе все равно придется писать объяснение в Рим, и притом очень скоро. Ведь Иисус со своими рыбаками уже у стен Иерусалима.

Пилат не скрыл досады, которую вызвали в нем ее слова.

— Меня не интересует, где он сейчас и куда направится потом, — заявил он. — Надеюсь, я никогда его не увижу.

— Анна его разыщет и приведет к твоим воротам, можешь в этом не сомневаться, — заметила Мириам.

Пилат пожал плечами, и наша беседа оборвалась. Жена Пилата, находившаяся в состоянии крайнего нервного возбуждения, увела Мириам на свою половину, и мне осталось только отправиться в постель и уснуть под доносившийся с улиц этого города безумцев гул и рокот толпы.

События развивались с необыкновенной быстротой. За одну ночь город был спален собственной яростью. В полдень, когда я выехал с полудюжиной моих солдат из дворца, все улицы были запружены народом и толпа расступалась передо мной еще более неохотно, чем прежде. Если бы взгляды могли убивать, я в тот день не дожил бы до вечера. Многие плевали, глядя прямо на меня, и со всех сторон раздавались угрозы и брань.

Теперь уже на меня смотрели не с удивлением, как на чудо, а с ненавистью, ибо я носил ненавистные доспехи римлянина.

Случись это в каком-либо другом городе, я приказал бы своим солдатам разогнать этих злобных фанатиков ударами мечей плашмя. Но я был в Иерусалиме — в городе, охваченном горячкой безумия, и меня окружали люди, неспособные отделить идею государства от идеи Бога.

Анна, саддукей, хорошо сделал свое дело. Что бы ни думал он и синедрион об истинной подоплеке происходящих событий, черни сумели внушить, что виной всему Рим.

В толпе я увидел Мириам. Она шла пешком в сопровождении только одной служанки. В такие дни ей было опасно появляться на улицах в одеждах, подобающих ее положению. Ведь она была свояченицей Ирода Антипы, а его не любили. Поэтому Мириам оделась очень скромно и закрыла лицо, чтобы ничем не отличаться от женщин низшего сословия. Но мои глаза она не смогла обмануть: слишком часто в моих снах я видел величественную осанку и поступь, присущие только ей одной.

Едва успели мы обменяться несколькими торопливыми словами, как началась страшная давка, и я и все мои верховые оказались в самой гуще толпы. Мириам укрылась за выступом ограды

— Этого рыбака схватили? — спросил я.

— Нет, но он уже у самых городских стен. Он подъехал к Иерусалиму на осле, а впереди него и позади шли целые толпы, и какие-то несчастные глупцы, приветствуя его, называли царем Иудеи. Теперь наконец у Анны есть предлог заставить Пилата выполнить его желание. В сущности, этот рыбак уже приговорен.

хотя приговор еще и не вынесен. Его песня спета.

— Но Пилат его не тронет, — возразил я.

Мириам покачала головой.

— Об этом позаботится Анна. Они притащут его в синедрион.

И ему вынесут смертный приговор. Выть может, его побьют камнями.

— Но синедрион не имеет права никого казнить, — продолжал возражать я.

— Иисус не римлянин, — ответила Мириам. — Он еврей. По закону

талмуда он повинен и должен умереть, ибо он святотатственно нарушил закон.

Но я упрямо стоял на своем:

— Синедрион не имеет на это права.

— Пилат не станет возражать, если синедрион присвоит себе это право.

— Но это противозаконно, — перебил я. — А Рим в таких делах щепетилен.

— Тогда Анна найдет еще один выход, — улыбнулась Мириам. — И заставит Пилата распять Иисуса. Но так или иначе, это можно только одобрить.

Толпа рванулась вперед, увлекая за собой наших лошадей, и наши колени то и дело сталкивались. Какой-то фанатик упал, и я почувствовал, как конь, наступив на него копытом, пытается прыгнуть в сторону и встать на дыбы. Я слышал, как закричал упавший, и ропот толпы перешел в угрожающий рев. Но я обернулся и крикнул Мириам:

— Ты беспощадна к нему, а он, по твоим словам, никому не причинил зла.

— Я беспощадна не к нему, а к тому злу, которое он невольно может посеять, если останется в живых, — отвечала она.

Я едва расслышал ее слова, так как ко мне подскочил какой-то человек, схватил моего коня под уздцы и сильно дернул меня за ногу, намереваясь стащить с седла. Наклонившись вперед, я с размаху ударил его ладонью по скуле. Моя ладонь покрыла половину его лица, и я вложил в этот удар весь свой вес. Жители Иерусалима не знают, что такое настоящая оплеуха. Я часто жалел, что не знаю, сломал ему шею или нет.

* * *

На следующий день я снова увидел Мириам. Я встретился с ней во внутреннем дворе дворца Пилата. У нее был такой вид, точно она грезит наяву. Ее глаза смотрели на меня и не видели.

Ее уши слушали меня и не слышали. Она была словно чем-то опьянена — ее отрешенный взгляд, полный недоверчивого изумления, напомнил мне вдруг прокаженных, которых я видел в Самарии после их исцеления.

Сделав над собой усилие, она как будто пришла в себя и все-таки осталась совсем другой. Я не мог разгадать выражения ее глаз. Никогда

еще не видел я у женщин таких глаз.

Она прошла бы мимо, даже не заметив меня, если бы я не преградил ей дорогу. Она остановилась и произнесла обычные слова приветия, но взгляд ее скользил мимо меня, ища поразившее его ослепительное видение.

— Я видела его, Лодбруг, — прошептала она. — Я видела его.

— Да помогут ему боги, кто бы он ни был, если ваша встреча одурманила и его, как тебя, — рассмеялся я.

Но она словно и не слышала моей неуместной шутки: видение неотступно стояло перед ее взором, и она ушла бы, если бы я снова не преградил ей дорогу.

— Кто же этот «он»? — спросил я. — Может быть, это какой-нибудь восставший из могилы мертвец зажег твои глаза таким странным огнем?

— Это тот, кто других поднимает из могил, — отвечала она. — Воистину я верю, что он, Иисус, воскрешает мертвых. Он — Князь Света, сын Божий. Я видела его. Воистину я верю, что он сын Божий.

Из ее слов я понял только, что она встретила этого странствующего рыбака и заразилась от него его безумием. Ведь передо мной была совсем другая Мириам, ничем не похожая на ту, которая называла Иисуса чумой и требовала, чтобы он был уничтожен.

— Он околдовал тебя! — гневно вскричал я.

Глаза ее увлажнились, взгляд стал еще более глубок, и она кивнула.

— О Лодбруг, он обладает чарами превыше всякого колдовства, их нельзя ни постичь, ни выразить словами! Но достаточно взглянуть на него, чтобы почувствовать: это сама доброта, само сострадание. Я видела его. Я слышала его. Я раздам все, что у меня есть, беднякам и последую за ним.

Она говорила с таким глубоким убеждением, что я поверил ей, как поверил еще раньше в то изумление, с каким прокаженные разглядывали свою чистую кожу. Мне стало горько при мысли, что эту божественную женщину мог так легко сбить с толку какой-то бродячий чудотворен.

— Что ж, следуй за ним, — насмешливо сказал я. — Ты, без сомнения, получишь венец, когда он вступит в свое царство.

Она утвердительно кивнула, и я едва удержался, чтобы не ударить ее по лицу, так тяжело было мне ее безумие. Я шагнул в сторону, пропуская ее, и, медленно пройдя мимо меня, она прошептала:

— Его царство не здесь. Он сын Давида. Он сын Божий. Он то, что он говорит, и он то, что говорят о нем, когда хотят передать в словах его неизреченную доброту и его истинное величие.

* * *

— Мудрость с Востока, — посмеиваясь, сказал мне Пилат. — Он мыслитель, этот невежественный рыбак. Я теперь узнал его ближе. Я получил новые донесения. Ему нет нужды творить чудеса. Он более искушен в споре, чем самые искушенные из его противников. Они устраивали ему ловушки, а он смеялся над их ловушками. Вот, послушай.

И он рассказал мне, как Иисус смутил всех, кто хотел смутить его, приведя к нему на суд женщину, уличенную в прелюбодеянии.

— А что ответил он на вопрос о налогах? — воскликнул Пилат. — «Кесарево кесарю, а Божье Богу». Анна хотел подстроить ему ловушку, а он посрамил Анну. Наконец-то появился хоть один иудей, который понимает нашу римскую идею государства.

* * *

Затем я встретил жену Пилата. Взглянув ей в глаза, я мгновенно понял — ведь я уже смотрел в глаза Мириам, — что эта измученная, нервная женщина тоже видела рыбака.

— Он исполнен божественности, — шепнула она мне. — Он знает и верит, что бог в нем.

— Быть может, он сам Бог? — спросил я мягко, потому что мне надо было что-то сказать.

Она покачала головой.

— Не знаю. От этого не сказал. Но вот что я знаю: именно такие и есть боги.

* * *

«Покоритель женщин», — подумал я, покидая жену Пилата, продолжавшую грезить наяву.

Все вы, читающие эти строки, знаете о том, что произошло в последующие дни, а мне именно в эти дни пришлось убедиться, что чары Иисуса покоряют как мужчин, так и женщин. Он покорила Пилата. Он околдовал меня.

После того как Анна послал Иисуса к Каиафе и собравшийся в доме

Каиафы синедрион приговорил Иисуса к смерти, неистовствующая толпа потащила Иисуса к Пилату, чтобы тот его казнил.

Пилат же ради самого себя, а также ради Рима не хотел казнить Иисуса. Сам рыбак интересовал его очень мало, но Пилат был весьма озабочен тем, чтобы сохранить мир и порядок в стране.

Что было Пилату до жизни одного человека? И даже до жизни многих людей? Рим был железным государством, и правители, которых посылал Рим в покоренные им страны, были тверды, как железо. Пилатом руководили отвлеченные понятия о долге и государстве. И тем не менее, когда Пилат, нахмутив брови, вышел к вопящей толпе, которая привела к нему рыбака, он мгновенно подпал под власть чар этого человека.

Я был там. Я знаю. До этой минуты Пилат никогда его не видел. Пилат был разгневан. Наши солдаты ждали только знака, чтобы очистить двор от этого шумного сброда. Но едва Пилат поглядел на рыбака, как тут же смягчился и даже больше — исполнился сострадания к нему. Он заявил, что рыбак ему неподсуден, что они должны судить его своим законом и поступать с ним так, как велит им закон, ибо рыбак — еврей, а не римлянин. Никогда еще евреи не были столь послушны установлениям Рима. Они начали кричать, что римские законы запрещают им казнить преступников. Может быть, но Антипа обезглавил Иоанна, и это сошло ему с рук.

Тогда Пилат оставил их всех во дворе под открытым небом и только одного Иисуса увел с собой в залу суда. Что произошло в этом зале, я не знаю, но когда Пилат вернулся, он был уже другим человеком. Если прежде он не хотел этой казни, потому что не желал быть орудием Анны, то теперь не хотел ее из-за самого рыбака. Теперь он стремился спасти Иисуса. А толпа все это время кричала, не умолкая:

— Распни, распни его!

Ты знаешь, читатель, как искренни были старания Пилата.

Ты знаешь, как пытался он утихомирить толпу, высмеивая Иисуса, словно безвредного безумца, как предложил освободить его ради Пасхи, так как обычай требует в этот день освобождать из темницы одного узника. И ты знаешь, как, послушная нашептываниям первосвященников, толпа потребовала помилования убийцы — Варава.

Тщетно Пилат противился воле первосвященников. Тщетно насмешками и глумлением пытался обернуть все в шутку. Смеясь, он назвал Иисуса царем иудейским и приказал его бичевать. Он еще надеялся, что все разрешится смехом и среди смеха будет забыто.

Я рад сказать, что ни один римский легионер не принимал участия в

дальнейшем. Это солдаты вспомогательного войска возложили терновый венец на Иисуса, накинули на него плащ как мантию, вложили ему в руку вместо скипетра тростинку и, преклонив колена, приветствовали как царя иудейского. Пусть все это было напрасно, но делалось это ради одного — ради умиротворения толпы. И я, наблюдая все это, почувствовал силу чар Иисуса. Под градом жестоких насмешек он сохранил величие.

И пока я глядел на него, мне в сердце снизошел мир. Это был мир, царивший в его сердце. Я понял все и успокоился. То, что свершалось, должно было свершиться. Так надо, и все хорошо. Безмятежная кротость Иисуса среди этого злобно клокочущего буйства передалась мне. И я даже не подумал о том, что мог бы спасти его.

К тому же в моей дикой и пестрой жизни я видел слишком много чудес, творимых людьми, чтобы это новое чудо могло толкнуть меня на безрассудство. Я был исполнен безмятежности.

Мне нечего было сказать. Я не мог ни судить, ни осуждать. Я знал одно: то, что происходит, выше моего понимания, и оно должно произойти.

Пилат продолжал сопротивляться. Толпа бесновалась все сильнее. Она требовала крови, и все громче становился крик: «Распни его!» И снова Пилат удалился в зал суда. Его попытка превратить все в комедию не удалась, и он решил еще раз отказаться судить Иисуса, ссылаясь на то, что тот не из Иерусалима. Иисус был подданным Ирода Антипы, и на суд к Антипе хотел отослать его Пилат.

Но теперь ревела не только толпа во дворе — бушевал весь город. Уличная чернь смяла наших солдат, охранявших дворец снаружи. Начинался бунт, который мог превратиться в гражданскую войну и мятеж против власти Рима. Мои двадцать легионеров стояли вблизи от меня, ожидая приказа. Они любили этих фанатиков-евреев ничуть не больше, чем я, и охотно по первому моему слову обнажили бы мечи и очистили двор.

Когда Пилат снова вышел к толпе, ее рев заглушил его слова о том, что судить Иисуса может только Ирод Антипа. Пилату кричали, что он предатель, что, если он отпустит рыбака, значит, он враг Тиберию. Я стоял, прислонившись к стене, а рядом со мной какой-то длиннорослый, длинноволосый, покрытый паршой фанатик, не переставая, прыгал на одном месте и кричал:

— Тиберий — император! Нет другого царя! Тиберий — император! Нет другого царя!

Терпение мое истощилось. Его визг оскорблял мой слух.

Пошатнувшись словно бы нечаянно, я наступил ему на ногу и навалился на нее всей своей тяжестью. Этот сумасшедший ничего не

заметил. Он настолько обезумел, что уже не чувствовал боли и по-прежнему продолжал выкрикивать:

— Тиберий — император! Нет другого царя!

Я увидел, что Пилат колеблется. Пилат, римский наместник, на мгновение стал просто человеком по имени Пилат, которого душил гнев, потому что это отребье требовало крови такого благородного и отважного, такого кроткого и доброго, такого чистого духом человека, как Иисус.

Я видел, что Пилат колеблется. Его взгляд отыскал меня, словно он готов был дать мне сигнал действовать, и я подался вперед, выпустив раздавленную ступню из-под моей ноги. Еще секунда, и я бы ринулся выполнять полувывысказанную волю Пилата и, залив кровью двор, очистил его от грязных подонков, продолжавших вопить во всю глотку.

Не колебания Пилата заставили меня принять решение. Это Иисус решил, как должно было поступить и Пилату и мне. Он поглядел на меня. И повелел мне. Говорю вам: этот бродяга рыбак, этот странствующий проповедник, этот простолюдин, забредший сюда из Галилеи, повелел мне. Он не произнес ни слова. Тем не менее его повеление прозвучало, как трубный глас.

И я остановил мою занесенную для прыжка ногу и задержал мою руку, ибо кто я был такой, чтобы противиться намерениям и воле столь величаво спокойного и столь кротко уверенного в своей правоте человека! И когда я остался стоять, где стоял, я постиг всю силу чар этого человека: мне открылось в нем все то, что околдовало Мириам и жену Пилата, что околдовало и самого Пилата.

Остальное вам известно. Пилат умыл руки в знак того, что он не повинен в смерти Иисуса, и кровь его пала на головы бунтовщиков. Пилат отдал приказ о распятии Иисуса. Толпа была удовлетворена, удовлетворены были и прятавшиеся за спину толпы Канафа, Анна и синедрион. Ни Пилат, ни Тиберий, ни римские солдаты не распинала Иисуса. Это было дело рук первосвященников Иерусалима. Я видел. Я знаю. Пилат спас бы Иисуса вопреки своим интересам

— совершенно так же, как это сделал бы и я, если бы сам Иисус не воспротивился этому.

А Пилат позволил себе последнюю насмешку над этой чернью, которую он презирал. Он приказал прибить к кресту Иисуса дощечку с надписью на еврейском, греческом и латинском языках:

«Царь Иудейский». Тщетно протестовали первосвященники. Ведь именно под этим предлогом принудили они Пилата казнить Иисуса, и именно этот предлог, оскорбительный для иудеев, позорный для них,

подчеркнул Пилат. Он казнил отвлеченную идею, которая никогда не воплощалась в действительность. Эта отвлеченная идея была выдумкой, ложью, измышлением первосвященников.

Ни сами первосвященники, ни Пилат не верили в нее. Иисус ее отвергал. Эта отвлеченная идея воплощалась в словах: «Царь Иудейский».

* * *

Буря, бушевавшая во дворе перед дворцом, улеглась. Горячее возбуждение мало-помалу остыло. Мятеж был предотвращен. Первосвященники были довольны, толпа успокоена, а Пилат и я испытывали огромную усталость и отвращение к тому, что случилось. Однако новые грозовые тучи уже собирались над нашими головами. Иисуса еще не увели, а одна из прислужниц Мириам уже явилась за мной. И я заметил, что Пилат, повинаясь такому же зову, направился следом за прислужницей своей жены.

— О Лодбrog, я знаю все! — такими словами встретила меня Мириам. Мы были одни, и она прижалась ко мне, ища поддержки и защиты в моих объятиях. — Пилат не устоял. Он собирается распять его. Но еще есть время. Твои легионеры на конях. Возьми их и поезжай. Его стерегут только центурион и горстка солдат. Они еще здесь. Как только они двинутся в путь, следуй за ними. Они не должны достигнуть Голгофы. Но дай им выбраться за городскую стену. И тогда отмени приказ Пилата. Возьми с собой оседланную лошадь для него. Остальное будет нетрудно. Скройся с ним в Сирию или в Идумею — куда угодно, лишь бы он был спасен.

Она умолкла. Ее руки обвивали мою шею, запрокинутое лицо было соблазнительно близко, в ее глазах светилось обещание.

Удивительно ли, что я заговорил не сразу. Какое-то мгновение мной владела только одна-единственная мысль — сначала странный спектакль, разыгравшийся перед моими глазами, а теперь это. Я не заблуждался. Все было совершенно ясно. Божественная женщина будет моей, если... если я предам Рим. Ибо Пилат был наместником, он уже отдал приказ, и его голос был голосом Рима.

Как я уже говорил, Мириам прежде всего была женщиной до мозга костей, и это разлучило нас. Она всегда была столь рассудительна, столь трезва, столь уверена и в себе и во мне, что я позабыл извечный закон, который должен был помнить: женщина всегда остается женщиной... В решающие минуты женщина не рассуждает, а чувствует и подчиняется

тогда велениям не ума, а сердца.

Мириам неправильно истолковала мое молчание, ибо, прильнув ко мне, прошептала, словно что-то вспомнив:

— Возьми двух запасных лошадей, Лодброг. Вторую для меня... Я уеду... Уеду с тобой, хоть на край света, куда бы ты ни направился.

О, это была царственная взятка! А взамен от меня требовался пустяк. И все же я продолжал молчать. Не потому, что я колебался или был смущен. Просто огромная печаль охватила меня при мысли, что никогда больше мне не суждено будет обнять эту женщину, которая сейчас покоится в моих объятиях.

— Только один человек во всем Иерусалиме еще может сегодня спасти его, — настойчиво продолжала она. — И этот человек — ты, Лодброг.

И так как я и тут ничего ей не ответил, она потрясла меня за плечи, словно стараясь вывести меня из оцепенения. Она потрясла меня так, что мои доспехи загремели.

— Отвечай же, Лодброг, отвечай! — потребовала она. — Ты силен и бесстрашен. Ты — настоящий мужчина. Я знаю, ты презираешь чернь, которая хочет его смерти. Ты, только ты один можешь спасти его. Стоит тебе сказать слово, и все будет сделано, а я всегда буду горячо любить тебя за это до конца моих дней.

— Я римлянин, — медленно произнес я, слишком хорошо понимая, что, произнося эти слова, теряю ее навсегда.

— Ты верный раб Тиберия, верный пес Рима. — вспыхнула она, — но ты ничем не обязан Риму, ты не римлянин. Вы, золотоволосые великаны с севера, вы не римляне.

— Римляне — наши старшие братья, а мы, северяне. — младшие, — отвечал я. — А я к тому же ношу римские доспехи и ем хлеб Рима. — И, помолчав, я вкрадчиво добавил: — Но почему столько волнений и шума из-за жизни одного-единственного человека? Смерть суждена всем. Умереть — что может быть легче и проще? Сегодня или через сто лет — так ли уж это важно? Ведь каждого из нас неизбежно ждет ют же самый конец.

Она затрепетала в моих объятиях, — охваченная одним страстным желанием — спасти жизнь Иисуса.

— Ты не понимаешь, Лодброг. Это не просто человек. Говорю тебе, это человек, который выше всех людей, это живой Бог, он не из людей, он над людьми.

Я крепче прижал ее к себе и сказал, понимая, что теряю драгоценнейшую из женщин:

— Ты женщина, а я мужчина. Мы оба смертны, и наш мир — здесь, на

земле. Мечты о загробной жизни — безумие. Пусть эти мечтатели и безумцы живут в мире своих грез. Не лишай их того, что им всего дороже — дороже мяса и вина, дороже песен и битвы и даже женской любви. Не лишай их самого заветного желания, которое влечет их. манит их туда вперед, за мрак могилы, где они мечтают обрести иную жизнь. Не мешай им. Но ты и я — мы принадлежим этому миру, где открылось нам блаженство, заключенное для нас друг в друге. Слишком быстро, увы, настигнет нас мрак, и ты отлетишь в свою страну солнца и цветов, а я — к пиршественным столам Валгаллы.

— Нет! Нет! — вскричала она, отодвигаясь от меня. — Ты не понимаешь. Само величие, сама доброта, сама божественность — вот что такое этот человек, который более чем человек, а ему уготована такая позорная смерть. Только рабы и разбойники умирают на кресте. А он не раб и не разбойник. Он бессмертен. Он — Бог. Истинно говорю я тебе: он — Бог.

— Он бессмертен, говоришь ты? — возразил я. — Тогда, если он умрет сегодня на Голгофе, это ни на йоту не уменьшит его бессмертие, так как бессмертие вечно. Он Бог, говоришь ты? Боги не умирают. Насколько мне известно, боги не могут умереть.

— О! — вскричала она. — Тебе этого не понять. Ты просто огромный кусок мяса, больше ничего.

— Разве не предвещало этого события древнее пророчество? — спросил я, ибо, как мне казалось, я уже перенял от евреев тонкое умение спора.

— Да, да, — подтвердила она. — Было пророчество о приходе Мессии. Он и есть Мессия.

— Так подобает ли мне, — спросил я, — превращать пророков в лжецов, а подлинного Мессию — в обманщика? Неужто ваши пророчества столь ненадежны, что я, глупый чужеземец в римских доспехах, желтоволосое ничтожество с далекого севера, могу их опровергнуть, не дать исполниться тому, что должно свершиться по воле богов, тому, о чем вещали мудрецы?

— Ты не понимаешь. — повторила она.

— Нет, понимаю, и даже слишком хорошо, — ответил я. — Разве я могущественнее богов и могу помешать свершению их воли? Тогда боги ничего не стоят — они игрушка в руках людей. Я — человек. И я поклоняюсь богам, всем богам, ибо я верю во всех богов, иначе откуда бы они взялись?

Она вырвалась из моих объятий, так жадно жаждавших ее, и, отступив

друг от друга, мы стояли, прислушиваясь к реву толпы на улицах — это солдаты вывели Иисуса из дворца и направились к Голгофе. И сердце мое наполнила огромная печаль при мысли о том, что такая божественная женщина могла быть столь глупа. Она хотела спасти Бога. Она хотела стать выше Бога.

— Ты не любишь меня, — медленно произнесла она, и с каждым медленно произносимым словом в ее глазах росло и росло обещание, слишком огромное и слишком глубокое, чтобы его можно было выразить словами.

— Я люблю тебя так сильно, что ты, по-видимому, не можешь этого понять, — ответил я. — Я горжусь своей любовью к тебе, ибо я знаю, что достоин любить тебя и достоин любви, какую ты можешь мне дать. Но Рим — моя вторая отчизна, и если я изменю ему, моя любовь к тебе потеряет всякую цену.

Рев толпы, следовавшей за Иисусом и солдатами, замер в отдалении. Когда все стихло, Мириам повернулась, чтобы уйти, не сказав мне ни слова и даже не поглядев на меня.

В последний раз безумное, неутолимое желание обожгло меня и повлекло к ней. Одним прыжком я настиг ее и схватил. Я хотел посадить ее перед собой в седло и ускакать с ней и моими солдатами в Сирию, прочь из этого проклятого города безумцев. Мириам вырывалась. Я сжал ее в объятиях. Она ударила меня по лицу, но я не выпустил ее и продолжал сжимать в объятиях, ибо мне были сладостны ее удары. И вдруг она перестала вырываться. Тело ее было неподвижно, глаза холодны, и я понял, что эта женщина не любит меня. Для меня она была мертва. Я медленно разжал руки, и она медленно отступила назад. Словно не замечая меня, она повернулась, в полной тишине прошла через комнату, и, не оглянувшись, раздвинула занавес и исчезла.

Я, Рагнар Лодброк, никогда не умел ни читать, ни писать.

Впрочем, в свое время я слышал немало ученых бесед. Теперь я понимаю, что сам я так и не постиг высокой премудрости таких речей, какие вели евреи, постигшие суть своего закона, или римляне, постигшие суть своей философии и философии греков. Но я говорил просто и правдиво, как только может говорить человек, который от кораблей Тостига Лодброга и покоев Брунанбура прошел через всю землю до самого Иерусалима и обратно. Именно так — просто и правдиво — я и доложил Сульпицию Квинию, по прибытии в Сирию, о различных событиях, происходивших в те дни в Иерусалиме.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Замирание жизни — явление отнюдь не новое; оно свойственно не только растительному миру и низшим формам животной жизни, но и высокоразвитому сложному организму самого человека... Катаlepsия — всегда катаlepsия, чем бы она ни была вызвана. С незапамятных времен индийские факиры умели по желанию вызывать у себя катаlepsические трансы. У индийских факиров есть старый фокус: их погребают заживо, и они продолжают жить в могиле. А сколько раз врачи ошибались, принимая летаргию за смерть, и давали разрешение хоронить таких мнимых покойников?

В Сен-Квентине меня продолжали пытаться смиренной рубашкой, и я все чаще размышлял над явлением, которое называю замиранием жизни. Мне приходилось читать, что где-то на севере Сибири крестьяне на всю долгую зиму погружаются в спячку, словно медведи и другие дикие животные. Ученые, осматривавшие этих крестьян, установили, что в период такого «долгого сна» дыхание и пищеварительные процессы почти совсем прекращались, а сердечная деятельность настолько замирала, что обнаружить ее удавалось только опытным врачам.

Когда организм находится в таком состоянии, все процессы угасают, и ему почти не требуется ни воздуха, ни пищи. Вот почему я так смело бросал вызов начальнику тюрьмы и доктору Джексону. Я даже подзадоривал их уложить меня в рубашку на сто дней. Но они не посмели!

Теперь, когда меня затягивали в рубашку на обычные десять суток, я умел обходиться не только без пищи, но и без воды. Какое это было мучение — внезапно вырываться из сна, переносившего меня в иные времена и страны, для того, чтобы оказаться в отвратительном настоящем и увидеть гнусную физиономию врача, прижимающего к моим губам кружку с водой! И вот я предупредил доктора Джексона, что, во-первых, находясь в рубашке, не буду пить воды и что, во-вторых, окажу отчаянное сопротивление всякой попытке напоить меня насильно.

Конечно, дело не обошлось без некоторой борьбы, но в конце концов доктор сдался. И с этих пор пребывание в рубашке занимало в жизни Даррела Стэндинга лишь несколько секунд. Чуть только меня кончали шнуровать, как я погружался в малую смерть.

Теперь благодаря моему опыту это было просто и легко. Я выключал жизнь и сознание так быстро, что почти не ощущал мучительной

остановки кровообращения. Мрак смыкался почти в ту же секунду. А когда в следующий миг я, Даррел Стэндинг, приходил в себя, в камере снова горел свет, надо мной склонялись люди, снимавшие с меня рубашку, и я понимал, что десять дней опять прошли в мгновение ока.

А как чудесны, как великолепны были эти десять дней, проведенных мною вне стен тюрьмы, за пределами нашего времени!

Путешествие по длинной цепи существований, долгий мрак, неверный свет, разгорающийся все ярче, и прежние мои «я», обретающие осязаемое бытие...

Я много размышлял и о взаимосвязи этих других моих «я» с теперешним мною и старался связать сумму их опыта с теорией эволюции. И могу с полным основанием утверждать, что мои открытия находятся в полной гармонии с нашим представлением об эволюции.

Я, как и всякий другой человек, представляю собой непрерывный процесс роста. Я начался до того, как был рожден, до того, как был зачат. Я рос и развивался неисчислимые тысячелетия. И весь опыт всех этих жизней и бесконечного ряда других жизней сложился в ту душу, в тот дух, который и является мной.

Вам понятно? Они-то и составляют меня. Материя ничего не помнит, ибо память — это дух. И я — тот самый дух, сложившийся из воспоминаний о моих перевоплощениях, не имевших конца.

Откуда во мне, в Дарреле Стэндинге, багровое биение ярости, исковеркавшее мою жизнь, ввергшее меня в камеру смертника?

О, конечно, эта багровая ярость возникла гораздо раньше того времени, когда был зачат младенец, ставший затем Даррелом Стэндингом. Эта древняя багровая ярость гораздо старше моей матери, гораздо старше самой первой матери человеческой. Не моя мать вложила в меня это пьянящее бесстрашие. Не матери создавали трусость и бесстрашие своих детей на протяжении эволюции человечества. Задолго до первого человека уже были трусость и бесстрашие, гнев и ненависть — все те чувства, которые росли, развивались и складывались в то, что потом стало человеком.

Я — это все мое прошлое, как легко согласится любой сторонник закона Менделя. Во мне находят отклик все мои прошлые «я». Любые мои поступки, взрывы страсти, мерцание мысли оттеняются и окрашиваются в неизмеримо малых долях этим бесконечным разнообразием иных «я», предшествовавших мне и способствовавших моему возникновению.

Жизнь пластична. И в то же время она ничего не забывает.

Какую бы форму она ни получала, прежние воспоминания не

исчезают. С тех пор как первобытный человек приручил первую дикую лошадь, были выведены сотни разнообразнейших пород — от великанов-тяжеловозов до маленьких шотландских пони. Однако и по сей день человеку не удалось истребить в лошади привычку лягаться. Так и во мне, включающем в себя и этих первых укротителей диких коней, не была истреблена их багровая ярость.

Я мужчина, рожденный женщиной. Дни мои кратки, но мое «я» неистребимо. Я был женщиной, рожденной женщиной. Я был женщиной и рожал детей. И я буду рожден вновь. Неисчислимы века буду я рождаться вновь! А глупые невежды вокруг меня думают, что, накинув мне на шею веревку, они уничтожат меня.

Да, я буду повешен... И скоро. Сейчас конец июня. И через несколько дней они попробуют меня обмануть. За мной придут, чтобы повести меня в баню, потому что по тюремным правилам заключенные должны каждую неделю посещать баню. Но больше я не вернусь в эту камеру. Мне дадут чистую одежду и отведут в камеру смертников. Там я буду окружен неусыпным надзором.

Ночью и днем, в часы бодрствования и сна, за мной будут следить неотрывно. Мне не разрешат даже спрятать голову под одеяло: а вдруг я, опередив правосудие штата Калифорния, сам задушу себя?

В моей камере дни и ночи будет гореть яркий свет. А потом, когда все это мне невыносимо надоест, в одно прекрасное утро на меня наденут рубашку без ворота, выведут из этой последней камеры и сбросят в люк. О, я хорошо это знаю! Веревка, с помощью которой это сделают, будет хорошо растянута. Палач тюрьмы Фолсем вот уже несколько месяцев подвешивает к ней тяжести, чтобы она хорошо растянулась и не пружинила.

А когда меня сбросят в люк, мне придется пролететь большое расстояние. У тюремных властей есть хитрые таблицы, похожие на таблицы для исчисления процентов, по которым можно узнать соотношение между весом жертвы и расстоянием, которое она должна пролететь. Я так исхудал, что им, для того чтобы вывихнуть мне шейные позвонки, придется подобрать веревку подлиннее.

Затем присутствующие снимут шляпы, а доктора, подхватив мое качающееся тело, прижмут уши к моей груди, считая замирающие биения сердца, и объявят, что я умер.

Какая нелепость! Как смехотворна эта наглость червей в человеческом облике, воображающих, будто они могут убить меня!

Я не могу умереть. Я бессмертен, как и они бессмертны. Но разница в

том, что я это знаю, а они — нет.

Чушь! Я сам был когда-то палачом и хорошо это помню. Но моим орудием был меч, а не веревка. Меч более благороден, хотя все орудия казни одинаково бессильны. Ведь дух нельзя пронзить сталью или удушить веревкой.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Я считался самым опасным заключенным тюрьмы Сен-Квентин, если не считать Оппенгеймера и Моррела, все эти годы гнивших рядом со мной во мраке. Кроме того, я считался самым упорным — более упорным, чем даже Оппенгеймер и Моррел. Разумеется, под упорством я подразумеваю выносливость. Способы, которыми старались сломить их дух и искалечить тело, были ужасны, но меня пытались сломить еще более ужасными способами.

И я выдержал все. Динамит или гроб — был ультиматум начальника тюрьмы Азертона. Но это были пустые слова. Я не мог указать, где спрятан динамит, а начальник тюрьмы так и не сумел уложить меня в гроб.

Но стойким было не мое тело, а мой дух. А стойким он был потому, что в моих предыдущих существованиях он закалялся в тягчайших испытаниях. Одно из этих испытаний долгое время преследовало меня, как кошмар. У него не было ни начала, ни конца. Каждый раз я оказывался на каменистом острове, вечно содрогающемся под ударами прибоя и таком низком, что в бурю соленые брызги беспрепятственно проносились над ним. Там всегда шел дождь. Я жил в каменной лачуге, сильно страдал оттого, что не имел огня и должен был есть свою пищу сырой.

Но, кроме этих страданий, не было ничего. Я, конечно, понимал, что попадаю в середину какой-то моей жизни, и меня мучило, что я не имею ни малейшего представления ни о том, что было раньше, ни о том, что должно было произойти потом. А так как, погружаясь в малую смерть, я не имел власти распоряжаться моими путешествиями во времени, мне приходилось вновь и вновь переживать эти тягостные годы. Единственной моей радостью в этом существовании бывали ясные дни: я грелся на солнышке, и вечный озноб покидал меня.

Моим единственным развлечением было весло и матросский нож. Час за часом сидел я, склонившись над этим веслом, и старательно вырезал на нем крохотные буковки, отмечая зарубкой каждую уходящую неделю. Зарубок этих было очень много. Я точил нож на плоском камне, и ни один цирюльник не берег так свою любимую бритву, как я этот нож. Ни один скупец не дорожил так своими сокровищами, как я этим ножом. Он был дорог мне, словно жизнь. Да, собственно говоря, он и был моей жизнью.

После многих возвращений на этот островок, очнувшись у себя в одиночке, я сумел однажды вспомнить то, что было вырезано на весле.

Сперва мне вспомнились лишь какие-то обрывки, но в конце концов я сумел свести их в единое целое. Вот что было вырезано на этом весле:

«Это написано, чтобы сообщить тому, в чьи руки попадет это весло, что Дэниэл Фосс, уроженец Элктона в штате Мэриленд, входящем в Соединенные Штаты Америки, отплывший из порта Филадельфия в 1809 году на борту брига „Негоциант“, направлявшегося к островам Дружбы, был выброшен на этот пустынный остров в феврале следующего года, где он построил хижину и прожил много лет, питаясь тюленями, — он был последним, оставшимся в живых из команды указанного брига, который разбился о плавающую ледяную гору и затонул 25 ноября 1809 года».

Я словно видел перед глазами эту надпись. Она помогла мне узнать о себе довольно много. Но одну подробность, которая меня очень мучила, мне так и не удалось выяснить. Где находился этот островок — на крайнем юге Тихого океана или на крайнем юге Атлантического океана? Я плохо знаю пути парусных кораблей и не уверен, шел ли бриг «Негоциант» к островам Дружбы мимо мыса Горн или мимо мыса Доброй Надежды. Признаюсь, мое невежество было столь велико, что, лишь попав в тюрьму Фолсем, я наконец узнал, в каком океане расположены острова Дружбы.

Убийца-японец, о котором я уже упоминал, был парусным мастером у Артура Сьювола, и он сказал мне, что, вероятнее всего, наш бриг огибал мыс Доброй Надежды. В таком случае, сопоставив дату отплытия из Филадельфии с датой кораблекрушения, я мог бы выяснить вопрос об океане. К несчастью, мне был известен только год отплытия. Кораблекрушение могло произойти как в Тихом океане, так и в Атлантическом.

Только один-единственный раз мне довелось пережить частицу того, что предшествовало годам, проведенным на острове. Я осознал себя Фоссом в ту секунду, когда бриг налетел на айсберг, и я расскажу, как все было, хотя бы для того, чтобы показать, насколько хладнокровно и рассудительно было мое поведение. Именно это хладнокровие, как вы увидите, помогло мне в конце концов пережить всех моих товарищей.

Я проснулся на моей койке в кубрике от ужасающего треска.

Он разбудил также остальных шестерых матросов моей вахты, и все мы одновременно спрыгнули на пол. Мы хорошо понимали, что произошло. Остальные опрометью бросились на палубу в чем были. Но я понимал, что нас ждет, и не стал торопиться. Я знал, что спастись мы можем только в вельботе. Ни одному человеку не удалось бы долго продержаться в такой ледяной воде. И ни одному легко одетому человеку не удалось бы долго продержаться в открытой лодке. Кроме того, я знал

точно, сколько времени потребуется на то, чтобы спустить вельбот.

И вот при тусклом свете бешено раскачивающейся лампы, под шум суматохи на палубе и крики «Мы тонем!» я принялся вынимать из своего сундучка теплую одежду. Зная также, что сундучки моих товарищей больше им не пригодятся, я заглянул и в них. Торопливо, но ни на секунду не теряя головы, я отбирал самые теплые и добротные вещи. Я натянул на себя четыре лучшие шерстяные фуфайки во всем кубрике, три пары штанов и три пары толстых шерстяных носков. Поэтому мои собственные хорошие сапоги не налезли на меня. Тогда я обулся в новые сапоги Никласа Уилсона, которые были больше и крепче моих. Кроме того, поверх моей куртки я надел куртку Джереми Нейлера, а поверх них обеих натянул толстую парусиновую зюйдвестку Сета Ричардса — я хорошо помнил, что он совсем недавно заново ее промаслил.

Две пары шерстяных рукавиц, шарф Джона Робертса, который ему связала мать, и бобровая шапка Джозефа Дауса поверх моей собственной (обе с наушниками) довершили мой туалет. Крики «тонем» усилились, но я потратил еще минуту, чтобы набить карманы пачками жевательного табака, какие только попались мне под руку. Затем я выбрался на палубу — как раз вовремя.

Луна, проглядывавшая в просвет между тучами, озаряла страшную и унылую картину. Повсюду виднелся сорванный такелаж, и повсюду был лед. Паруса, рей и ванты грот-мачты, которая еще стояла, были покрыты бахромой сосулек. И при виде их меня охватило чувство, похожее на облегчение: никогда больше не придется мне тащить и дергать замерзшие тали и разбивать лед, чтобы заиндедевские снасти могли пройти сквозь заиндедевские блоки. Штормовой ветер обжигал кожу — значит, близко были айсберги, а огромные волны казались ледяными в лунном свете.

Вельбот был спущен с левого борта, и я увидел, как матросы, катившие по обледенелой палубе бочки с провиантом, бросили их, торопясь покинуть корабль. Тщетно капитан Николл пытался их удержать. Набежавшая волна положила конец спорам, и они все разом ринулись в шлюпку. Я схватил капитана за плечо и, вцепившись в него, кричал ему на ухо, что позабочусь о провианте, если он спустится в шлюпку и помешает остальным отвалить.

Однако времени мне было дано немного. Едва я успел с помощью второго помощника Эйрона Нортрапа спустить в вельбот полдюжину бочонков с солониной и водой, как сидевшие в нем закричали, что они отваливают. Да и пора было. На нас с наветренной стороны надвигалась огромная ледяная гора, а с подветренной, совсем рядом, высилась другая

ледяная гора, и нас несло прямо на нее.

Эйрон Нортрап прыгнул не мешкая. А я задержался на мгновение, хотя вельбот уже отваливал, выбирая местечко, где люди сидели теснее, чтобы их тела могли смягчить мое падение. Меня не прельщала возможность отправиться в это опасное путешествие со сломанной рукой или ногой. Стараясь не мешать сидевшим на веслах, я быстро пробрался к корме, туда, где кончались скамьи. На это у меня были свои причины. Во-первых, там можно было устроиться гораздо удобнее, чем на узком носу. А во-вторых, я знал, что при подобных обстоятельствах неизбежно начнутся какие-нибудь неурядицы, и хотел устроиться поближе к офицерам.

На корме расположились старший помощник Уолтер Дейкен, корабельный врач Арнольд Бентам, Эйрон Нортрап и капитан Николл, державший румпель. Врач хлопотал над Нортрапом, который лежал на дне шлюпки и стонал. Дорого ему обошелся его необдуманный прыжок! Он сломал правую ногу.

Однако возиться с ним времени не было: мы находились среди бушующих волн между ледяными горами, которые быстро сближались.

Никласу Уилтону, загребному, не хватало места, и я отодвинул бочонки, а потом, встав на колени лицом к нему, начал налегать всем весом на его весло. Впереди Джон Роберте склонялся над носовым веслом. Артур Хаскинс и юнга Бенни Хардуотер, пристроившись за его спиной, помогали ему грести. Собственно говоря, вся команда старалась помочь гребцам, и поэтому только мешала им.

Мы едва не погибли — нас спасла какая-то сотня ярдов, — но когда мы благополучно проскочили, я повернул голову и увидел безвременный конец нашего «Негоцианта». Айсберги сжали его и раздавили, словно пальцы мальчугана ягоду, зажатую между ними.

Вой ветра и рев волн заглушали все звуки, хотя треск ломавшихся шпангоутов и бимсов, наверное, мог бы разбудить спящий городок.

И вот словно бы бесшумно, без всякого сопротивления борта брига сблизились, палуба вспучилась, и его обломки исчезли под столкнувшимися обрывами двух ледяных гор. Гибель корабля, так долго укрывавшего нас от ярости стихий, наполнила меня грустью, но в то же время я с удовольствием ощущал теплоту, разлитую по моему телу под четыремья фуфайками и тремя куртками.

Однако даже я мерзнул в эту ночь, а ведь я был одет теплее всех в шлюпке. Мне не хочется писать о страданиях остальных моих товарищей. Мы боялись, что в темноте снова наткнемся на плавучий лед, и всю ночь напролет вычерпывали воду, держа нос вельбота против волны. И почти все

время то одной рукавицей, то другой я растирал нос, опасаясь его обморозить. А кроме того, я молился, так как еще не забыл годы, проведенные среди родных в Элктоне.

Утром мы немного осмотрелись. Если не считать двух-трех человек, все были обморожены. Эйрон Нортрап лежал без движения: его нога была в скверном состоянии. По мнению врача, он отморозил обе ступни.

Перегруженный вельбот сидел в воде очень глубоко. В нем ведь поместилась вся корабельная команда — двадцать один человек. Двое были совсем мальчишки. Бенни Хардуотеру едва исполнилось тринадцать лет, а Лишу Дикери, моему соседу по Элктону, не было еще семнадцати. Наши запасы состояли из трехсот фунтов солонины и двухсот фунтов конченной свинины. Полдюжины пшеничных караваев, которые захватил кок, в счет не шли, они насквозь пропитались морской водой. Кроме того, у нас было три бочонка воды и маленький бочонок пива.

Капитан Николл честно признался, что, насколько ему известно, в этой неисследованной части океана нет никаких островов.

Нам оставалось одно: попытаться достичь широт с более мягким климатом. И вот, поставив маленький парус, мы повернули свой вельбот и, пользуясь свежим ветром, поплыли на северо-восток.

Распределение провизии было чисто арифметической задачей:

Эйрона Нортрапа мы не считали, так как всем было ясно, что ему долго не протянуть. Следовательно, если выдавать по фунту на человека в день, пятисот фунтов солонины нам могло бы хватить на двадцать пять дней; при рационе в полфунта — на пятьдесят. Мы решили установить дневной рацион в полфунта. Я делил и раздавал мясо под надзором капитана и, Господь мне свидетель, исполнял свое дело честно, хотя кое-кто из матросов ворчал с самого начала. Кроме того, время от времени я делился с остальными табаком, который успел рассовать по своим многочисленным карманам, хотя и делал это с сожалением, особенно когда знал, что тот, кому я его даю, все равно через день-два умрет.

Да, смерть посетила нашу открытую шлюпку. Людей убивал не голод, а невыносимый холод, от которого негде было укрыться.

Выжить могли наиболее крепкие и наиболее удачливые. Здоровье у меня было крепкое, и я мог считать себя удачливым — я ведь был тепло одет и не сломал ноги, как Эйрон Нортрап. Впрочем, он был так силен, что продержался несколько дней, хотя сильно обморозился еще в первую ночь. Первым умер Ване Хатуэй: на рассвете мы увидели, что он, согнувшись пополам, валяется на носу, замерзший насмерть. Вторым умер юнга Лиш Дикери; другой юнга. Бенни Хардуотер, выдержал не то десять, не то

двенадцать дней.

Мороз был так силен, что наша вода и пиво замерзли, и мне было нелегко складным ножом Нортрапа разбивать дневную порцию на ровные кусочки. Эти кусочки мы клали в рот и сосали.

А кроме того, когда начиналась метель, в нашем распоряжении оказывалось сколько угодно снега. Но проку от него было мало: у тех, кто ел снег, воспалялся и пересыхал рот, и им непрерывно хотелось пить. А такую жажду нельзя было утолить ничем. Если человек принимался сосать лед или снег, воспаление только усиливалось. Я уверен, что Лиш Дикери умер именно из-за этого. Прежде чем умереть, он сутки провалялся в бреду. Умирая, он умолял, чтобы ему дали пить, хотя погиб вовсе не от недостатка воды.

Я, как мог, противился соблазну и вместо того, чтобы сосать лед, старался жевать табак и поэтому избежал воспаления.

С мертвецов мы снимали всю их одежду. Нагими явились они в этот мир, и нагими отправлялись они за борт вельбота в темные, ледяные волны океана. Одежда их распределялась по жребию. Так распорядился капитан Николл, чтобы предотвратить ссоры.

Глупая чувствительность была неуместна при таких обстоятельствах, и среди нас не было человека, который не испытывал бы тайной радости, когда кто-нибудь умирал. Во время жеребьевок больше всего везло Айзрелу Стикни, так что, когда он сам умер, после него осталась целая груда одежды, и она продлила жизнь тем, кто еще уцелел.

Мы продолжали плыть на северо-восток, пользуясь свежим западным ветром, но погода по-прежнему оставалась холодной, на дне шлюпки намерзали брызги, и мне все еще приходилось колоть пиво и воду ножом Нортрапа. Мой собственный нож я старался беречь — он был очень хорошим, с острым стальным лезвием, и мне вовсе не хотелось зазубривать его о лед.

К этому времени половина команды уже была за бортом, опасная осадка вельбота уменьшилась, и внезапные шквалы больше не грозили нам гибелью. А кроме того, стало просторнее, и можно было улечься спать с удобством.

Наш скудный паек был, однако, причиной постоянного недовольства. Капитан, старший помощник, доктор и я, обсудив это дело между собой, решили оставить порцию в полфунта. Шестеро матросов, которых возглавлял Тобиас Сноу, заявили, что раз половина команды вымерзла, значит, остальным можно теперь выдавать вдвое больше — по целому фунту мяса. На это мы, корма, возражали, что, ограничиваясь полфунтом,

мы удваиваем наши шансы на спасение.

Правда, восьми унций солонины было маловато для того, чтобы жить, выдерживая постоянный мороз. Мы очень ослабели и зябли особенно легко. Обмороженные носы и щеки совсем почернели, нам никак не удавалось согреться, хотя теперь у каждого из нас было вдвое больше одежды, чем вначале.

Через пять недель после гибели «Негоцианта» недовольство из-за распределения провизии привело к открытому столкновению.

Когда я спал (это случилось ночью), капитан Николл поймал Джуда Хетчкинса, когда он крал солонину из бочки. Как тут же выяснилось, на это его подбили остальные пятеро. Едва Джуд Хетчкинс был замечен капитаном, как все шестеро бросились на нас с ножами. Произошла короткая бешеная схватка, освещавшаяся лишь тусклым блеском звезд, и вельбот не перевернулся только чудом. Мои фуфайки и куртки снова спасли меня, послужив мне панцирем. Ножи застревали в них и лишь слегка царапали кожу, хотя потом я насчитал дюжину таких царапин.

Одежда остальных тоже служила им достаточной защитой, и драка кончилась бы вничью, если бы старший помощник Уолтер Дейкен, великан и силач, не предложил покончить с делом разом, выбросив мятежников за борт. Его поддержал капитан Николл, доктор и я, и в мгновение ока пятеро из шестерых полетели в воду и принялись отчаянно цепляться за борта. Капитан Николл и доктор схватились с шестым матросом. Джереми Мейлером, и уже собирались выбросить его вслед за другими, а старший помощник бил багром по пальцам, цеплявшимся за борт. Я остался без дела и поэтому увидел страшную смерть Дейкена. Когда он поднял багор, чтобы ударить по пальцам Сета Ричардса, тот опустил в воду по шею, а потом рванулся вверх, поднялся по пояс над бортом, обхватил старшего помощника за плечи и стащил его за собой в океан.

Я думаю, он так и не разомкнул рук, и оба утонули, сплетенные в вечном объятии.

Таким образом, из всей команды в живых нас осталось только трое: капитан Николл, Арнольд Бентам (доктор) и я. Семь человек погибли за две-три минуты потому только, что Джуд Хетчкинс задумал украсть солонину. А я жалел еще и о том, что в море без толку пропало столько хорошей одежды. Она очень пригодилась бы любому из нас.

Капитан Николл и доктор были хорошими, честными людьми.

Когда двое из нас спали, третий, сидевший на руле, мог бы легко украсть часть солонины, но этого никогда не случилось. Мы полностью доверяли друг другу и готовы были умереть, чтобы оправдать это доверие.

Мы продолжали ограничиваться полуфунтом мяса в день и пользовались всяким порывом попутного ветра, чтобы продвинуться дальше на север. Но только 14 января, через семь недель после гибели нашего брига, наконец немного потеплело. Погоду и тогда нельзя было назвать по-настоящему теплой, просто мороз стал менее свирепым.

Тут ровные западные ветры стихли, и в течение многих дней мы болтались на месте. Большую часть времени стоял мертвый штиль или дули легкие противные ветры, которые порой на несколько часов усиливались и относили нас назад. Мы были очень слабы и не могли продвигаться вперед на таком большом вельботе с помощью весел. Нам оставалось только беречь провизию и ждать, чтобы Бог смиловился над нами. Мы все трое были людьми верующими и каждый день перед дежом пищи возносили общую молитву. А кроме того, мы молились и отдельно друг от друга, часто и подолгу. К концу января наши запасы совсем истощились.

Свинина была съедена уже давно, и в бочонок из-под нее мы собирали дождевую воду. Солонины оставалось лишь несколько фунтов. И все эти девять недель, проведенных в открытом вельботе, мы не видели ни одного паруса, нам не встретилось ни клочка суши. Капитан Николл откровенно признался, что после шестидесяти трех дней плавания по счислению он не имеет ни малейшего представления о том, где мы находимся. 12 февраля был съеден последний кусок солонины. Я пропущу большую часть того, что произошло за следующие восемь дней, и коснусь только тех подробностей, которые показывают, какими людьми были мои товарищи. Мы голодали уже так долго, что теперь, когда пища кончилась, у нас не оказалось никакого запаса сил и мы начали быстро слабеть.

24 февраля мы спокойно обсудили наше положение. Мы все трое были мужественными людьми, упорными, любящими жизнь, и никто из нас не хотел умирать. Никто из нас не хотел добровольно принести себя в жертву ради остальных двух. Но мы согласились вот на чем: нам нужна пища; мы должны бросить для этого жребий, и жребий мы бросим на следующее утро, если не задует попутный ветер.

На следующее утро поднялся попутный ветер: он был несильным, но дул ровно, и мы смогли двигаться на север, правда, с черепашьей скоростью в два узла. 26 и 27 февраля ветер не затихал, и, хотя мы страшно ослабели, мы все-таки не отступили от своего решения и продолжали плыть. Однако утром 28 февраля мы поняли, что час настал. Вельбот уныло покачивался на мертвой зыби, и свинцовое небо не обещало ветра. Я отрезал от моей куртки три одинаковых кусочка парусины — в одном из

них виднелась коричневая нитка. Это и был роковой жребий. Затем я положил все три жребия в мою шляпу и закрыл ее шляпой капитана Николла.

Все было готово, но мы еще медлили, вознося долгую безмолвную молитву, ибо верили, что решать будет Господь. Я знал, чего стоит моя добродетель, но я знал также, чего стоит добродетель моих товарищей, и не мог предугадать, как Господь сделает свой выбор в таком важном деле при столь равных обстоятельствах.

Капитан тащил жребий первым: это было его законное право.

Опустив руку в шляпу, он помедлил, закрыв глаза и шепча последнюю молитву. В его кусочке не было коричневой нитки, и это было справедливо — я не мог не признать про себя, что такое решение правильно, ибо я хорошо знал жизнь капитана Николла и знал его как честного, справедливого и богобоязненного человека.

Оставались доктор и я. Значит, жребий мог выпасть только ему или мне. По корабельным правилам вторым тащить должен был он. Мы снова стали молиться, и, молясь, я быстро перебрал в памяти всю свою жизнь и все, что делало меня достойным и недостойным Божьей милости.

Я держал шляпу у себя на коленях, снова прикрыв ее шляпой капитана Николла. Доктор сунул в нее руку и некоторое время перебирал пальцами, а я думал, можно ли на ощупь отличить эту коричневую нитку от остальной ткани.

Наконец он вынул руку. В ней был клочок ткани с коричневой ниткой. И я вознес смиренное благодарение Господу за его неизреченную милость ко мне и решил еще более верно следовать всем его заповедям. А в следующее мгновение я подумал, что доктор и капитан по положению стоят ближе друг к другу, чем ко мне, и испытывают, вероятно, сейчас некоторое разочарование.

Но тут же я почувствовал уверенность, что оба они поистине хорошие люди и не отступят от принятого решения.

Я был прав. Доктор обнажил руку, взял нож и приготовился вскрыть себе вену. Сперва, однако, он обратился к нам со следующими словами:

— Я уроженец города Норфолка в Виргинии, и там меня ждут жена и трое детей. Я прошу у вас лишь одного: если Господу будет угодно спасти вас от гибели и вы сумеете вернуться на родину, то сообщите моей несчастной семье о моей смерти.

Потом он попросил нас дать ему несколько минут, чтобы он мог помолиться. Ни капитан Николл, ни я не в силах были выговорить слова и только сквозь слезы кивнули в знак согласия.

Без всякого сомнения, из нас троих только Арнольд Бентам еще владел собой. Я испытывал невыносимые душевные муки и убежден, что капитан Николл страдал не меньше меня. Но что нам оставалось делать? Другого выхода не было, все было сделано честно и справедливо и решено самим Богом.

Но когда Арнольд Бентам кончил все приготовления и взялся за нож, я не мог более сдерживаться и воскликнул:

— Погодите! Мы столько терпели, что можем потерпеть и еще немножко. Сейчас утро. Так подождем же до сумерек. Тогда, если ничто не изменит нашей ужасной судьбы, сделайте то, Арнольд Бентам, сделайте то, о чем мы условились.

Он поглядел на капитана Николла, ожидая его согласия, но капитан Николл мог только кивнуть. Он не произнес ни слова, но в его холодных, серых глазах, увлажненных слезами, я прочел великую благодарность.

То, что мы с капитаном Николлом должны были извлечь выгоду из смерти Арнольда Бентама, решенной честной жеребьевкой, не казалось мне преступлением. Я верил, что любовь к жизни, которая руководила нашими поступками, была вложена в наши души самим Богом. Такова была Божья воля, и мы, его создания, могли только покориться ей и смиренно ее выполнять. Но Господь милосерд, и в своем милосердии он спас нас от столь ужасного, хотя и праведного деяния.

Не прошло и четверти часа, как наши щеки обжег холодный и сырой ветер с запада. Еще через пять минут наш парус надулся, и Арнольд Бентам сел за руль.

— Берегите те силы, которые у вас еще остались, — сказал он. — Дайте мне истратить мои последние, чтобы увеличить ваш шанс на спасение.

И он правил вельботом, пока ветер все свежел, а мы с капитаном Николлом лежали, растянувшись на дне шлюпки, и, охваченные слабостью, видели сны, возвращавшие нас к тому, что нам было дорого в мире.

Ветер продолжал свежеть, и вскоре по несущимся в небе облакам мы поняли, что приближается ураган. В полдень Арнольд Бентам упал в обморок у руля, но прежде, чем вельбот успел завертеться на разбушевавшихся волнах, мы с капитаном Николлом вцепились в румпель ослабевшими руками. Мы быстро договорились о дальнейшем, и как прежде капитан Николл по праву первым тащил жребий, так теперь он в первую очередь остался у руля. Затем мы трое стали сменять друг друга каждые пятнадцать минут. Мы так ослабели, что больше чем на пятнадцать минут у нас не хватало сил.

К вечеру разыгралось сильное волнение. Не будь наше положение столь отчаянным, нам следовало бы поставить вельбот по ветру, бросить плавучий якорь и лечь в дрейф. Стоило нам стать боком к ветру, огромные седые валы неминуемо опрокинули бы нашу скорлупку.

Весь этот день Арнольд Бентам умолял нас ради спасения наших жизней стать на плавучий якорь. Он понимал, что мы продолжаем идти под парусом, лелея одну надежду: а вдруг что-нибудь непредвиденное позволит нам забыть о жеребьевке. Доктор был благородным человеком. И капитан Николл, чьи холодные, серые глаза стали совсем стальными, тоже был благородным человеком. И в обществе таких благородных людей как мог я быть менее благородным? Не раз и не два благодарил я Бога в этот день за то, что он дал мне узнать двух подобных людей. На них почилла благодать Божья, и, какова бы ни была моя судьба, я был заранее вознагражден за все их обществом. Как и они, я не хотел умирать, но не страшился смерти. Мимолетное подозрение против них давно рассеялось без следа. Суровым было наше испытание, суровыми были эти люди, но истинно благородными, Божьими избранниками.

Первым его увидел я. Я правил, а Арнольд Бентам, примирившийся с близкой смертью, и капитан Николл, готовый с ней примириться, лежала на дне вельбота, и тела их перекатывались с боку на бок, словно передо мной уже были покойники, и вдруг я увидел его. Вельбот, подгоняемый ветром, бившим в его паруса, взлетел на пенный гребень волны, и совсем близко перед собой я увидел скалистый островок, который, казалось, содрогался до основания под ударами бешеных валов. До него было меньше полумили. Я испустил такой крик, что оба мои товарища, с трудом цепляясь за борта, привстали на колени и принялись вглядываться в открывшийся впереди кусочек суши.

— Держать прямо на остров, Дэниэл, — срывающимся шепотом скомандовал капитан Николл. — Может быть, там есть бухта. Это наш единственный шанс.

В следующий раз я услышал его голос, когда мы вплотную приблизились к страшному подветренному берегу, где не было видно ни единой бухточки.

— Держать прямо на остров, Дэниэл. Мы так ослабели, что не сумеем пробиться к нему против ветра и волны, если нас пронесет мимо.

Он был прав. Я подчинился. Он достал свои часы и посмотрел на них, и я спросил, который час. Было пять часов. Капитан протянул руку Арнольду Бентаму, который слабо ее пожал; при этом оба посмотрели в мою сторону, включая меня в свое рукопожатие. Я понял, что мы

прощаемся друг с другом, ибо нам, ослабевшим и измученным, нельзя было и мечтать о том, что мы сумеем пробраться живыми через рифы, на которых кипела вода, и вскарабкаться на вздымающиеся за ними отвесные скалы.

В двадцати футах от берега вельбот перестал слушаться руля.

Еще мгновение — и он перевернулся, а я забарахтался в волнах.

Больше я никогда не видел моих товарищей. К счастью, меня поддерживало на воде кормовое весло, которое я все еще сжимал в руках, и благодаря неслыханной удаче волна, подхватив меня в нужную минуту и в нужном месте, выбросила на пологий склон единственной пологой скалы на всем этом ужасном берегу. Я не был ранен. Я даже не ушибся. Голова моя кружилась от слабости, но я все-таки мог ползти и забрался туда, куда уже не достигали цепкие волны.

Я поднялся на ноги, зная, что спасен, и, пошатываясь, возблагодарил Бога. Вельбот был уже разбит в щепы, и, хотя мне не довелось увидеть тела капитана Николла и Арнольда Бентама, я понимал, как их изуродовало. На краю скалы, где пенились волны, я увидел весло и, рискуя жизнью, подтащил его к себе. А потом я упал на колени, чувствуя, что теряю сознание. И все же, прежде чем дурнота овладела мною, подгоняемый инстинктом моряка, я заставил себя проползти по острым, режущим тело камням за предел досягаемости самых высоких волн, и только там сознание окончательно оставило меня.

Я чуть не умер в эту ночь; я был охвачен оцепенением и лишь изредка ощущал ледяной холод и промозглую сырость, от которых меня ничто не защищало. Утро принесло с собой невыразимый ужас. Ни кустика, ни травинки не увидел я на этой голой скале, поднимавшейся со дна океана. Передо мной была каменная россыпь шириной в четверть мили и длиной в полмили. Мне нечем было подкрепить мое изнуренное тело. Меня томила жажда, но пресной воды не было нигде. Тщетно, сжигая рот, я пробовал воду, скопившуюся в углублениях между камнями, она была соленой, потому что буря окутала островок тучей соленых брызг.

От вельбота не осталось ничего — даже ни щепочки. У меня была только моя одежда, хороший нож и весло, которое я успел втащить на скалу за линию прибоя. Буря начала затихать, и весь день, поднимаясь, падая, ползая на четвереньках, так что мои локти и колени превратились в кровоточащие ссадины, я тщетно искал пресную воду.

В эту вторую ночь, чувствуя, что моя смерть близка, я укрылся от ветра за большим камнем. Довершая мои страдания, начался проливной дождь. Я поспешил снять свои многочисленные куртки и расстелил их на

земле, надеясь хоть так собрать питьевую воду, но меня ждало разочарование: когда я начал выжимать в рот пропитавшую их влагу, оказалось, что моя одежда насквозь просолилась после того, как я побывал в океанских волнах. Я лег на спину и, открыв рот, сумел поймать в него несколько дождевых капель. Это было мучительное занятие, но мне удалось смочить рот, он не воспалился, и это спасло меня от безумия.

На следующий день я почувствовал себя совсем больным. Я, не евший уже столько дней, вдруг начал пухнуть и стал настоящим толстяком: у меня пухли руки, ноги, все тело. Стоило чуть надавить пальцем, и он на целый дюйм уходил в мою плоть, а оставшаяся после этого ямка долго не исчезала. И все же я трудился из последних сил, дабы выполнять волю Господа, пожелавшего, чтобы я жил. Голыми руками я аккуратно вычерпал соленую воду из всех углублений в камнях, надеясь, что новый дождь наполнит их водой, годной для питья.

Моя печальная судьба и воспоминания о моих близких и любимых, оставшихся в Элктоне, наполнили мое сердце такой грустью, что порой несколько часов проходили словно в каком-то забытии.

Это тоже было милостью Провидения: я умер бы, если бы каждую минуту помнил о своих страданиях.

Ночью меня разбудил шум дождя, и я стал ползать от углубления к углублению, лакая скопившуюся в них воду и слизывая дождевые капли с камней. Вода была солоноватой, но ее можно было пить. Она спасла меня: когда я проснулся утром, оказалось, что мое тело покрыто обильной испариной, и сознание мое прояснилось.

Тут из-за туч выплыло солнце — в первый раз за все мое пребывание на острове, — и я разложил сушить свою одежду. Воды я напился вдоволь и рассчитал, что ее хватит на десять дней, если я буду расходовать ее осмотрительно. Удивительно, каким богачом я почувствовал себя, став хозяином такого драгоценного сокровища — десятидневного запаса солоноватой воды! А когда я нашел выброшенную на скалы тушу уже давно погибшего тюленя, то не позавидовал бы и самому именитому купцу, чьи корабли благополучно возвращаются из дальнего плавания с дорогими грузами, чьи склады ломятся от товаров, чьи сундуки полны золотом до краев. Но прежде всего я упал на колени, чтобы возблагодарить Бога за новый знак его безграничного милосердия. Мне стало ясно, что Господу не угодна моя смерть. Он оберегал меня с самого начала.

Зная, что мой желудок ослабел, я съел лишь несколько кусочков тюленьего мяса. Я понимал, что моя вполне естественная жадность убьет меня, если я дам ей волю. Мне никогда не доводилось есть ничего вкуснее,

и не скрою, что я снова и снова проливал слезы радости, любуясь этой полуразложившейся тушен.

Надежда опять окрепла во мне. Я припрятал в скалах все оставшееся мясо и тщательно закрыл мои углубления с водой плоскими камнями, чтобы драгоценная жидкость не испарилась под действием солнечных лучей, чтобы в нее не попали соленые брызги, если ночью вдруг поднимется сильный ветер. Кроме того, я собрал обрывки водорослей и высушил их на солнце, чтобы моему бедному, измученному телу было мягче лежать на жестких камнях.

Потом, в первый раз за много дней, я надел сухую одежду и погрузился в глубокий сон безграничной усталости, который нес мне исцеление.

На следующий день я проснулся другим человеком. Солнце опять пряталось за тучами, но это не повергло меня в уныние, и я скоро увидел, что Господь, не забывавший обо мне, пока я спал, приготовил для меня новые чудесные блага. Я даже закрыл глаза и протер их, потому что, куда бы я ни посмотрел, все прибрежные скалы и рифы были усеяны тюленями. Их были тысячи, а в волнах резвилось еще несколько тысяч, и можно было оглохнуть от громкого рева, вырывавшегося из всех этих глоток. Мне достаточно было одного взгляда. На берегу лежало мясо, запасов которого достало бы на десятки корабельных команд.

Я, не мешкая, схватил мое весло (другого дерева на острове не было) и начал осторожно подкрадываться к этим неисчислимым запасам провианта. Мне скоро стало ясно, что этим обитателям моря человек незнаком. При моем приближении они совсем не испугались, и даже ребенок мог бы убивать их ударом весла по голове.

Но когда я убил четвертого тюленя, меня вдруг охватило странное помешательство. Я поистине потерял рассудок и продолжал убивать, убивать, убивать... Целых два часа я без передышки орудовал веслом и совсем выбился из сил. Не знаю, какую бойню мог бы я учинить, но, только когда кончились эти два часа, все оставшиеся в живых тюлени, словно по какому-то сигналу, бросились в воду и исчезли.

Я пересчитал убитых тюленей. Их оказалось более двухсот, и я пришел в ужас при мысли о кровавом безумии, которое только что владело мной. Такая бессмысленная расточительность была тяжким грехом, и, подкрепившись этой свежей пищей, я постарался, как мог, искупить свое прегрешение. Но прежде чем приступить к предстоящей тяжелой работе, я вознес благодарственную молитву тому, чье милосердие спасло меня столь чудесным образом. А потом взялся за дело и трудился до

поздней ночи, снимая шкуры с тюленей, разрезая мясо на полосы и укладывая эти полосы на камнях, чтобы они провялились на солнце. Кроме того, отыскав отложения соли в щелях и ложбинках наветренной стороны острова, я стал натирать мясо этой солью.

Четыре дня трудился я и по истечении этого срока исполнился неразумной гордости перед Богом, ибо не потерял ни кусочка из всего этого запаса. Непрерывный труд был полезен для моего тела, и оно быстро окрепло благодаря питательной пище, в которой я себя не ограничивал. Вот еще одно свидетельство Божьего милосердия: за все восемь лет, прожитых мною на этом голом острове, ни разу ясная погода не держалась столь долго, как в дни, следовавшие за избиением тюленей.

Прежде чем тюлени вновь посетили мой остров, прошло много месяцев. Но все это время я не бездельничал. Я построил себе каменную хижину, а рядом с ней амбар для моих запасов. Эту хижину я покрыл несколькими слоями тюленьих шкур, так что она не пропускала ни капли дождя. А когда по моей кровле стучали дождевые струн, я не переставал дивиться тому, что меха, которые на лондонском рынке сделали бы их обладателя несметно богатым, здесь защищали потерпевшего крушение бедного моряка от бешенства стихий.

Я быстро сообразил, что мне следует вести счет дням, иначе, как я хорошо понимал, я мог бы утратить представление о днях недели, не отличал бы их друг от друга и не знал бы, какой из них — день Господень.

Я постарался как можно точнее вспомнить расчет дней, который вел в вельботе капитан Николл, и много раз внимательнейшим образом, чтобы исключить возможность ошибки, пересчитал дни, проведенные мной на острове. Затем я стал вести счет дням недели, выкладывая перед своей хижинкой семь камней. На одной стороне весла маленькой зарубкой я отмечал каждую проходящую неделю, а на другой стороне — месяцы, не забывая добавлять дни сверх четырех недель.

Поэтому я, как надлежит, соблюдал день Господень. Я, конечно, не мог устраивать настоящее богослужение, однако, вырезав на весле короткий псалом, подходивший для моего положения, я пел его по воскресеньям. Бог в милосердии своем не забыл меня, и я все эти восемь лет в надлежащие дни вспоминал Бога.

Просто удивительно, сколько труда надо потратить при подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить себе самое простое — пищу и кров! Да, этот первый год я редко сидел сложа руки. Постройка хижины, представлявшей собой просто каменную берлогу, потребовала целых шести недель. А сколько месяцев я высушивал и скоблил тюленьи шкуры, чтобы

они стали совсем мягкими и годились для одежды!

Кроме того, мне постоянно приходилось думать о воде. После каждой бури соленые брызги портили все мои запасы, и мне приходилось переносить тяжкие мучения, прежде чем выпадал дождь, не сопровождавшийся сильным ветром. Зная, что и капля точит камень, я подобрал обломок скалы — крепкий и единого состава — и с помощью маленьких камешков принялся выдалбливать его.

Через пять недель изнурительного труда я изготовил кувшин, вмещавший полтора галлона. Позже я точно таким же способом сделал кувшин в четыре галлона. На него у меня ушло девять недель. Кроме того, я время от времени изготавливал сосуды поменьше. А кувшин, который мог бы вместить восемь галлонов, вдруг треснул после того, как я провозился с ним семь недель.

Однако только на четвертый год моей жизни на острове, когда я уже примирился с мыслью, что мне суждено остаться здесь до конца дней своих, я изготовил шедевр. На него у меня ушло восемь месяцев, зато он плотно закупоривал и вмещал тридцать галлонов!

Эти каменные сосуды доставляли мне великую радость, так что я иной раз даже забывал о христианском смирении и смотрел на них с немалым тщеславием. Ни у одной королевы не было золотой посуды, которую она ценила бы больше, чем я свою каменную. Кроме того, я изготовил ковш, вмещавший всего кварту, чтобы с его помощью переливать воду из углублений в большие хранилища. Если я скажу, что один этот ковшик весил чуть ли не тридцать фунтов, читатель легко поймет, сколько труда требовалось только на сбор дождевой воды.

Таким образом, я, как мог, облегчил свою одинокую жизнь: я соорудил себе уютное жилье и обзавелся шестимесячным запасом вяленого и засоленного мяса. И я хорошо понимал, что должен чувствовать великую благодарность Богу, ибо все это были блага, о которых на необитаемом острове трудно даже мечтать.

Хотя я был лишен человеческого общества и мое уединение не делила со мной ни собака, ни даже кошка, я был доволен своей судьбой гораздо больше, чем многие другие, окажись они на моем месте. В этой унылой пустыне, куда меня забросила судьба, я полагал себя несравненно более счастливым, чем те, кто за позорные преступления были обречены влачить жизнь в уединении темниц, где совесть мучила их, как незаживающая язва.

Каким бы унылым ни представлялось мне будущее, я лелеял надежду, что провидение, которое в тот самый час, когда голод грозил мне гибелью и меня легко могла поглотить пучина морская, привело меня целым и

невредимым на эти голые скалы, в конце концов ради моего спасения приведет сюда корабль.

Пусть я был лишен общества себе подобных и многих удобств, но, как мне не раз приходило в голову, мое одиночество давало мне и кое-какие преимущества. Я мирно владел целым островом, пусть он и был невелик, и оспаривать мои права на него могло разве какое-нибудь морское чудище. Островок этот был почти неприступным, и по ночам и спал спокойно, не боясь ни людоедов, ни хищных зверей. Вновь и вновь я на коленях благодарил Бога за эти и многие другие милости.

Однако человек — странное создание, и он редко бывает доволен. Еще недавно я молил Бога послать мне немного тухлого мяса и не слишком соленой воды, а стоило мне получить изобилие вяленого мяса и хорошей пресной воды, как я уже начал ворчать на свою судьбу.

Мне уже потребовался огонь, я уже мечтал о вкусе жареного мяса и то и дело с грустью вспоминал о разных деликатесах, которые я каждый день получал дома в Элктоне. Я боролся с собой, но мое воображение оказывалось сильнее воли и все дни напролет рисовало мне лакомства, которые мне довелось съесть, и лакомства, которые я буду есть, если мне будет суждено покинуть мой пустынный остров.

Наверное, во мне просыпался ветхий Адам — наследие праотца, первым восставшего против Господних заповедей. Странное существо человек: он ненасытен, всегда недоволен, никогда не пребывает в мире с Богом или с самим собой! Дни его наполнены хлопотами и бесполезными терзаниями, а ночи полны суетных снов об исполнении неправедных и грешных желаний. Еще меня терзала тоска по табаку, и мой сон нередко становился для меня мукой, ибо тогда моя тоска срывалась с узды, и тысячи раз мне снилось, что я владею многими бочонками с табаком, нет, целыми складами табака, целым флотом, груженным чабаном, всеми табачными плантациями мира!

Но я наказывал себя за это. Я часто возносил Богу молитвы из глубины сокрушенного сердца и смирял свою плоть неустанным трудом. Если мне не удалось сделать прекраснее мою душу, я, во всяком случае, решил сделать прекраснее мой голый остров.

Четыре месяца я строил каменную стену длиной в тридцать футов и высотой в двенадцать. Она должна была защищать хижину в дни страшных ураганов, когда остров казался крохотным буревестником, бьющимся в бездне ветров. И мой труд не был потрачен напрасно. С этих пор у меня всегда был тихий уголок, хотя в какой-нибудь сотне футов над моей головой неслись потоки морской воды, подхваченной бурей.

На третий год я начал складывать каменный столб, а вернее сказать, квадратную пирамиду, широкую у основания и полого сужающуюся кверху. Другой формы я не мог ей придать, так как у меня не было жердей, чтобы соорудить леса. Моя пирамида была завершена только к концу пятого года. Она стояла на самом высоком месте острова, и если я скажу, что в самом высоком месте остров поднимался над морем только на сорок футов и что вершина моей пирамиды достигала сорока футов, вы поймете, что я без всяких орудий сумел удвоить высоту своего острова. Кто-нибудь неразумный может заявить, что я нарушил Божий план сотворения мира, но я утверждаю, что это не так. Ведь и я сам тоже часть божьего творения, как и эта каменная груда, торчащая в пустынных просторах океана. И разве не Бог сотворил мои руки, которые совершали эту работу, мою спину, которая сгибалась и разгибалась, когда я поднимал камни, мои пальцы, которые хватали и сжимали их?

Я много размышлял об этом, и я знаю, что правда на моей стороне.

На шестой год я расширил основание моей пирамиды, и через полтора года после этого она возвышалась над островом уже на пятьдесят футов. Но строил я не башню вавилонскую. Пирамида служила двум праведным целям: во-первых, с нее, как с дозорной вышки, я оглядывал дали, ища взглядом корабль, и благодаря ей какой-нибудь матрос мог скорее заметить мой остров. А во-вторых, она помогла мне сохранять душевное и телесное здоровье.

Руки мои не знали безделья, и сатане нечего было делать на моем острове. Только в моих снах мучил он меня видениями всяких лакомых блюд и изобилия гнусного зелья, которое зовется табаком.

18 июня, на шестой год моего пребывания на острове, я заметил на горизонте парус, но он прошел слишком далеко с подветренной стороны, и с этого судна меня никто не заметил. Однако появление его не только не ввергло меня в отчаяние, но и доставило мне живейшую радость. Я убедился в том, в чем порой сомневался, — в эти воды иногда заходили корабли.

Там, где тюлени выбирались из моря на остров, я построил две сходящиеся воронкой стены, кончавшиеся глухим загоном, где я мог убивать тюленей, не тревожа их собратьев, оставшихся снаружи. К тому же оттуда не мог спастись ни один раненый или испуганный тюлень, чтобы заразить своим страхом остальных.

Только на возведение этого загона у меня ушло семь месяцев.

С течением времени я все больше свыкался с моим положением, и дьявол все реже являлся в моих снах смущать ветхого Адама во мне

грешными видениями табака и лакомых яств. Я продолжал есть тюленье мясо и называть его вкусным, и пить сладкую дождевую воду, которая у меня всегда была в избытке, и возносить благодарственные молитвы Господу. И я знаю, что Господь внял моим молитвам, ибо за все время моей жизни на острове я ни разу не болел, если не считать двух случаев, о которых расскажу позже, но и тогда всему виной было мое собственное воздержание.

На пятый год, еще до того, как я убедился, что корабли иной раз забредают в эти воды, я начал вырезать на моем весле сведения о наиболее замечательных событиях, свидетелем которых я был с тех пор, как покинул мирные берега Америки. Я вырезал крохотные букочки, но старался делать их четкими и долговечными.

Так велико было мое старание, что я вырезал не больше шести букв в день, а иной раз даже и пять. Так, на случай, если моя жестокая судьба не даст мне вернуться к моим друзьям и к моей семье в Элктоне, о чем я всегда мечтал, я выгравировал, а вернее сказать, вырезал на лопасти весла историю моих злоключений, о которых поведал в начале моей повести.

Я всячески берег это весло, которое служило мне такую хорошую службу в первые дни моего пребывания на острове, а теперь содержало рассказ о моей судьбе и судьбе моих товарищей. Я больше не пользовался им, охотясь на тюленей. Для этой охоты я изготовил себе каменную дубинку фута три длиной и соответствующей толщины; на эту работу у меня ушел месяц. Кроме того, боясь, как бы весло не пострадало от сырости и ветра (в тихие дни я ставил его, словно флагшток, на вершине моей пирамиды и привязывал к нему флаг, сделанный из одной из моих драгоценных рубашек), я изготовил для него чехол из хорошо просушенных тюленьих шкур. В марте, на шестой год моего пребывания там, на остров налетела такая буря, какой, пожалуй, не видел до меня ни один человек. В девять часов вечера небо затянуло черными тучами, а с юго-запада подул свежий ветер, который все крепчал и к одиннадцати часам перешел в ураган: гром не утихал ни на мгновение, а таких ярких молний я не видел ни до, ни после.

Я опасался за целостность моего островка. Волны разгуливали по нему повсюду, не достигая только самой вершины моей пирамиды. Я скорчился там, задыхаясь под ударами ветра, ослепленный солеными брызгами. Я хорошо понимал, что сохранил жизнь только потому, что трудолюбиво строил эту пирамиду и удвоил высоту острова.

А утром я снова от души возблагодарил Бога. Все запасы дождевой воды были испорчены, однако вода в самом большом кувшине, укрытом с

подветренной стороны пирамиды, уцелела.

Я знал, что этой воды, если расходувать ее осмотнительно, мне хватит до следующего дождя, если его придется ждать долго.

Волны размыли мою хижину, а от всех моих запасов сохранилось лишь несколько кусочков размокшего мяса. И все же я был рад этой буре, потому что море выбросило на скалу множество рыбы, удивительно похожей на кефаль. Я подобрал целых 1219 рыбин. Я вычистил их и провялил на солнце, словно треску. Эта желанная перемена в пище имела и свои грустные последствия: я впал в грех чревоугодия и всю ночь находился между жизнью и смертью.

На седьмом году моего пребывания на острове в том же самом марте месяце вновь разразилась ужасная буря. Когда она кончилась, я, к своему удивлению, увидел на острове мертвого кита, совсем еще свежего, — волны выбросили его высоко на скалы.

Представьте себе мой восторг, когда в утробе этого огромного чудовища я нашел китобойный гарпун с привязанным к нему длинным куском каната.

И снова я почувствовал уверенность, что рано или поздно покину этот пустынный остров. Китобои, несомненно, часто заходили в эти воды, и если только я не позволю отчаянию овладеть мной, то рано или поздно буду спасен. Семь лет я питался тюленьим мясом, и при виде такого изобилия совсем иной и сочной пищи я вновь поддался своей злосчастной слабости и так наелся, что опять чуть не умер. Впрочем, и на этот раз, как в случае с рыбой, я заболел только потому, что за семь лет мой желудок привык к тюленьему мясу, и только к тюленьему мясу, отчего всякая иная пища дурно на него действовала.

Этот кит снабдил меня запасами провизии на целый год.

Кроме того, с помощью солнечных лучей я вытопил из него большое количество жира, в который, предварительно его посолив, макал полоски тюленьего мяса, отчего они делались гораздо вкуснее. Из драгоценных лоскутков моей рубашки я мог бы сплести фитилек и, выбив стальным гарпуном искру, мог бы устроить себе светильник. Но это была суетная мысль, и я скоро от нее отказался. Зачем мне нужен был свет в часы, когда Божий мрак окутывал землю.

Ведь я научился спать от заката до восхода зимой и летом.

Тут я, Даррел Стэндинг, не могу удержаться, чтобы не вставить в это описание одной из моих предыдущих жизней свое наблюдение. Поскольку человеческая личность находится в вечном развитии и представляет собой сумму всех предыдущих существований, у начальника тюрьмы Азертона не

было никаких шансов сломить мой дух пыткой одиночного заключения. Ведь я — жизнь существующая вечно, выкованная бесчисленными веками прошло го, и какого прошлого! Что для меня были десять дней и ночей я смиренной рубашке! Ведь некогда я был Дэниэлом Фоссом и восемь лет учился терпению на каменистом островке в далеком южном океане.

* * *

Когда восьмой год моего пребывания на острове подходил к концу и я уже подумывал о том, как поднять мою пирамиду на шестьдесят футов над островом, проснувшись в одно прекрасное сентябрьское утро, я увидел перед собой корабль со спущенными стакселями — он был так близко, что мой крик легко донесся бы до него. Стараясь, чтобы меня заметили, я принялся размахивать веслом, прыгать по камням и проделывать самые невероятные телодвижения, пока не обнаружил, что офицеры на квартердеке смотрят на меня в подзорные трубы. Они принялись указывать мне на западную оконечность острова, и, поспешив туда, я увидел шлюпку, в которой сидело шестеро гребцов. Впоследствии я узнал, что с корабля заметили мою пирамиду и изменили курс, желая поближе рассмотреть столь странное сооружение, превышавшее высотой остров, на котором оно находилось.

Однако сильный прибой не позволял лодке пристать к негостеприимным берегам моего острова. После множества безуспешных попыток они сделали мне знак, что должны вернуться на корабль. Представьте мое отчаяние, когда оказалось, что мне не удастся покинуть этот унылый остров. Схватив мое весло (я уже давно решил подарить его музею в Филадельфии, если мне суждено будет спастись) и сжимая его, я бросился в пенный прибой. Благодаря моему счастью, а также силе и подвижности мне удалось добраться до шлюпки.

Не могу удержаться, чтобы не привести здесь одну любопытную подробность. Корабль за это время отнесло так далеко, что мы добирались до него целый час. И я, поддавшись желанию, которое мучило меня целых восемь лет, попросил у сидевшего за рулем второго помощника кусок табаку, чтобы пожевать. А он протянул мне свою трубку, набитую лучшим виргинским табаком.

Не прошло и десяти минут, как у меня началась сильнейшая рвота. Причина ее была совершенно ясна. Мое тело полностью очистилось от табачной скверны, и теперь я испытывал то же, что испытывает любой

мальчишка, впервые попробовавший курить.

И снова я возблагодарил Господа и до самой своей смерти не прикасался больше к этому гнусному зелью, и меня к нему совсем не тянуло.

* * *

Теперь я, Даррел Стэндинг, сообщу кое-какие подробности этого существования, которое я пережил вновь, лежа без сознания в смиренной рубашке в тюрьме Сен-Квентин. Я часто задумывался над тем, выполнил ли Дэниэл Фосс свое решение подарить покрытое резьбой весло филадельфийскому музею.

Заклученному в одиночке нелегко общаться с внешним миром.

Один раз я попросил надзирателя, а другой раз заключенного, которого должны были скоро освободить, выучить наизусть письмо к хранителю филадельфийского музея. Но оба они, хотя твердо обещали исполнить мою просьбу, не послали в музей такого письма.

И только когда Эд Моррел по странному капризу судьбы был выпущен из одиночки и назначен главным старостой всей тюрьмы, мне наконец удалось отправить туда письмо. Ниже я привожу ответ хранителя филадельфийского музея, которое мне передал тайком Эд Моррел:

«Описанное вами весло действительно существует, но оно было почти никому не известно, так как не выставлялось в залах. Даже я не знал о его существовании, хотя занимаю эту должность восемнадцать лет. Однако, просмотрев наши старые книги, я обнаружил, что такое весло действительно было подарено музею в 1821 году неким Дэниэлом Фоссом, уроженцем Элктона, штат Мэриленд. Только после долгих поисков нам удалось обнаружить это весло на чердаке среди всякого хлама. На нем действительно есть зарубки и надписи, описанные вами.

Кроме того, в нашем архиве имеется брошюра, написанная означенным Дэниэлом Фоссом и изданная в Бостоне в 1834 году фирмой Коверли. В этой брошюре описывается восемь лет жизни потерпевшего крушение на необитаемом острове. Насколько можно судить, этот моряк в старости, впад в нужду, продавал эту брошюру людям сострадательным.

Мне очень хотелось бы узнать, откуда вам стало известно это весло, о существовании которого даже работники музея не имели ни малейшего представления? Я полагаю, что вы прочли о нем в каком-нибудь дневнике, изданном Дэниэлом Фоссом позже. Буду очень благодарен, если вы

сообщите мне это, и немедленно приму меры, чтобы весло и брошюры заняли свое место среди экспонатов.

Искренне Ваш
Хозиа Солсберти».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

И вот настал час, когда я вынудил начальника тюрьмы Азертона позорно сдаться, превратив в пустую болтовню его ультиматум «динамит или гроб». Ему оставалось только признать, что меня нельзя убить смиренной рубашкой. Его жертвы иногда умирали после нескольких часов рубашки, иногда — после нескольких дней, хотя, правда, их обычно успевали расшнуровать и доставить в тюремную больницу, где они и выпускали последний вздох... По заключению врача, их уносило в могилу воспаление легких, или Брайтова болезнь, или порок сердца.

Но меня начальник тюрьмы так и не смог убить. Ни разу не понадобилось тащить мое изуродованное, умирающее тело в больницу. Хотя не могу отрицать: Азертон старался изо всех сил и ни перед чем не останавливался. Был случай, когда он затянул меня в две рубашки. Этот случай настолько великолепен, что я не могу не рассказать о нем.

В один прекрасный день некая газета в Сан-Франциско (ища, как любая газета, как любое коммерческое предприятие, расширения рынка ради более высоких прибылей) попробовала заинтересовать передовых рабочих в тюремной реформе. В то время профсоюзы обладали большим политическим влиянием, и политические ворота штата назначили сенатскую комиссию, которой было поручено обследовать тюрьмы.

Эта высокая комиссия обследовала (простите мне этот иронический курсив) и Сен-Квентин. Оказалось, что более образцового исправительного заведения еще не видывал свет. Так утверждали сами заключенные. Но их нельзя за это упрекать. Они уже не в первый раз видели подобные расследования и знали, что к чему. Им было известно, что они незамедлительно обзаведутся весьма болезненными синяками, чуть только кончат давать показания... если эти показания придутся не по вкусу тюремному начальству. Поверь мне, читатель, так повелось с незапамятных времен. Даже еще в древнем Вавилоне, тысячелетия назад, это было уже седой стариной — я-то хорошо это помню: ведь я гнил тогда в темнице, пока при дворе плелись интриги, сотрясавшие страну.

Как я уже сказал, все заключенные в один голос восхваляли гуманность начальника тюрьмы Азертона и его подчиненных.

Они так трогательно описывали доброту начальника тюрьмы, отличное и разнообразное питание, мягкость надзирателей, удобства, чистоту и комфорт своих камер, что оппозиционные газеты Сан-Франциско

начали с воплями требовать более строгого режима в наших тюрьмах, опасаясь, как бы честные, но ленивые граждане не соблазнились таким привольным существованием и не стали бы совершать преступлений только ради того, чтобы угодить в тюрьму.

Сенатская комиссия почтила своим присутствием даже одиночки. Но нам, их обитателям, нечего было ни терять, ни приобретать. Джек Оппенхеймер плюнул им в физиономии и послал их — иже, присно и совокупно — ко всем чертям. Эд Моррел объяснил им, какая это поганая дыра, оскорбил начальника тюрьмы в глаза, и членам комиссии пришлось рекомендовать Азертону подвергнуть Эда какому-нибудь из тех устаревших и забытых наказаний, которые его предшественники, вероятно, вынуждены были придумать для исправления таких вот закоренелых негодяев.

Я постарался не оскорблять начальника тюрьмы. Я давал свои показания тонко, как ученый, начав с пустяков, искусно развернув экспозицию, чтобы мало-помалу пробудить в почтенных сенаторах любопытство и желание выслушать и следующее разоблачение: я ткал свою паутину так хитро, что нигде меня нельзя было прервать или перебить вопросом... и я сумел сообщить им все, что хотел.

Увы, ни слова из того, что я открыл, не вышло за стены тюрьмы. Сенатская комиссия, как могла, обелила начальника тюрьмы Азертона и Сен-Квентин. Затеявшая этот крестовый поход газета уверила своих рабочих читателей, что Сен-Квентин чище снега и что, хотя смирительная рубашка является вполне законным наказанием для провинившихся заключенных, в наши дни гуманный и благородный начальник тюрьмы ни при каких обстоятельствах не пускает ее в ход.

И пока простаки-труженики читали эти статьи и верили им, пока сенатская комиссия вместе с начальником тюрьмы пиновала на банкете, который оплачивали налогоплательщики штата, Эд Моррел, Джек Оппенхеймер и я лежали в рубашках, зашнурованных чуть-чуть туже и злее, чем когда-либо прежде.

— Смеху подобно, — простучал мне Эд Моррел носком башмака.

— Подумаешь! — простучал Джек.

Ну, а я... я тоже простучал им свой горький смех и сарказмы, вспоминая темницы древнего Вавилона, улыбнулся про себя широкой космической улыбкой и уплыл в просторы малой смерти, превращавшей меня в наследника всех веков, и гордого всадника, оседлавшего время. Да, любезный мой братец за стенами тюрьмы, пока газеты не жалели белил, пока величественные сенаторы попивали вино за обедом, мы, трое живых мертвецов, потели кровавым потом в тугих объятиях брезента.

А после обеда разгоряченный вином начальник тюрьмы явился посмотреть, как мы себя чувствуем. Меня, как обычно, нашли в летаргии. Очевидно, в первый раз доктор Джексон встревожился.

Во всяком случае, меня с помощью нашатырного спирта заставили вернуться назад через мрак. Я улыбнулся прямо в склонившиеся надо мной лица.

— Притворяется, — буркнул начальник тюрьмы, и по его раскрасневшемуся лицу, по невнятности его речи я понял, что он пьян.

Я облизнул губы, показывая, что хочу пить, ибо решил сказать ему несколько слов.

— Вы осел! — сумел выговорить я четко и спокойно. — Вы осел, трус, негодяй, мерзкая тварь, на которую и плюнуть-то противно. Джек Оппенгеймер был к вам еще слишком снисходителен. А я скажу вам, не стыдясь, что не плюю на вас только потому, что не желаю унижаться и пачкать свой плевок.

— Мое терпение кончилось, — взревел он. — Я тебя убью, Стэндинг!

— Вы пьяны, — отозвался я, — и позвольте дать вам благой совет. Если уж вам не терпится говорить подобные вещи, то хоть отсылайте за дверь своих прихвостней. В один прекрасный день они на вас донесут, и вы потеряете свое теплое местечко.

Но вино ударило ему в голову.

— Наденьте на него еще одну рубашку, — приказал он. — Считай себя покойником, Стэндинг. Но ты умрешь не в рубашке. Мы понесем тебя хоронить из больницы.

Вторую рубашку подложили мне под спину и зашнуровали спереди.

— Ах, Боже мой, начальник, какой лютый холод, — язвительно сказал я. — Мороз все крепчает. И я весьма вам благодарен за эти две рубашки. Пожалуй, я немного согреюсь.

— Ту же! — крикнул он Элу Хэтчинсу, шнуровавшему меня. — Упрись ногами в эту сволочь. Переломай ему ребра.

Должен сказать, что Хэтчинс поработал на совесть.

— Будешь знать, как врать про меня, — ревел Азертон, синяя от вина и ярости. — Теперь ты за это заплатишься. Прощайся с жизнью, Стэндинг. Тебе пришел конец. Ты слышишь, тебе пришел конец!

— Сделайте мне одно одолжение, начальник... — еле слышно прошептал я, так как у меня совсем не осталось сил и я почти лишился чувств от недостатка воздуха. — Наденьте на меня третью рубашку, — еле выговорил я, а стены камеры качались и плясали вокруг меня, и я напрягал всю волю, чтобы не лишиться сознания, которое выжимали из меня

рубашки. — Еще одну рубашечку... начальник... С ней... будет... гораздо... э... теплее.

Мой шепот замер, и я погрузился в малую смерть.

После этой порции двойной рубашки что-то во мне сломалось.

По сей день, например, чем бы меня ни кормили, я не могу есть как следует. Мои внутренности так изуродованы, что мне не хочется даже думать об этом. И пока я пишу эти строки, у меня по-прежнему болят ребра и ноет желудок. Но мое измученное, искалеченное тело сослужило свою службу. Оно дало мне возможность дотянуть до этого дня и поможет пожить еще немного — до того утра, когда меня выведут из камеры в рубашке без воротника и вывихнут мне шейные позвонки хорошо растянутой веревкой.

Но эта двойная рубашка оказалась последней соломинкой.

Она сломала начальника тюрьмы. Он сдался, признав, что убить меня невозможно. Я ему так и сказал однажды:

— Избавиться от меня вы можете только одним способом, начальник: пробравшись сюда как-нибудь ночью с топором.

Не могу удержаться и не привести здесь меткое замечание Джека Оппенхеймера, который сказал Азертону так:

— Каково это вам, начальник, просыпаться каждое утро с самим собой на подушке!

А Эд Моррел сказал Азертону вот что:

— До чего же ваша мамаша любила детей, если она не придушила вас еще в колыбельке.

Когда меня перестали шнуровать в рубашку, я был очень огорчен. Мне страшно не хватало мира моих грез. Впрочем, я скоро нашел выход. Оказалось, что, туго завернув грудь и живот в одеяло, я могу усилием воли погасить в себе жизнь. Этим способом я вызывал у себя физиологическое и психологическое состояние, подобное тому, которое испытывал в рубашке. Таким образом, я мог бродить во времени когда мне хотелось и без прежних мучений.

Эд Моррел верил во все мои приключения, но Джек Оппенхеймер относился к ним скептически до самого конца. На третий год моего пребывания в одиночке я посетил Оппенхеймера. Это было единственный раз, и случилось все без всякого предупреждения и совершенно неожиданно.

Как только наступил обморок, я оказался в его камере. Я знал, что мое тело лежит, натянутое в смиренную рубашку, у меня в камере. И хотя я никогда прежде не видел Джека Оппенхеймера, я знал, что человек передо

мной — это он. Дело было летом, и он лежал раздетый на одеяле. Я почувствовал ужас при виде его исхудалого лица и изможденного тела. Оно, собственно говоря, уже не было похоже на человеческое. Это были одни кости, еще собранные в человеческий скелет, но совсем лишенные плоти и лишь обтянутые пергаментной кожей.

Вернувшись в свою камеру и очнувшись от обморока, я, когда обдумал случившееся, понял, что мы с Эдом Моррелом выглядим точно так же, как Джек Оппенхеймер. И я почувствовал трепетную гордость при мысли о неукротимой силе духа, обитающего в этих наших изможденных, умирающих телах, в телах трех «неисправимых», заключенных в одиночки. Плоть ничтожна. Трава есть плоть, и плоть становится травой, зато дух живет и пребывает вечно. Я презираю поклонников плоти. Если бы они попробовали сен-квентинской одиночки, то быстро научились бы поклоняться духу.

Однако вернемся к моему появлению в камере Оппенхеймера.

Его тело напоминало труп, иссушенный жарой пустыни. Цвет его кожи был как засохшая грязь. Живыми казались только умные желтовато-серые глаза.

Они все время были в движении. Он лежал на спине, и взгляд его метался по камере, следуя за полетом мух, круживших в сумраке над ним. Я заметил шрам над его правым локтем и еще один — на правой лодыжке.

Через несколько минут он зевнул, перекатился на бок и стал рассматривать воспаленную болячку на бедре. Потом он стал ковырять ее и лечить тем примитивным способом, каким лечат свои раны все заключенные во всех одиночках мира. Я без труда догадался, что эта болячка — след смирительной рубашки. Сейчас, когда я пишу, мое тело покрывают сотни таких шрамов, оставленных рубашкой.

Потом Оппенхеймер перекатился на спину, осторожно зажал один из верхних передних зубов (глазной зуб) между большим и указательным пальцами и легонько его покачал. Затем он снова зевнул, потянулся и, перевернувшись на другой бок, простучал вызов Эду Моррелу. Я читал код, словно наяву.

— Решил, что ты, может, не спишь, — стучал Оппенхеймер. — Как там дела у профессора?

Издалека донеслось глухое постукивание. Моррел сообщал, что меня час назад затащили в рубашку и, как обычно, я уже не отзываюсь.

— Хороший он парень, — простучал Оппенхеймер. — Я никогда не доверял этим образованным, но вот его образование не испортило. Он человек верный. Умеет держать язык за зубами и не донесет и не продаст,

хоть миллион лет его здесь продержи.

Со всем этим Эд Моррел согласился, добавив кое-что и от себя. Я хочу тут же прервать свое повествование и сказать, что хотя я жил много лет, и прожил много жизней, и в этих жизнях слышал немало похвал, ни одна из них не вызвала у меня такой великой гордости, какую я почувствовал в ту минуту, когда мои товарищи по одиночке обменялись своим мнением обо мне. Эд Моррел и Джек Оппенгеймер были замечательными людьми, и за все свои существования мне не выпало большей чести, чем честь быть их товарищем. Короли возводили меня в рыцарский сан, императоры делали меня вельможей, — да и когда я сам был королем, я знавал минуты упоенной гордости, но больше всего я дорожу этой похвалой, высказанной двумя пожизненно заключенными, брошенными в одиночки, — людьми, которых мир считал последним отребьем.

Отдыхая после этой порции рубашки, я сказал им о моем посещении камеры Джека, считая его неопровержимым доказательством того, что мой дух действительно покидает мое тело. Но Джек остался при своем мнении.

— Это все догадки, хоть и не просто догадки, — ответил он, когда я перечислил все, что он делал, пока я оставался в его камере. — Это правильный расчет. Ты сам сидишь в одиночке уже три года, профессор, и тебе нетрудно прикинуть, чем развлекаются другие. Все, что ты мне рассказывал, вы с Эдом проделывали тысячи тысяч раз: и голые лежали в жару, и на мух смотрели, и болячки лечили, и перестукивались:

Моррел встал на мою сторону, но Джека это не убедило.

— Только ты не обижайся, профессор, — выстукивал Джек. — Я же не говорю, что ты врешь. Я только говорю, что ты, сам того не зная, лежа в рубашке, вроде как сны видишь и воображаешь. Я знаю, что ты веришь в то, что говоришь. По-твоему, оно так и случилось. Да только я-то не верю. Ты это вообразил, сам того не замечая. Ты все это знаешь всегда, а вот вспоминаешь то, что ты знаешь, только когда у тебя в голове начинает мутиться.

— Погоди, Джек, — простучал я. — Ты ведь веришь, что я тебя никогда в жизни не видел. Правильно?

— Это как сказать, профессор. Может, ты меня и видел, да только не знал, что это я.

— А как ты объяснишь, — продолжал я, — что, ни разу не видев тебя голым, я знаю, что у тебя шрам над правым локтем и другой — на правой лодыжке?

— Ерунда, — ответил он. — Все это есть в моем тюремном описании, рядом с фотографией моей рожи. Об этом знают тысячи начальников

полиции и сыщиков.

— Да я-то об этом ничего не слышал, — уверял я его.

— Ты просто забыл, что слышал об этом, — поправил он. — А слышал наверняка. Эти сведения были заключены в твоем мозгу для справок, пусть ты и забыл, что они у тебя есть. А как у тебя в голове помутилось, так ты и вспомнил. Тебе никогда не случалось забывать имя человека, которого ты знаешь как родного брата? Со мной это бывало. Вот, скажем, когда мне в Окленде припаяли мои пятьдесят лет, среди присяжных был один коротышка. И вдруг оказалось, что я забыл, как его звали. Целый месяц я ломал себе голову — никак не могу вспомнить. Да только если я не мог выкопать его имя из моей памяти, это еще не значило, что его там вовсе нет. Просто завалилось куда-то, вот и все. А когда я и думать о нем перестал, оно так и прыгнуло мне из мозга прямо на язык. «Стейси, — завопил я во всю глотку, — Джозеф Стейси». Так его и звали. Понял, к чему я клоню? Ты мне рассказывал про шрамы, а это знают тысячи людей. Откуда тебе это известно, я не знаю. Да ты и сам, наверное, не знаешь. И меня это не касается. Но так оно и есть. И сколько бы ты мне ни повторял то, что многим известно, на меня это не подействует. Если хочешь, чтобы я поверил в твои басни, придется тебе подобрать куда больше доказательств.

Гамильтоновский закон экономии в оценке доказательств!

Этот житель трущоб, запертый в тюремной одиночке, был по складу ума настоящим ученым — и он самостоятельно вывел закон Гамильтона и точно применил его. И притом (в этом-то и прелесть всего эпизода) Джек Оппенгеймер был честен, как подлинный ученый. Ночью, когда я уже засыпал, он вызвал меня условным сигналом.

— Знаешь, профессор, ты сказал, что видел, как я раскачивал зуб. Тут ты меня поймал. Хоть убей, не знаю, как ты догадался. Он расшатался всего три дня назад, и я не говорил про это ни одной живой душе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Паскаль где-то сказал: «Обозревая ход человеческой эволюции, философский ум должен рассматривать человечество, как единую личность, а не как конгломерат индивидуумов».

Я сижу сейчас в Коридоре Убийц в тюрьме Фолсем, прислушиваюсь к дремотному жужжанию мух и обдумываю слова Паскаля. Он прав. Вот так человеческий зародыш за десять коротеньких лунных месяцев с необычайной быстротой повторяет в бесчисленных подобию, умноженных на бесчисленное количество раз, всю историю органической жизни — от растения до человека; вот так подросток за краткие годы отрочества в проявлениях жестокого дикарства повторяет историю первобытного человека — от бессмысленного желания мучить слабейших до племенного самосознания, проявляющегося в стремлении организовывать шайки; вот так и я, Даррел Стэндинг, повторил и пережил заново все, чем был первобытный человек, что он чувствовал, во что превращался, пока не стал вами, и мной, и остальным человечеством, осуществляющим цивилизацию двадцатого века.

Да, все мы, все до одного — все те, кто живет на нашей планете сегодня, — несем в себе неизгладимую историю жизни от самых ее истоков. Эта история написана в наших тканях и костях, в наших органах и их функциях, в клеточках нашего мозга и в наших душах — во всевозможных физических и психических проявлениях атавизма. Некогда мы были рыбами, читатель, — и ты и я, — а потом выползли на сушу, положив начало тому замечательному этапу, который переживаем еще и сейчас. Мы все еще храним следы моря, как сохраняем в себе что-то от змеи — с тех времен, когда змея еще не была змеей, а мы не были нами, когда пра-змея и пра-мы были одним и тем же. Некогда мы летали, некогда мы жили на деревьях и боялись ночной тьмы. И мы храним следы этого в себе, в своем семени, и так будет во веки веков, пока мы населяем землю.

То, что Паскаль постиг как провидец, я проверил на опыте.

Я видел в себе ту единую личность, которую созерцал философский взор Паскаля. Да, мне есть что поведать — истину удивительную и для меня необыкновенно реальную, но, боюсь, у меня не хватит способностей рассказать о ней, а у тебя, мой читатель, способностей постигнуть ее. Я утверждаю, что видел в себе этого единого человека, о котором говорит Паскаль. Лежа в рубашке, я погружался в длительное забытие и видел в

себе тысячи живых людей, живущих тысячами жизней, — и все они были тем человеком-человечеством, который поднимается все выше по дороге веков.

О, какими царственными воспоминаниями располагаю я, проносясь по бесконечности времени! За сутки, проведенные в рубашке, я успевал прожить множество жизней, слагавшихся в тысячелетние одиссеи первых переселений, неведомых истории. Боже мой! Еще до того, как я стал светловолосым эсиром, обитавшим в Асгарде, или даже рыжеволосым ванкром, обитавшим в Ванагейме, еще задолго до этого, говорит моя память (живая память), мы, словно тополиный пух, гонимый ветром, отступали к югу под натиском полярных льдов, надвигавшихся с полюса.

Я умирал от холода и от голода, умирал в битвах и в волнах разлившихся рек. Я собирал ягоды на унылой Крыше Мира и выкапывал съедобные корни из жирной земли заливных лугов.

Я выцарапывал изображения оленя и волосатого мамонта на его же бивнях, добытых во время большой охоты, а зимой, когда у входа в пещеру выла метель, я выцарапывал все те же изображения на каменных стенах нашего жилища. Я обсасывал мозговую кость там, где задолго до меня стояли величественные города, или там, где им еще суждено было возникнуть только много столетий спустя. И кости моих временных оболочек покоились на дне водоемов, в трещинах ледников и в смоляных лужах.

Я жил в эпохи, которые современные ученые называют палеолитом, неолитом и бронзовым веком. Я помню дни, когда с помощью прирученных волков мы гнали наших оленей на пастбища у северного побережья Средиземного моря, где ныне расположены Франция, Италия и Испания. Тогда ледники еще не отступили назад к полюсу. Я видел множество новых равноденствий... как и ты, читатель. Только я помню об этом, а ты забыл.

Я был Сыном Плуга, Сыном Рыбы, Сыном Дерева. Все религии, начиная с самой первой, живут во мне. А когда здесь, в тюрьме Фолсем, священник по воскресеньям служит Богу на свой современный манер, я знаю, что в нем, в этом священнике, все еще живет вера в Плуг, в Рыбу, в Дерево — живут культы Астарты и Богини Ночи.

Я был арийским владыкой в Древнем Египте, и мои солдаты выцарапывали ругательства на каменных гробницах царей, давно умерших и забытых. И я, арийский владыка в Древнем Египте, приготовил для себя два места последнего упокоения: одно ложное — могучую пирамиду, о которой могло поведать целое поколение рабов, и другое — смиренную, ничем не украшенную пещеру, которую высекли в скале над пустынной

долиной рабы, умерщвленные сразу же после конца работы...

И сейчас здесь, в Фолсеме, когда демократия окутывает своими грезами мир двадцатого века, я раздумываю над тем, уцелели ли в каменном тайнике над безвестной долиной кости, которые некогда принадлежали мне и поддерживали плоть моего тела в дни, когда я был могучим владыкой.

А когда началось великое переселение к югу и к востоку под жгучим солнцем, погубившим всех потомков родов Асгарда и Ванегейма, я был царем на Цейлоне, строителем арийских памятников при дворах арийских царей на древней Яве и древней Суматре. И я погибал сотни раз во время великого расселения по Южным морям, прежде чем, снова возродившись, строил такие же памятники на вулканических тропических островах, которые я, Даррел Стэндинг, не могу назвать, потому что плохо знаю географию далеких морей.

Если бы только я мог описать с помощью такого неверного средства, как слова, все, что я видел и знаю, все, что мое сознание сохранило об огромных переселениях человеческих рас в дни, когда еще не начиналась наша писаная история! Но и в те дни у нас была своя история. Наши старики, наши жрецы и мудрецы облекали ее в сказания и записывали эти сказания в звездах, чтобы наши потомки помнили о них. С неба нисходили животворные солнечные лучи и дождь, и мы изучали небо; с помощью звезд мы рассчитывали время и смену сезонов, и мы называли звезды в честь наших героев, в честь нашей пищи, в честь средств, с помощью которых мы добывали эту пищу; мы называли их в честь наших блужданий и переселений, в честь наших деяний и в честь обуревавших нас страстей.

Увы! Мы думали, что небо неизменно, и записывали на нем все наши смиренные желания, и поступки, и мечты. Когда я был Сыном Быка, одну из своих жизней я потратил на созерцание звезд. Но и до и после этого в других моих воплощениях я пел вместе со жрецами и племенными певцами запретные гимны звездам, веря, что они — это нестираемые письмена, повествующие о нашей истории. И вот теперь, в ожидании нового конца, я жадно читаю взятые из тюремной библиотеки книги по астрономии (такие книги выдаются приговоренным к смерти) и узнаю, что даже небо преходяще и звезды странствуют по нему, как народы по земле.

Вооружившись этими современными сведениями, я, когда возвращался через врата малой смерти, сравнивал небеса тех дней с нынешними. Это правда: звезды меняются. Я видел нескончаемую смену полярных звезд. Современная Полярная Звезда расположена в созвездии Малой Медведицы. А в те далекие дни я видел Полярную Звезду в

Драcone, в Геркулесе, в Лире, в Лебеде и в Цефее.

Даже звезды преходящи, но память о них, познание их живут во мне — в том, что есть дух и память, в том, что вечно. Только дух пребывает. А все остальное, простая материя, проходит бесследно.

Да, сейчас я вижу себя как этого единого человека, жившего в древнем мире: белокурого, свирепого, умевшего убивать и любить, пожиравшего мясо и выкапывавшего съедобные корни, бродягу и разбойника, который с дубиной в руке тысячелетиями рыскал по лику земли, ища мяса и приюта для своих еще не окрепших детей.

Я — этот человек, его итог, его совокупность — безволосое двуногое, которое выкарабкалось из первобытной тины, чтобы создать любовь и закон из анархии неумной жизни, бушевавшей в джунглях. Я все, чем был этот человек и чем он стал. Я вижу себя через смену боровшихся за жизнь поколений, устраивавших ловушки для дичи и рыбы, расчищавших в лесах первые поля, изготавливавших примитивные инструменты из камня и кости, строивших жилища из бревен, крывших их листьями и соломой, одомашнивавших дикие травы и злаки, ухаживавших за ними так, что с течением веков они превратились в рис, просо, пшеницу, ячмень и другую вкусную пищу, научившихся взрыхлять почву, сеять, жать, хранить припасы, превращать растительные волокна в нить и ткать из них материя, придумывать оросительные системы, лить металлы, находить рынки и торговые пути, строить корабли и плавать по морям, а кроме того, организовывать жизнь отдельных селений, сливать эти селения, пока они не превращались в племена, сливать племена, пока они не превращались в нации, вечно создавая законы для людей так, чтобы они могли жить вместе в дружбе и объединенными усилиями победить и уничтожить всевозможные ползающие, крадущиеся, визжащие существа, которые могли бы уничтожить их.

Я был этим человеком во всех его рождениях, во всех его устремлениях. И я остаюсь им сегодня, когда жду смерти, на которую обречен законом, созданным мною же много тысяч лет тому назад и уже сотни раз обрекавшим меня на ту же самую смерть.

И, созерцая это мое бесконечное прошлое, я вижу в нем следы многих благотворных влияний, и главное из них — любовь к женщине, любовь мужчины к единственной избраннице его сердца.

Я вижу себя этим единым человеком — любящим, вечно любящим.

Да, я был великим воином, но сейчас, когда я сижу здесь и взвешиваю все свое прошлое, мне кажется, что самым высоким во мне была способность любить. Именно потому, что я любил великой любовью, я и

был великим воином.

Порой мне кажется, что история мужчины — это всегда история его любви к женщине. И все мое прошлое, о котором я пишу сейчас, — это воспоминание о моей любви к женщине. Всегда, все десятки тысяч моих жизней, во всех моих обликах я любил ее.

Я люблю ее и сейчас. Мои сны полны ею, и о чем бы я ни грезил наяву, мои мысли в конце концов всегда обращаются к ней. И всюду она — вечная, великолепная, несравненная женщина.

Поймите меня правильно. Я не пылкий неоперившийся юнец, я человек, чья молодость давно прошла, чье тело искалечено, человек, которому скоро предстоит умереть. Я ученый и философ.

Я, как и все поколения философов до меня, знаю женщину такой, какова она есть, знаю ее слабости, ее мелочность, беззастенчивость и коварство; я знаю, что ноги ее прикованы к земле, а глаза никогда не видели звезд. Но... вечно остается то, от чего нельзя уйти: ноги ее прекрасны, глаза ее прекрасны, руки и грудь ее — это рай, чары ее властны над ослепленными мужчинами, как ничто другое, и как полюс волей или неволей притягивает стрелку компаса, так она притягивает к себе мужчину.

Женщина заставляла меня смеяться над смертью и расстоянием, презирать усталость и сон. Я убивал, убивал часто — из любви к женщине, или теплой кровью скрепляя наш брачный пир, или смывая пятно ее благосклонности к другому. Я шел на смерть, на бесчестье, предавал друзей и принимал горчайшую из судеб — и все ради женщины, а вернее сказать, ради меня самого, потому что я жаждал ее превыше всего. И бывало, я лежал среди колосьев, томясь по ней, чтобы хоть на миг увидеть ее, когда она пройдет мимо, и насытить мой взгляд прелестью ее плавной походки, красотой ее волос, черных, как ночь, или каштановых, или льняных, или пронизанных золотом солнца.

Ибо женщина прекрасна... в глазах мужчины. Она сладка для его уст и ароматна для его обоняния, она огонь в его крови и гром победных труб, и для его ушей нет музыки нежнее, чем ее голос. И ей дана власть потрясать его душу, которую не могут потрясти даже титаны света и мрака. И, созерцая звезды, мужчина всегда находил для нее место в своем далеком, воображаемом раю, ибо без нее — без валькирии или гурии — для него не было бы рая. И даже песнь меча в разгаре битвы не так сладка, как та песнь, которую женщина поет мужчине, всего лишь влюбленно вздохнув во мраке, засмеявшись лунной ночью или просто пройдя мимо своей плавной походкой, когда он лежит в траве, охваченный томлением.

Я умирал из-за любви. И умирал ради любви, как вы узнаете.

Еще немного времени, и меня выведут отсюда, меня, Даррела Стэндинга, и убьют. И я умру — из-за любви. Нужно было многое, чтобы я поднял руку на профессора Хаскелла в лаборатории Калифорнийского университета. Он был мужчиной, и я тоже был мужчиной. И между нами стояла прекрасная женщина. Поймите!

Она была женщиной, а я был мужчиной и пылким влюбленным, принявшим все наследие любви со времен черных воющих джунглей, когда любовь еще не была любовью, а человек человеком.

Старая история! Сколько раз на протяжении этого бесконечного прошлого жертвовал я жизнью и честью, саном и властью во имя любви! Мужчина отличен от женщины. Она живет повседневностью, и ей недоступно то, что лежит за гранью настоящего.

Нам знакома честь, не сравнимая с ее честью, и гордость, о какой она даже не может помыслить. Наши глаза устремлены вдаль, ибо они созерцают звезды, а ее глаза видят только твердую землю под ее ногами, руки возлюбленного, сжимающие ее в объятиях, младенца, жадно прильнувшего к ее груди. И все же такими сделали нас века, что женщина властвует над нашими снами, зажигает огонь в наших жилах, и потому дороже грез и далеких видений, дороже самой жизни стала для нас женщина, ибо влюбленные говорят правду: она одна — больше, чем весь мир. Так оно и должно быть. Иначе человек не был бы человеком, воином и победителем, идущим красной стезей по лику земли, подчиняя себе все другие творения природы. Ибо если бы человек не умел любить, любить по-царски, он не был бы воином. Мы сражаемся, как надлежит, умираем, как надлежит, и живем, как надлежит, во имя того, что мы любим.

Я — этот единый человек. Я вижу в себе те многие «я», из которых сложилась моя личность. И всегда рядом со мной — женщина, которая приносила мне счастье и гибель, которая любила меня и которую любил я.

Я помню, как в давние-давние времена, когда род человеческий был еще совсем юн, я вырыл яму и вбил в середине ее заостренный кол, чтобы поймать Саблезубого.

Саблезубый с длинными клыками и длинной шерстью был главным врагом нашего племени, которое жалось по ночам около костров. Днем же вокруг нас все росли и росли кучи раковин, потому что мы выкапывали из просоленной грязи болот моллюсков и пожирали их.

А когда мы проснулись подле угасающих костров, разбуженные ревом и визгом Саблезубого, и меня властно позвало к себе далекое видение моей ловушки, женщина, повиснув на мне, стала бороться со мной и не дала мне уйти во мрак, где меня ждало осуществление моей мечты. Она куталась в

обрывки шкур (их надевали только ради тепла), облезлых, опаленных огнем, но это были шкуры зверей, которых убил я; лицо ее, не мытое со времени весенних дождей, почернело от дыма, ногти на руках были кривыми и обломанными, а сами руки, покрытые толстыми мозолями, скорее походили на клешни, но глаза ее были синими, как летнее небо, как спокойное море, и что-то в них, и в руках, обнимавших меня, и в сердце, бившемся у моей груди, помешало мне уйти... И до зари, пока Саблезубый ревел и визжал от ярости и боли, я слышал, как во мраке мои товарищи, хихикая, шептали своим женщинам, что я сам не верю в свою выдумку и боюсь идти ночью к яме и к колу, который я придумал, чтобы погубить Саблезубого. Но моя женщина, моя дикая подруга, не пускала меня, несмотря на мою ярость, и глаза ее сковывали меня, ее руки связывали меня, и ее сердце, бьющееся у моей груди, заставило меня забыть мою высокую мечту, мою мужскую гордость, которая звала меня к заветной цели — пойти и убить Саблезубого, корчащегося на колу в яме.

Некогда я был Ушу, стрелком из лука. Я хорошо это помню, ибо я отбил от моего племени в дремучем лесу, а когда выбрался из него на сочные луга, то был принят в чужое племя, близкое мне по крови: кожа их была белой, волосы — белокурыми, речь — похожей на мою. А она была Игарь. Я покорил ее, когда пел в вечернем сумраке, — ведь ей суждено было стать матерью нового племени, ибо бедра ее были широки, а грудь высока, и она не могла не покориться мужчине с могучими мускулами и широкой грудью, который воспевал свои победы в боях и обильную охотничью добычу, обещая ей в ее слабости защиту и пищу, пока она будет нянчить детей, чтобы было кому охотиться и добывать мясо, когда ее уже не будет в живых.

Ее соплеменникам была неведома мудрость моего племени, и они добывали себе мясо с помощью ловушек, а в битве пускали в ход дубины и пращи, не зная волшебства быстрых стрел с зарубкой на конце, чтобы крепче ложиться на тетиву из хорошо скрученной оленьей жилы, которая, стоило ее отпустить, сразу растягивалась, подчиняясь пружинящей силе согнутой ясеновой палки.

И пока я пел, вокруг меня в сумерках смеялись мужчины чужого племени. И только она, Игарь, поверила в меня, поверила моим словам. Я повел ее одну на охоту, туда, где олени ходили на водопой, и моя тетива запела в кустах, и олень упал, пораженный в сердце. Вкусным было теплое мясо, которое мы ели, и она стала моей там, у водопоя.

И ради Игари я остался в чужом племени. Я научил их делать луки из красного, нежно пахнущего дерева, похожего на кедр, И я научил их не

закрывать глаз, и целиться левым глазом; и выделять тупые стрелы для мелких зверьков и костяные двузубые наконечники, чтобы поражать рыбу в прозрачной воде, и обтесывать обсидиановые наконечники, чтобы поражать оленя и дикую лошадь, лося и Саблезубого. Но они стали смеяться над тем, что я обтесываю камень, и смеялись до тех пор, пока моя стрела не пронзила насквозь тело лося так, что обтесанный наконечник вышел с другой стороны, а оперенное древко застряло во внутренностях зверя. Тут все племя стало хвалить меня.

Я был Ушу, стрелок из лука, а Игарь была моей женщиной и верной подругой. По утрам мы смеялись в солнечных лучах, глядя, как наши мальчик и девочка копошатся в цветах, осыпанные золотистой пылью, словно пчелы, собирающие мед. А по ночам она лежала в моих объятиях, ласкала меня и уговаривала бросить охоту: пусть другие мужчины приносят мне добытое с опасностью для жизни мясо за то, что я умею обрабатывать дерево и делать из обсидиана наконечники для стрел. И я послушался ее, и разжирел, обзавелся одышкой, и долгие ночи проводил без сна, потому что мужчины из этого чужого мне племени приносили мне мясо за мою мудрость, но смеялись над моей толщиной и нежеланием охотиться и сражаться. Когда же ко мне пришла старость и наши сыновья стали взрослыми мужчинами, а наши дочери — матерями, с юга, словно морские волны, нахлынули темнокожие люди с низкими лбами и вытянутыми черепами, и мы бежали от них к подножию гор, и тогда Игарь, как все мои прежние и будущие подруги, повисла на мне, стараясь не пустить в битву, ибо ей недоступны были далекие видения.

Но я вырвался от нее, хоть и был толст и страдал одышкой.

Она плакала, что я разлюбил ее а я сражался всю ночь, вплоть до зари, когда под пение тетивы и свист стрел — оперенных, с острыми наконечниками — мы научили Плосколобых искусству убивать и показали им, что такое упоение битвы.

А когда битва затихла и я испустил дух, вокруг меня раздавались песни смерти, и казалось, что это рассказ о том, как я был Ушу, стрелком из лука, а Игарь, моя подруга, повиснув на мне, старалась не пустить меня на битву.

Когда-то — бог знает когда, во всяком случае, в те давние дни, когда человек был юн, — мы жили у окраины больших болот, где холмы сбегали к широкой, медлительной реке, где наши женщины собирали ягоды и съедобные корни и где бродили табуны диких лошадей, стада оленей, антилоп и лосей. Мы поражали их стрелами или загоняли в ловушки или в узкие лощины, откуда не было выхода. В реке мы ловили рыбу сетями,

которые наши женщины плели из коры молодых деревьев.

Я был жадно любопытен, как те антилопы, которых мы подманивали к своей засаде среди травяных зарослей, помахивая в воздухе пучками травы. На болоте рос дикий рис, поднимаясь высокой стеной по берегам протоков. Каждое утро дрозды будили нас своим щебетом, — это они покидали гнезда и летели кормиться на болота. И все долгие сумерки в воздухе слышался их пересвист, когда они возвращались в свои гнезда. Так бывало в пору созревания риса. И утки, водившиеся на болоте, жирели вместе с дроздами, клюя спелый рис, с которого солнце снимало шелуху.

Я был человеком, и поэтому меня всегда томила беспокойная жажда узнать, что скрывается за холмами и за болотами и в иле на дне реки, и я следил за дикими утками и дроздами и силился понять, пока мое упорство не подарило мне прозрения и я не увидел. А увидел я вот что и вот как.

Мясо — хорошая пища. Но, в конце концов, если проследить его путь, а вернее сказать, в самом начале этого пути, все мясо создавалось травой. Мясо утки и мясо дрозда рождалось из семян болотного риса. Чтобы убить утку стрелой, приходилось долго ее выслеживать и много часов проводить в засаде. Дрозды же были такими маленькими, что в них пускали стрелы лишь мальчишки, еще только учившиеся стрелять из лука. А вот в пору созревания риса мясо дроздов и уток было особенно сочным и жирным.

Их жир порождался рисом. Так почему бы мне и моим детям тоже не набраться жиру от риса?

Я обдумывал все это на становище молча, угрюмо, не замечая возившихся вокруг меня детей, и Арунга, моя подруга, тщетно осыпала меня упреками и уговаривала пойти на охоту, чтобы добыть побольше мяса для всех нас.

Арунга принадлежала к Племени Холмов, и я похитил ее.

Двенадцать лун мы с ней учились понимать друг друга после того, как я захватил ее. Что за день это был, когда я прыгнул на нее с ветви, нависшей над тропой, по которой она шла! Я свалился ей на плечи, придавил весом своего тела и крепко вцепился в нее, чтобы она не убежала. Она завизжала, как кошка. Она била меня кулаками, кусала и рвала ногтями, острыми, как когти рыси. Но я не выпустил ее и заставил ее покориться — два дня я бил ее и заставил уйти со мной из ущелий Племени Холмов на поросшие травой равнины, где река медленно струилась через рисовые болота, а утки и дрозды жирели не по дням, а по часам.

Мое прозрение пришло ко мне, когда рис созрел. Я усадил Арунгу на носу грубого подобия пироги — это был древесный ствол с выжженной сердцевиной — и велел ей грести. На корме я расстелил оленью шкуру,

которую выдубила она. Двумя толстыми палками я пригибал колосья к шкуре и выколачивал зерно, которое иначе досталось бы дроздам. А когда я научился этому, я отдал палки Арунге, а сам сел на нос, греб и указывал ей, что надо делать.

Прежде мы иногда жевали сырой рис, и он нам не нравился.

Но теперь мы распарили его на костре, так что зерна набухли белыми шариками, и все племя сбежалось попробовать их.

После этого нас стали называть Пожирателями Риса и Сыновьями Риса, а много-много лет спустя, когда Сыновья Реки прогнали нас с болот на взгорье, мы взяли с собой семена риса и посеяли их там. Мы научились отбирать на семена самые большие зерна, и белые шарики риса, которые мы ели, отпарив или сварив их, становились все крупнее.

Но я рассказывал об Арунге. Я уже говорил, что она визжала и царапалась, как кошка, когда я похитил ее. А потом ее родичи из Племени Холмов захватили меня и утащили к себе в холмы.

Это были ее отец, его брат и два ее собственных кровных брата.

Но она принадлежала мне и была моей женой. И вот ночью, когда я лежал, спутанный, как дикий кабан, которого готовятся зарезать, а они, сморенные усталостью, заснули у костра, она подкралась к ним и разбила им головы боевой дубиной, изготовленной моими руками. А потом она плача развязала меня и бежала со мной назад, к широкой, медлительной реке, где дрозды и дикие утки кормились на рисовых болотах, — это было задолго до прихода Сыновей Реки.

Она же была Арунгой, единственной женщиной, вечной женщиной. Она жила во всех временах и во всех странах и будет жить всегда. Она бессмертна. Некогда в далекой стране ее звали Руфь, и еще ее звали Изольда и Елена, Покахонтас и Унга. И человек из чужого племени много раз находил ее и будет находить всегда, во всех племенах земли.

Я помню бесчисленных женщин, из которых возникла она — единственная женщина. Было время, когда Ар, мой брат, и я спали по очереди и по очереди преследовали дикого жеребца — день и ночь напролет один из нас гнал его по широкому кругу, смыкавшемуся там, где спал второй. Мы не давали ему отдыха и с помощью голода и жажды укротили его гордый нрав, так что в конце концов он покорно стоял, пока мы связывали его ремнями, вырезанными из оленьей шкуры. Вот так, с помощью только наших ног, не утомляясь, ибо нами руководил разум (план принадлежал мне), мы с братом загнали этого неукротимого бегуна, и он стал нашим.

А когда я уже был готов взобраться ему на спину, ибо таково было

видение, манившее меня издалека, — Сельпа, моя женщина, обняла меня за шею и стала громко кричать, что сделать это должен Ар, а не я, потому что у Ара нет ни жены, ни детей и его смерть никого не обездолит. А потом она стала плакать, и мое видение было у меня отнято: когда жеребец помчался прочь, на нем, плотно прильнув к нему нагим телом, сидел Ар, а не я.

На закате раздались причитания: это несли Ара от дальних утесов, где отыскиали его мертвое тело. Его голова была разбита, и мозг, словно мед из поваленного бурей дуплистого дерева, где гнездятся пчелы, капля за каплей падал на землю. Его мать посыпала голову пеплом и зачернила лицо. Его отец отрубил половину пальцев на руке в знак печали. Все женщины, особенно молодые, еще не нашедшие мужей, осыпали меня злыми словами, а старики покачивали мудрыми головами и, шамкая, бормотали, что ни отцы их и ни отцы их отцов даже не помышляли о таком безумстве.

Лошадиное мясо — хорошая пища, мясо жеребят легко поддается даже старым зубам, но только глупец подойдет близко к дикой лошади, если ее не пронзила стрела или кол на дне ямы-ловушки.

А Сельпа бранила меня, пока я не заснул, и утром разбудила нескончаемым потоком речей, попрекая меня моим безумием, заявляя о своем праве на меня и о праве наших детей, и повторяла это до тех пор, пока совсем меня не измучила; я отрекся от моего далекого видения и сказал, что никогда больше не буду мечтать о том, чтобы вскочить на дикую лошадь и помчаться быстрее ветра по пескам и заросшим травой равнинам.

Шли годы, а у костров нашего становища по-прежнему повторяли рассказ о моем безумии. Но в этом и было мое отмщение, ибо мечта не умерла, и юноши, слышавшие хохот и насмешки, все равно покорялись ей, и в конце концов Отар, мой первенец, еще совсем юным загнал дикого жеребца, вскочил на его спину и пронесся перед нами с быстротой ветра. И тогда все мужчины племени, не желая отставать от него, принялись ловить и укрощать диких коней. Много лошадей было укрощено, и многие люди заплатили за это жизнью. Но я дожил наконец до того дня, когда, переноса становище вслед за откочевывающими стадами дичи, мы клали младенцев в ивовые корзинки, перекинутые через спины лошадей, которые везли наш скудный скарб.

Я, когда был молод, узрел мое видение и выносил в моей душе мечту; Сельпа, женщина, встала на моем пути к высокому желанию; но Отар, наш сын, которому суждено было жить после нас, снова узрел мое видение и прошел весь долгий путь к нему, и охотничья добыча нашего племени стала обильной.

И была еще женщина — во время великого переселения из Европы,

длившегося много поколений, когда мы открыли Индии короткорогий скот и ячмень. Но эта женщина жила задолго до того, как мы достигли Индии. Тогда еще не было видно конца этому многовековому переселению, и самый ученый географ не мог бы мне сейчас объяснить, где лежала древняя долина, о которой пойдет речь.

Эта женщина была Нухила. А долина была узкой, не очень длинной, и ее крутые склоны и дно были изрезаны террасами, на которых выращивались рис и просо — первый рис и первое просо, ставшие известными нам, Сыновьям Горы. В этой долине жил кроткий народ. Он стал изнеженным, потому что обрабатывал тучную почву, которую вода делала еще более тучной. В первый раз мы увидели искусственное орошение полей, хотя нам некогда было рассматривать их каналы и стоки, по которым вода горных источников попадала на поля, созданные руками этого племени.

Нам некогда было их рассматривать, ибо нас, Сыновей Горы, было мало и мы бежали от Сыновей Безносого, так как их было много.

Мы называли их Безносыми, а они называли себя Сыновьями Орла. Но их было много, и мы бежали под их натиском вместе с нашим короткорогим скотом, нашими козами, нашим ячменем, нашими женщинами и детьми.

Пока Безносые убивали наших юношей позади нас, мы впереди убивали жителей долины: они выступили против нас, но были слишком слабы. Их хижины были построены из глины и крыты травой, а всю деревню окружала стена, сделанная из глины, но очень высокая. Когда же мы убили тех, кто построил стену, и укрылись позади нее вместе с нашими стадами, нашими женщинами и детьми, мы поднялись на самый ее верх и принялись осыпать Безносых насмешками, ибо глинобитные житницы были доверху полны рисом и просом, наш скот мог питаться кровлями, а время дождей было совсем близко, и нам нечего было беспокоиться о воде.

Осада была долгой. В самом начале мы собрали чужих женщин, стариков и детей, которых еще не убили, и выгнали их за построенную ими стену. Безносые убили их всех до одного, так что в поселке осталось больше пищи для нас, а в долине — больше пищи для Безносых.

Осада была долгой и тяжелой. Нас поразила болезнь, а потом моровая язва; ею нас заражали наши покойники. В глинобитных житницах не осталось ни риса, ни проса, наши козы и короткорогий скот съели кровли всех домов, а мы, чтобы отдалить конец, съели коз и весь короткорогий скот.

И пришло время, когда на стене, там, где прежде стояло пятеро, стоял

один, а там, где было полтысячи маленьких детей, не осталось ни одного. И вот Нухила, моя женщина, отрезала свои волосы и сплела из них крепкую тетиву для моего лука. Так же поступили и другие женщины. А когда враги пошли на приступ, наши женщины стояли бок о бок с нами: мы метали копья и стрелы, а они кидали на головы Безносых глиняные горшки и камни. Наше упорство чуть было не заставило отступить даже упорных Безносых. Пришло время, когда из десяти наших мужчин на стену поднимался уже только один, а наших женщин уцелело совсем немного, — тогда Безносые предложили нам мир. Они сказали нам, что мы стойкое племя, и что наши женщины рожают настоящих мужчин, и что, если мы отдадим им наших женщин, они не будут нас больше трогать и оставят нам эту долину. А мы сможем добыть себе женщин в южных долинах.

Но Нухила сказала «нет». И все остальные женщины тоже сказали «нет». И мы осыпали Безносых насмешками и спрашивали, не стали ли они трусами. Сами же мы тогда были почти мертвецами, и когда мы смеялись над нашими врагами, у нас уже не оставалось сил, чтобы сражаться. Еще один приступ — и все будет кончено. Мы знали это. Наши женщины знали это.

Но Нухила сказала, что мы кончим все раньше и перехитрим Безносых. И остальные наши женщины согласились. И пока Безносые готовились к последнему приступу, мы на стене убили наших женщин. Нухила любила меня и наклонилась вперед, чтобы скорее встретить острие моего меча — там, на стене. А мы, мужчины, во имя племени и соплеменников поразили мечами друг друга, и вот на покрасневшей от крови стене стояли только я и Орда. Орда был моим первенцем. И я наклонился вперед, чтобы встретить его меч. Но умер я не сразу. Я был последним из Сыновей Горы, ибо я еще видел, как Орда пал на свой меч и тут же умер. А когда умирал я и вопли приближающихся Безносых замирали в моих ушах, я радовался тому, что нашим женщинам не придется растить детей Безносым.

Не знаю, когда было то время, когда я был Сыном Горы и мы погибли в узкой долине, где прежде сразили Сыновей Риса и Проса. Я знаю только, что прошло еще много веков, прежде чем кочующие племена всех нас. Сыновья Горы, добрались до Индии, а это было задолго до того, как я стал арийским владыкой в Древнем Египте и построил себе две гробницы, осквернив гробницы царей, которые были до меня.

Я хотел бы рассказать побольше о тех далеких временах, но эта моя жизнь близится к концу. Скоро я расстанусь с ней. Я очень жалею, что не могу рассказать подробнее об этих ранних переселениях, когда целые

народы откочевывали под натиском других племен, или от наступающих ледников, или вслед за уходящими стадами антилоп и оленей.

И еще мне хотелось бы поведать о Таинствах, ибо мы всегда стремились разгадать загадки жизни, смерти и разрушения. Человек не похож на других животных, потому что взор его устремлен к звездам. Много богов он создал по собственному подобию и в облике, порожденном его воображением. В те далекие времена я поклонялся солнцу и мраку. Я поклонялся колосу как источнику жизни. Я поклонялся Сар — богине хлебов. И я поклонялся морским богам, и речным богам, и богам-рыбам.

И я помню Иштар, когда еще вавилоняне не похитили ее у нас, и Эа, нашего бога, царившего в подземном мире и помогшего Иштар победить смерть. Митра также был добрым старым арийским богом, прежде чем его украли у нас или мы от него отреклись. И я помню время, через много веков после того переселения, когда мы принесли ячмень в Индию, — на этот раз я приехал в Индию как торговец лошадьми, ко главе большого каравана, окруженный множеством слуг, и тогда они поклонялись Бодисатве.

Поистине Таинство веры блуждало вместе с народами, и боги, которых крали и брали взаймы, были тогда такими же бродягами, как и мы сами. Как шумерийцы взяли у нас взаймы Шамашнапиштина, так Сыновья Сима забрали его у шумерийцев и назвали его Ноем.

И нынешний я, Даррел Стэндинг, когда пишу эти строки в Коридоре Убийц, я улыбаюсь тому, что меня признали виновным и приговорили к смерти двенадцать надежных и честных присяжных. Двенадцать всегда было магическим числом Таинства, и начало ему положили вовсе не двенадцать колен израильских.

Те, кто взирал на звезды задолго до них, разместили в небе двенадцать знаков зодиака, и я помню, когда я был эссиром и ваниром.

Один судил людей в окружении двенадцати богов, и их звали Тор, Бальдур, Ньярд, Фрей, Тир, Браги, Хеймдаль, Годер, Видар, Улл, Форсети и Локи.

Даже наши валькирии были украдены у нас и превращены в ангелов, а крылья их лошадей оказались за спинами этих ангелов. И наш Хельгейм тех дней льда и мороза стал современным адом, где так жарко, что кровь закипает в жилах. А у нас, в нашем Хельгеймо, царил такой лютый холод, что мозг замерзал в костях. И даже небо, которое казалось нам вечным и неизменным, смещалось и поворачивалось, так что теперь мы видим Скорпиона там, где прежде мы видели Козерога, а Стрельца на месте Рака.

О, эти веры! Вечная погоня за постижением Таинства. Я помню

хромого бога греков, бога-кузнеца. Но их Вулкан был нашим германским Виландом, богом кузнецом, охромевшим, когда Нидунг, владыка Нидов, взял его в плен и подвесил за ногу. Но и до этого он был нашим кузнецом, вечно бившим молотом по наковальне, и мы звали его Ильмаринен. А его мы породили нашим воображением, дали ему в отцы бородатого солнечного бога и вскормили его звездами Медведицы. Ибо он. Вулкан, Виланд, Ильмаринен, родился под сосной из волоса волка и звался также Отцом Медведем задолго до того, как германцы и греки похитили его и стали ему поклоняться. В те дни мы звали себя Сыновьями Медведя и Сыновьями Волка, и медведь с волком были нашими тотемами. Это было еще до нашего переселения к югу, когда мы слились с Сыновьями Рощ и научили их нашим тотемам и сказаниям.

Да, тот, кто был Кашьяйой, кто был Пуруравасом, на самом деле был нашим хромым богом-кузнецом, ковавшим железо, которого мы несли с собой во время наших переселений, а жители юга и жители востока. Сыновья Шеста, Сыновья Огненного Лука и Огненной дощечки давали ему новые имена и поклонялись ему.

Но повесть эта слишком длинна, хотя я был бы рад рассказать о Трилистнике Жизни, которым Сигмунд воскресил Синфьотли, ибо это индийская сома, священный Грааль короля Артура, это... но довольно, довольно!

И все же, когда я спокойно взвешиваю то, о чем рассказал вам, я прихожу к заключению, что лучшим в жизни, во всех жизнях, для меня и для всех мужчин была женщина, остается женщина и будет женщина до тех пор, пока в небесах горят звезды и сменяются созвездия. Более великой, чем наш труд и наше дерзание, больше нашей изобретательности и полета воображения, более великой, чем битва, созерцание звезд и таинство веры, — самой великой всегда была женщина.

Хоть она пела мне лживые песни, и приковывала мои ноги к земле, и отвлекала от звезд мой взгляд, чтобы я смотрел на нее, она, хранительница жизни, мать земли, дарила мне мои лучшие дни и ночи и долгие годы.

Даже Таинству я придавал ее облик и, рисуя карту звездного неба, поместил ее среди звезд.

Все мои труды и изобретения вели к ней. Все мои далекие видения кончались ею. Когда я создал огненный лук и огненную дощечку, я создал их для нее. Ради нее, хоть я и не знал этого, строил я ловушку с колом для Саблезубого. Ради нее укрощал лошадей, убивал мамонтов и гнал своих оленей к югу, уходя от наступающего ледника. Ради нее я жал дикий рис, одомашнивал ячмень, пшеницу и кукурузу.

Ради нее и ради будущих ее детей я умирал на вершинах деревьев, отбивался от врагов у входа в пещеру, выдерживал осаду за глиняными стенами. Ради нее я поместил в небе двенадцать знаков. Ей молился я, когда склонялся перед десятью нефритовыми камнями, видя в них месяцы плодородия.

И всегда женщина льнула к земле, подобно матери-куропатке, укрывающей своих птенцов. И всегда моя тяга к скитаниям увлекала меня на сияющие пути. Но всегда мои звездные тропы приводили к ней, вечной и единственной, к той женщине, чьи объятия так влекли меня, что в них я забывал о звездах.

Ради нее я странствовал по морям, взбирался на горы, пересекал пустыни, ради нее я был первым на охоте и первым в битве.

И ради нее и для нее я пел песни о свершенном мною. Благодаря ей я познал всю радость жизни, всю музыку восторга. И теперь, подходя к концу, я могу сказать, что нет безумия более трепетного и сладкого, чем ощутить душистую прелесть ее волос и, погрузившись в них лицом, найти забвение.

Еще одно слово. Я вспоминаю Дороти такой, как видел ее, когда еще читал лекции по агрономии сыновьям фермеров. Ей было одиннадцать лет. Ее отец был деканом нашего факультета.

Она была ребенком, и она была женщиной и вообразила, что любит меня. А я улыбался про себя, ибо сердце мое было спокойно и отдано другой. Но улыбка моя была нежной, потому что в глазах этой девочки я увидел вечную женщину, женщину всех времен и всех обликов. В ее глазах я видел глаза моей подруги, бродившей со мной по джунглям, ютившейся со мной на деревьях, в пещере и на болотах. В ее глазах я увидел глаза Игари, когда я был Ушу, стрелком из лука, глаза Арунги, когда я был жнецом риса, глаза Сельпы, когда я мечтал подчинить себе жеребца, глаза Нухилы, которая наклонилась ко мне, встречая мой меч. Да, и в глазах ее было то, что делало их глазами Леи-Леи, которую я оставил со смехом на устах, глазами госпожи Ом, сорок лет делившей со мной нужду на дорогах и тропах Чосона, глазами Филиппы, из-за которой я упал мертвым на траву в старой Франции, глазами моей матери, когда я был мальчиком Джесси на Горных Лугах в кольце из сорока наших фургонов.

Она была девочкой, но она была дочерью всех женщин, так же как ее мать, и она была матерью всех женщин, которые еще будут. Она была Сар, богиней хлебов. Она была Иштар, победившей смерть. Она была царицей Савской и Клеопатрой; она была Эсфирью и Иродиадой. Она была Марией Богоматерью, и Марией Магдалиной, и Марией, сестрой Марфы, и она

была Марфой. И она была Брунгильдой и Джиневрой, Изольдой и Джульеттой, Элоизой и Николет. И она была Евой, она была Лилит, она была Астартой. Ей было одиннадцать лет, и она была всеми женщинами прошлого, всеми женщинами будущего.

Я сижу сейчас в моей камере, слушаю жужжание мух в сонном летнем воздухе и знаю, что время мое истекает. Скоро, скоро на меня наденут рубашку без ворота... Но успокойся, мое сердце!

Дух бессмертен. После мрака я снова буду жить и снова встречу женщину. Будущее таит для меня еще не родившихся женщин, и я встречусь с ними в жизнях, которые мне еще предстоит прожить. И пусть изменяются созвездия и лгут небеса, но всегда остается женщина, несравненная, вечная, единственная женщина.

И я во всех моих обликах, во всех моих судьбах остаюсь единственным мужчиной, ее супругом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Мое время близится к концу. Свою рукопись я сумел передать за стены тюрьмы. Человек, на которого я могу положиться, позаботится о том, чтобы она была напечатана. Эти строки я пишу уже не в Коридоре Убийц, я пишу их в камере смертников, где днем и ночью за мной следят. Следят неусыпно и бдительно, чтобы — и в этом весь парадокс, — чтобы я не умер. Я должен жить для того, чтобы меня могли повесить, ибо в противном случае общество будет обмануто, закон посрамлен и тень брошена на репутацию ревностного и исполнительного служаки — начальника этой тюрьмы, который должен среди прочих своих обязанностей следить за тем, чтобы приговоренных к смертной казни вешали своевременно и по всем правилам. Поистине, какими только способами не добывают себе люди средства к существованию!

Это мои последние записи. Завтра утром пробьет мой час.

Губернатор отказался помиловать меня, отказался даже отсрочить казнь, невзирая на то, что Лига Борьбы Против Смертной Казни подняла в Калифорнии немалый шум. Репортеры слетелись сюда, словно коршуны. Я видел их всех. Какие это странные молодые люди! А особенно странным кажется мне то, что они должны зарабатывать свой хлеб, свои коктейли и сигареты, свои квартиры и, если они женаты, башмаки и школьные учебники для своих ребятишек, наблюдая казнь профессора Даррела Стэндинга и описывая в газетах, как профессор Даррел Стэндинг умирал в веревочной петле. Ну что же, когда все это кончится, им будет более тошно, чем мне.

Вот я сижу и размышляю над этим, а за стенами камеры приставленный ко мне надзиратель безостановочно шагает перед моей дверью взад и вперед, взад и вперед, не отрывая от меня настороженного взгляда, и я начинаю ощущать невероятную усталость от моего бессмертия. Я прожил так много жизней. Я устал от бесконечной борьбы, страданий и бедствий, которые неизбежны для того, кто поднимается высоко, выбирает сверкающие пути и странствует среди звезд.

И, право, мне бы хотелось, когда я вновь обрету тело, стать простым, мирным землевладельцем. Я вспоминаю ферму моих сновидений. Мне бы хотелось хотя бы раз прожить там целую жизнь. О, эта ферма, рожденная в сновидениях! Мои луга, засеянные люцерной, мои породистые джерсейские коровы, мои горные пастбища, мои поросшие кустарником

холмы, превращающиеся в возделанные поля, мои ангорские козы, объедающие кустарник выше по склонам, чтобы и там появились пашни.

Высоко среди холмов есть котловина — в нее с трех сторон стекают ручьи. Если перегородить плотиной выход из нее — а он довольно узок, — то, затратив совсем мало труда, я мог бы создать водохранилище на двадцать миллионов галлонов воды. Ведь интенсивному земледелию в Калифорнии больше всего мешает наше долгое, сухое лето. Оно препятствует выращиванию покровных культур, и солнце легко выжигает из оголенной, ничем не защищенной почвы содержащийся в ней гумус. Ну а, построив такую плотину, я мог бы, соблюдая правильный севооборот, который обеспечивает богатое природное удобрение, снимать три урожая в год...

* * *

Я только что вытерпел посещение начальника тюрьмы. Я сознательно употребил слово «вытерпел». Перенес. Здешний начальник тюрьмы совершенно не похож на начальника тюрьмы Сен-Квентин. Он очень волновался, и мне волей-неволей пришлось занимать его беседой. Это — его первое повешение. Так он мне сообщил. А я отнюдь не успокоил его, когда ответил неуклюжей шуткой: «И мое тоже!» Ему она не показалась смешной. Его дочь учится в школе, а сын в этом году поступил в Стэнфордский университет. Семья живет на его жалованье, жена постоянно болеет, и его очень беспокоило то, что доктора страховой компании сочли его здоровье слишком слабым и отказали ему в полисе. Право же, он посвятил меня почти во все свои тревоги и заботы, и если бы я не сумел дипломатично оборвать наш разговор, он сейчас еще продолжал бы свое грустное повествование.

Последние два года в Сен-Квентине были очень тягостными и унылыми. По невероятной прихоти судьбы Эда Моррела извлекли из одиночки и тут же назначили главным старостой всей тюрьмы. Прежде эту должность занимал Эл Хэтчинс, и она приносила ему в среднем около трех тысяч долларов в год на одних взятках. На мою беду, Джек Оппенхеймер, который провел в одиночке уже невесть сколько лет, вдруг возненавидел весь мир.

Восемь месяцев он отказывался разговаривать и не желал перестукиваться даже со мной.

И в тюрьме новости мало-помалу проникают всюду. А дайте им время,

и они просочатся и в карцер и в одиночные камеры.

Так в конце концов я узнал, что Сесил Уинвуд, поэт, фальшивомонетчик, доносчик, трус и провокатор, снова попал в тюрьму за новую подделку денег. Вы ведь помните: именно этот Сесил Уинвуд сочинил басню о том, что я перепрыгнул несуществующий динамит, и именно по его милости я уже пятый год томился в одиночке.

Я решил убить Сесила Уинвуда. Поймите: Моррела уже не было рядом, а Оппенхеймер вплоть до последней вспышки ярости, которая привела его на виселицу, хранил молчание. Одиночка стала для меня невыносима. Я должен был что-то предпринять.

И тут мне припомнилось, как я, будучи Эдамом Стэнгом, сорок лет терпеливо вынашивал план мести. То, что сделал он, мог бы сделать и я, если бы мои пальцы сомкнулись на горле Сесила Уинвуда.

Я не могу открыть вам секрет, каким образом попали ко мне четыре иголки. Это были тоненькие иголки для подрубания батистовых платков. Я был так худ, что требовалось перепилить только четыре прута (каждый в двух местах), чтобы получить отверстие, через которое я мог бы протиснуться. И я добился своего.

Я тратил по одной игле на прут. В каждом пруте нужно было сделать два распила, и на каждый распил уходил месяц. Таким образом, чтобы пропилить себе лазейку, мне потребовалось бы восемь месяцев. К несчастью, я сломал мою последнюю иглу, когда пилил последний прут, а новой иглы пришлось ждать три месяца. Но я дождался ее и выбрался из одиночки.

Мне очень жаль, что я не разделался с Сесилом Уинвудом.

Я все рассчитал правильно — все, за исключением одного. Я знал, что наверняка найду Сесила Уинвуда в столовой в обеденный час.

Поэтому я дождался такого дня, когда в утреннюю смену дежурил Конопатый Джонс, любитель вздремнуть. В те дни я был единственным заключенным, содержащимся в одиночной камере, и Конопатый Джонс вскоре уже начал мирно похрапывать. Я вынул подпиленные прутья, протиснулся в отверстие, проскользнул мимо моего стража, отворил дверь и очутился на свободе... внутри тюрьмы.

Вот тут-то и оказалось, что одного я все-таки не предусмотрел — самого себя... Я провел в одиночке пять лет. Я ослабел. Я весил всего восемьдесят семь фунтов. Я был наполовину слеп. И меня мгновенно охватила боязнь пространства. Простор вселил в меня ужас. Пять лет, проведенных в стенах тесной камеры, заставили меня трепетать от страха перед разверзшимся у моих ног провалом лестничной клетки, перед

чудовищным простором тюремного двора.

Мой спуск по этой лестнице я считаю самым большим подвигом, который когда-либо мне довелось совершить. Тюремный двор был пуст. Его заливал ослепительный солнечный свет. Трижды пытался я пересечь этот двор, но меня сразу же охватывало головокружение, и я снова прижимался к стене, напуганный простором. Затем, собравшись с духом, я предпринимал новую попытку, но солнце слепило мои отвыкшие от света глаза, и кончилось тем, что я, словно летучая мышь, шарахнулся в сторону, испугавшись собственной тени на каменных плитах двора. Я хотел обойти ее, споткнулся, упал прямо на нее, и, словно утопающий, который из последних сил стремится выбраться на берег, пополз на четвереньках к спасительной стене.

Я прислонился к стене и заплакал. Впервые за много лет слезы лились из моих глаз. И, несмотря на мое отчаяние, я обратил внимание на это уже забытое ощущение теплой влаги на моих щеках и солоноватый привкус на губах. Затем меня охватил озноб, и некоторое время я дрожал, словно в лихорадке. Я понял, что пересечь этот двор — задача, непосильная для человека в моем состоянии, и, хотя меня все еще бил озноб, я прижался к спасительной стене и, цепляясь за нее руками, пустился в обход двора.

Вот где-то на этом пути и заметил меня надзиратель Сэрстон.

И я тоже его увидал: он представился моим подслеповатым глазам огромным, откормленным чудовищем, которое надвигалось на меня с нечеловеческой, неправдоподобной быстротой из бесконечной дали. Вероятно, в эту минуту он находился от меня на расстоянии двадцати шагов. Он весил сто семьдесят фунтов. Какой могла быть наша схватка, вообразить нетрудно, но утверждают, что во время этой короткой схватки я ударил его кулаком в нос и заставил этот орган обоняния кровоточить.

Но так или иначе, я ведь был преступником, приговоренным к пожизненному заключению, а если таковой наносит кому-либо увечье, ему, по законам штата Калифорния, полагается за это смертная казнь. И вот присяжные, которые, разумеется, не могли не поверить категорическому утверждению надзирателя Сэрстона и всех прочих верных сторожевых псов закона, дававших свои показания под присягой, признали меня виновным, а судья, который не мог, разумеется, нарушить закон, столь просто и четко изложенный в уголовном кодексе, приговорил меня к смерти.

Надзиратель Сэрстон избил меня, а затем, когда меня волокли назад в камеру и втаскивали по этой чудовищной лестнице, мне досталось еще немало пинков, увесистых ударов от целой своры надзирателей и

тюремных старост, которые только мешали друг другу, стремясь помочь Сэрстону расправиться со мной. Право, если из носа Сэрстона действительно текла кровь, легко могло случиться, что ударил его кто-нибудь из его же подручных. Впрочем, пусть даже его ударил я — меня бесит то, что за подобный пустяк человека можно повесить.

* * *

Я только что разговаривал с дежурным надзирателем. Оказывается, меньше года назад Джек Оппенгеймер занимал эту самую камеру, когда шел тем же путем, который мне предстоит проделать завтра. И этот самый надзиратель был одним из тех, кто сторожил Джека перед его смертью. Надзиратель этот — старый солдат. Он безостановочно и не слишком опрятно жует табак, отчего его седая борода и усы сильно пожелтели. Он вдовец, и все его четырнадцать оставшихся в живых детей женаты или замужем, и у него уже больше тридцати внучат и четыре крошечные правнучки. Вытянуть из него эти сведения было труднее, чем вырвать зуб. Забавный старикашка и глуп на редкость. Мне кажется, именно благодаря последнему качеству он дожил до такой глубокой старости и произвел такое многочисленное потомство.

Его мозг, вероятно, застыл на точке замерзания лет тридцать назад.

Тогда же окостенели и все его представления о жизни. Мне редко доводится слышать от него что-либо, кроме «да» или «нет». И это не потому, что он был угрюм, а просто у него нет мыслей, которые он мог бы высказать.

Пожалуй, если бы в следующем моем воплощении я пожил вот такой растительной жизнью, это было бы неплохим отдыхом перед тем, как снова отправиться в звездные странствия.

* * *

Но я отвлекся. А мне надо еще хотя бы в двух словах рассказать о том бесконечном облегчении, которое охватило меня, когда Сэрстон и остальные тюремные псы, втащив меня по этой ужасной лестнице, вновь заперли двери моей тесной одиночки. За ее надежными стенами я почувствовал себя заблудившимся ребенком, который наконец вернулся в родной дом. С любовью смотрел я на эти стены, в течение пяти лет

вызывавшие во мне лишь ненависть.

Только они, мои добрые, крепкие стены, которых я мог одновременно коснуться и правой и левой рукой, защищали меня от огромности пространства, готового, словно страшный зверь, поглотить меня. Боязнь пространства — страшная болезнь. Мне не пришлось страдать от нее долго, но, судя даже по этим кратким мгновениям, могу сказать, что петля пугает меня куда меньше...

* * *

Я только что посмеялся от души. Тюремный врач, очень милый человек, зашел поболтать со мной и между прочим предложил впрыснуть мне морфий. Разумеется, я отказался от его предложения так «накачать» меня морфием сегодня ночью, чтобы завтра, отправляясь на виселицу, я не понимал, «на каком я свете».

Да, почему я смеялся? Как это похоже на Джека Оппенгеймера! Я так живо вижу, с каким тайным удовольствием издевался он над репортерами, решившими, что его ответ — глупая обмолвка. Оказывается, утром в день казни, когда Джек, уже одетый в рубашку без ворота, заканчивал свой завтрак, репортеры, набившиеся к нему в камеру для последнего интервью, спросили его, как он относится к смертной казни.

Попробуйте отрицать, что под ничтожно тонким налетом цивилизации мы — все те же первобытные дикари, если люди, которым еще предстоит жить, могут задать подобный вопрос человеку, который сегодня умрет и чью смерть они пришли поглядеть.

Джек до конца остался Джеком.

— Господа, — сказал он, — я надеюсь дожить до того дня, когда смертная казнь будет отменена.

Я прожил много различных жизней и жил в различные времена. Человек, как личность, мало изменился в нравственном отношении за последние десять тысячелетий. Я утверждаю это категорически. Разница между необъезженным жеребенком и терпеливой ломовой лошадью только в дрессировке. Дрессировка — вот единственное, что в духовном смысле отличает современного человека от дикаря, жившего десять тысяч лет назад. Под тонкой пленкой нравственных понятий, которой современный человек покрыл себя, он все тот же дикарь, каким был десять тысячелетий назад. Мораль — это общественный фонд, мучительное накопление многих веков. Новорожденный ребенок вырос бы дикарем, если бы его не

дрессировали, не отполировали с помощью этой абстрактной морали, которая накапливалась так долго, на протяжении столетий.

«Не убий!» Вздор! Они собираются убить меня завтра утром.

«Не убий!» Вздор! В доках всех цивилизованных стран мира строятся сегодня дредноуты и сверхдредноуты. Милейшие мои друзья, я, идущий на смерть, приветствую вас словом «вздор!».

Я спрашиваю вас: где она, та новая, современная мораль, более высокая, чем учение Христа или Будды, Сократа или Платона, Конфуция или неизвестного создателя «Махабхараты»?

Боже милостивый, пятьдесят тысячелетий назад, когда мы жили тотемическими родами, наши женщины были несравненно чище, наши племенные и групповые отношения несравненно нравственнее и строже!

Должен сказать, что мораль, которую мы исповедовали в те далекие времена, была более высокой, чем современная мораль.

Не отмахивайтесь с пренебрежением от этой мысли. Вспомните про детский труд, который у нас применяется, про нашу политическую коррупцию, про взяточничество полиции, про фальсификацию пищевых продуктов и про торгующих своим телом дочерей бедняков. Когда я был Сыном Горы, когда я был Сыном Быка, проституция была нам неведома. Мы были чисты, говорю вам. Такие глубины порока нам даже и не снились. Так же чисты и теперь остальные животные, стоящие на более низкой ступени развития, чем человек. Да, только человек с его воображением и властью над материальным миром мог придумать все семь смертных грехов. Другие животные, низкие животные, не знают греха.

Я торопливо оглядываюсь назад, на множество моих жизней, прожитых в иные времена и в иных странах. Нигде никогда не встречал я жестокости более страшной или хотя бы столь же страшной, как жестокость нашей современной тюремной системы. Я уже рассказал вам о том, что пришлось мне испытать, когда в первое десятилетие двадцатого века от рождества Христова в тюремной одиночке на меня надели смиренную рубашку. В давние времена мы карали тяжело и убивали быстро. Мы поступали так, потому что таково было наше желание или, если хотите, наша прихоть. Но мы никогда не лицемерили. Мы никогда не призывали к себе на помощь печать, церковь или науку, дабы они освятили своим авторитетом нашу варварскую прихоть. Если мы хотели что-либо совершить, мы совершали это открыто, и с открытым лицом встречали укоры и осуждение, и не прятались за спины ученых экономистов и буржуазных философов или состоящих у нас на жалованье проповедников, профессоров, издателей.

Да, сто лет назад, пятьдесят лет назад, даже пять лет назад здесь у нас в Соединенных Штатах нанесение легких увечий в драке не влекло за собой смертной казни. А вот в этом году, в году 1913 от рождества Христова, в штате Калифорния именно за такое преступление повесили Джека Оппенгеймера, а завтра за такое же, караемое смертной казнью, преступление — за удар кулаком по носу — меня выведут из камеры и повесят. Не правда ли, нельзя утверждать, что обезьяна и тигр умерли в душе человека, если подобные законы входят в уголовный кодекс штата Калифорния в году 1913 от рождества Христова? Боже милостивый, Христа всего лишь распяли! Джека Оппенгеймера и меня пытали куда страшнее.

* * *

Как-то раз Эд Моррел простучал мне:

— Более бессмысленно использовать человека, чем повесив его, невозможно.

Нет, я не испытываю уважения к смертной казни. И не только потому, что это — мерзость, превращающая в зверей тех, кто приводит в исполнение смертный приговор, получая за это жалованье, а потому, что она превращает в зверей, унижает тех, кто допускает это, подает свои голоса за это и платит налоги для того, чтобы это совершалось. Эта кара столь бессмысленна, столь глупа, столь чудовищно антинаучна! «... Повесить за шею, пока не будет мертв» — забавную формулу придумало общество...

* * *

Настало утро — последнее утро в моей жизни. Эту ночь я проспал, как новорожденный младенец. Так тих и глубок был мой сон, что дежурный надзиратель даже перепугался, решив, что я удушил себя одеялом. На него жалко было глядеть. Еще бы, он мог лишиться средств к жизни! Если бы я и в самом деле удавился, это повредило бы его служебному положению, его могли бы даже уволить, а в наше время безработным приходится туго.

Я слышал, что по Европе уже два года катится волна банкротств, а теперь она захлестнула и Соединенные Штаты. Это означает, что в деловых кругах царит скрытая паника и, быть может, надвигается кризис, а

следовательно, армия безработных еще возрастет к зиме и очереди за хлебом удлинятся...

* * *

Я только что позавтракал. Казалось бы, довольно глупое занятие для меня сейчас, но я ел с аппетитом. Начальник тюрьмы принес мне кварту виски. Я преподнес виски вместе с моими наилучшими пожеланиями Коридору Убийц. Начальник тюрьмы, бедняга, очень боится, как бы я, если останусь трезв, не испортил чем-нибудь церемонию, а это может бросить на него тень...

Они надели на меня рубашку без ворота...

* * *

Похоже, что сегодня я стал необычайно важной персоной?
Уйма людей неожиданно проявляет ко мне большой интерес...

* * *

Только что ушел доктор. Он пощупал мой пульс. Это я попросил его. Пульс нормальной...

* * *

Я записываю эти обрывки мыслей и впечатлений, и листок за листком тайным путем покидают тюремные стены...

* * *

Во всей тюрьме нет сейчас человека, который был бы так спокоен, как я. Я — словно ребенок, готовый пуститься в далекое странствие. Мне не терпится отправиться в путь, я полон любопытства, так как мне предстоит увидеть новые страны. Страх перед смертью смешон для того, кто столь

часто погружался во мрак и снова обретал жизнь.

* * *

Начальник тюрьмы принес кварту шампанского. Я презентовал шампанское Коридору Убийц. Забавно, не правда ли, что в этот последний день меня окружают таким вниманием! Должно быть, люди, которым предстоит меня убить, сами очень боятся смерти. «Я, идущий на смерть, должно быть, внушаю им страх Господень», — как сказал Джек Оппенгеймер.

* * *

Мне только что передали записку от Эда Моррела. Говорят, он всю ночь прошагал взад и вперед у ворот тюрьмы. Бюрократические правила запрещают ему, как бывшему заключенному, прийти попрощаться со мной. Дикари? Не знаю. Быть может, просто дети. Ручаюсь, что сегодня ночью, после того как они вздернут меня, почти каждый из них побоится остаться один в пустой комнате в темноте.

Да, записка Эда Моррела: «Жму руку, старина. Знаю, ты повиснешь с честью».

* * *

Только что ушли репортеры. Еще раз — в последний раз — я увижу их уже с эшафота, перед тем как палач надвинет мне на лицо черный капюшон. У них будет до смешного жалкий вид.

Странные молодые люди! Заметно, что некоторые из них выпили для храбрости, а кое-кого уже начинает мутить при одной только мысли о том, что им предстоит увидеть. Пожалуй, быть повешенным легче, чем присутствовать при казни...

* * *

Это уже последние строки. Я, кажется, задерживаю церемонию. В мою

камеру набилось видимо-невидимо различных официальных и высокопоставленных лиц. Все они очень нервничают.

Они хотят, чтобы с этим было покончено поскорее. Без сомнения, многие из них приглашены куда-нибудь обедать, и их, конечно, очень раздражает то, что я пишу сейчас эти несколько строк.

Священник снова выразил свое настоятельное желание проводить меня в последний путь. Зачем мне лишать беднягу этого утешения?

Я согласился, и он сразу повеселел. Какая малость может сделать некоторых людей счастливыми! Если бы все они не спешили так ужасно, я мог бы сейчас вволю посмеяться добрых пять минут.

И вот я кончаю. Я могу лишь повторить еще раз то, что сказал.

Смерти не существует. Жизнь — это дух, а дух не может умереть.

Только тело умирает и распадается на свои составные химические части, которые вечно неустойчивы, вечно в брожении, вечно кристаллизуются лишь для того, чтобы снова расплавиться и распасться, а затем вылиться в какие-то новые, отличные от прежних формы, столь же эфемерные и столь же хрупкие. Один только дух вечен и через ряд последовательных и нескончаемых воплощений поднимается все выше к свету. Кем стану я, вновь возродившись к жизни? Как знать! Как знать...

notes

Примечания

1

Задним числом (лат.)